



Аннотация

В настоящий сборник советского писателя Аркадия Гайдара (1904-1941) вошли произведения, наполненные романтикой революционной борьбы, такие, например, как: «Р.В.С.», «Военная тайна», а также «На графских развалинах», «Бумбараи» и цикл рассказов.

ПОВЕСТИ



Раньше сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев – ещё кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудками.

А с тех пор, как атаман Криволюб, тот самый, у которого жёлто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырёх москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять чёрные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинувшимися лопухами.

А убитые?... Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землёй. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он

порылся в соломе и извлёк оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или ещё почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьи́м постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулемётов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идёте? Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы...

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! – подумал он. – Вот теперь мать задаст трёпку, а то и поест, пожалуй, не оставит». И, спрятав своё оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана.

Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дёрнул сзади Димку за штанину. Обернулся – и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

– Ты что, дурак? – ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

– Мам! Кто это? – гневно спросил Димка.

– Ах, отстань! – досадливо ответила та, отворачиваясь. – Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

– Это дядя сапогом двинул, – пояснил Топ.

– Какой ещё дядя?

– Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастёрке. Рядом на лавке лежала казённая серая шинель.

– Головень! – удивился Димка. – Ты откуда?

– Оттуда, – последовал короткий ответ.

– Ты зачем Шмеля ударил?

– Какого ещё Шмеля?

– Собаку мою...

– Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

– Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! – с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжёлому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем ещё недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтобы служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

– Ты в отпуск приехал?

– В отпуск.

– Вот что! Надолго?

– Надолго.

– Ты врёшь, Головень! – убеждённо сказал Димка. – Ни у красных, ни у белых, ни у зелёных надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

– Зачем ребёнка бьёшь? – вступилась Димкина мать. – Нашёл с кем связываться.

Головень покраснел ещё больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за неё-то он и получил кличку) и ответил грубо:

– Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съёжилась, осела и выругала глотавшего слёзы Димку:

– А ты не суйся, идол, куда не надо, а то ещё и не так попадёт.

После ужина Димка забился в сени, улёгся на грудку соломы за ящиками, укрылся материнной поддёвкой и долго лежал не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберёшь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймёшь, чьё оно. Говорили, что занял его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зелёный?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звёздами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель...

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям жёлтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Непокойны только люди. Где-то за тёмным лесом протрещали раскатисто пулемёты. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался лёгкий кавалерийский отряд.

– Мам, с кем это?

– Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то.

«Винтовка! – удивился Димка. – Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протёр затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и наган есть?»

Как раз в это время утихло всё кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошकारа, решил Димка пробраться на сеновал. Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход – через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтали потревоженные куры. Испугавшись произведённого шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол,

где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твёрдое. «Приклад!» Прислушался: на дворе – никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел её, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько – рукоятка вверх подаётся. Отодвинул на себя до отказа. «Умею!» – горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинул от себя винтовку.

«И куда лезет, чёрт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружьё на место. Запратал почти всё, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивлённое и рассерженное лицо Головня.

– Ты что, собака, здесь делаешь?

– Ничего! – испуганно ответил Димка. – Я спал... – И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки.

В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как расвирепевший Головень вцепился ему в рубашу.

«Убьёт! – подумал Димка. – Ни мамки, никого – конец

теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого чёрная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить ещё и ещё.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

– Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги – целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в чёрном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

– Не сметь! – повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: – Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после. – Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперёд.

Отстал один и спросил строго:

– Ты кто такой?

– Здешний, – хмуро ответил Головень.

– Почему не в армии?

– Год не вышел.

– Фамилия?... На обратном пути проверим. – Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся ещё Димка. Посмотрел назад – нет никого. Посмотрел по сторонам – нет Головня. Посмотрел вперёд и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

Высохли на глазах слёзы. Утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была тёмная и спокойная, посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки Никольского леса, заблестел тускло огонёк костра. Почему-то он показался Димке очень далёким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? – подумал он. – Пастухи разве?... А может, и бандиты! Ужин варят – картошку с салом или ещё что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть.

В сумерках огонёк разгорался всё ярче и ярче, приветливо мигая издалека мальчугану. Но ещё глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный Никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтиом, как-то странно, хотя и красиво, разбивая слова:

*Та-ваа-рищи, та-ва-рищи, –
Сказал он им в ответ, –
Да здра-вству-ит Ра-сия!
Да здра-вству-ит Совет!*

«А, чтоб тебя! Вот наяривает!» – с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидел худенького мальчишку, валявше-

гося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

– Ты чего?

– Ничего... Так!

– А-а! – протянул тот, по-видимому удовлетворённый ответом. – Драться, значит, не будешь?

– Чего-о?

– Драться, говорю... А то смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь:

– Это ты пел?

– Я.

– А ты кто?

– Я Жиган, – горделиво ответил тот. – Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

– Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?... А вот песни поёшь здорово.

– Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам всегда пел. Всё равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем, – тогда «Алёша-ша» либо про буржуев. Белым – так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Раса», ну а потом «Яблочко» – его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

– А ты зачем сюда пришёл?

– Крёстная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с

месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

– А потом куда?

– Куда-нибудь. Где лучше.

– А где?

– Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

– Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем!

– Не соврёшь? Обязательно приду! – весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на тёмный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошёл к ней и, потянувши за платок, сказал серьёзно:

– Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шёл, потому Головень меня здорово избил.

– Мало тебе! – ответила она, оборачиваясь. – Не так бы надо...

Но Димка слышит в её словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

... Пришёл как-то на речку скучный-скучный Димка.

– Убежим, Жиган! – предложил он. – Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

– А тебя мать пустит?

– Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерётся. Из-за меня мамку и Топа гонит.

– Какого Топа?

– Братишку маленького. Топают он чудно, когда ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело всё. Ну, что дома?

– Убежим! – оживлённо заговорил Жиган. – Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

– Как собирать?

– А так: спою я что-нибудь, а потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтение, чтобы был вам не фронт, а одно развлечение. Получать хлеба по два фунта, табаку по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемёту, ни пушке». Тут, как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился лёгкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зелёных, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зелёных и регулярно получал свою порцию, по полгуса в день.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

– Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить, – заявил Димка, – а то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

– Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл – вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принёс с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

– Заперто только, а ключ с собой носит.

– Ничего! – заявил Жиган. – Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

– Зачем у сараев? – возразил Жиган. – Можно ещё куда-либо... А то рядом с мёртвыми!

– А тебе что мёртвые? – насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган – тщательно завёрнутые в бумажку три спички.

– Нельзя помногу, – пояснил он. – У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решён окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Ещё ближе – несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы дрались меж собой. Крепок был атаман Козолуп. У него морщина поперёк упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман! Хитёр, как чёрт, атаман Лёвка. У него и конь смеётся, оскаливая белые зубы, так же как и он сам. Но с тех пор, как отбился он из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Лёвке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Лёвка, написал другой, чтобы не гулять девкам с козолуповцами, не стряпать бабам для них хлеба и не слушать мужикам приказов Козолупа.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Лёвку и Козолупа вне закона» – и всё. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберёшь. Уж на что дед Захарий! На трёх войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

– Ну и времечко!

Приехали сегодня зелёные, человек двадцать. Заходили двое к Головному. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством.

Когда Головень ушёл, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

– Димка, мне! – плаксиво захныкал Топ.

– Оставлю, оставлю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплёвываясь, вылетел на двор. Возле сараев он застал Жигана.

– А я, брат, штуку знаю.

– Какую?

– У нас за хатой зелёные яму через дорогу роют, а чёрт её знает – зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

– Как же можно не ездить? – с сомнением возразил Димка. – Тут не так что-то. Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было ещё не много: два куска сала, кусок варёного мяса и с десяток спичек.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке Никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на своё место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, то подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И так прикидывал и этак – ничего не выходит. Потому престольный в Ольховке уже прошёл, а спасу ещё рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

– Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

– Что ты, старый! – недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. – Разве же после среды воскресенье бывает?

– Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля до-

нёсся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только ещё резче и дольше:

У-о-уу-ууу...

А потом вдруг как хрястнуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тупайся швидче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое... Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше...

— Лежи, лежи! Вот придёт гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Всё стихло. Прошло ещё с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошёл вооружённый Головень.

Он был чем-то сильно разозлѐн, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

– Ах, чтоб ему!...

Утром встретились ребята рано.

– Жиган, – спросил Димка, – ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

– О, брат! Было у нас вчера дело...

– Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

– А почѐм ты знаешь? Может, я кругом! – обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал.

– Машина вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!... – сигнал, значит.

– Ну?

– Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь – ограда уже заперта.

– И поймали кого?

– Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят – дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убѐг. Бомбу бросил ря-адышком, у Онуфрихиной хаты все стѐкла полопались. По нѐм из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды, да и утѐк.

– А машина?

– Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убежать, один гранатой запустил. Всю искорёжил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня ещё поспел. Гудок стащил. Нажмёшь резину, а он как зовет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зелёные ускакали ещё ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу. Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздём через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошёл обедать.

Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараю.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошёл, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой – нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом – нет!

– Ах, черти! – выругался он. – Это не иначе как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так уж всё сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

– Ты мясо ел? – спросил Димка, уставившись на него сердито.

– Ел! – ответил он. – Вку-усно...

– Вкусно! – напустился на него разозлённый Димка. – А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что?... Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!...

Жиган опешил.

– Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

– А отсюда кто взял?

– И не знаю вовсе.

– Побожись.

– Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал!

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врёт. И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хвостине:

– Шмель, а ну поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

– Он сожрал, – с негодованием подтвердил Жиган. – И кусок-то какой жи-ирный!

Перепрятали всё повыше, заложили доской и прива-лили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

– В лесу ночевать возле костра... хорошо!

– Темно ночью только, – с сожалением заметил Жиган.

– А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

– Вот если поубивают... – начал опять Жиган и добавил серьёзно: – Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

– Я тоже, – сознался Димка. – А то что, в яме-то... вон как эти. – И он кивнул головой туда, где покривившийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съёжился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее. Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

– Да, брат... А у нас была один раз штука... И оборвался, потому что Шмель, улётшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

– Ты что? Что ты, Шмелик? – с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

– Крысу чует, – шёпотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: – Домой надо идти, Димка.

– Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы. – Пойдём, – согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали.

Шмель поднялся тоже, но не пошёл сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты.

– Крыс чует! – повторил теперь Димка.

– Крыс? – упавшим голосом ответил Жиган. – А только почему же это он раньше их не чуял?

И добавил негромко:

– Холодно что-то. Давай побежим, Димка!... А большевик тот, что убёг, где-либо подле деревни недалеко.

– Откуда ты знаешь?

– Так думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы, полчашки соли. А у неё в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришёл, слышу из сенец, ругается кто-то: «И бросил, – говорит, – какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, посматривая на Димку, и только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

– А дед Захарий и говорит: «О, Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошёл в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидела меня, села на неё Горпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьёзно. У другого забегали и заблестели. И сказал Димка:

– Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и всё поодиночке.

На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук

входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошёл полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго ещё через двор проходили люди. Наконец пришёл Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

– Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» – решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упёршись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

– Скорей, ты! У меня спина не каменная.

– Темно очень, – шёпотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и прыгнул. – Есть!

– Жиган, – спросил Димка, – а колбасу где ты взял?

– Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнём вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка – назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

– Ты зачем койбасу стащил?

– Это не стащил, Топ. Это надо, – поспешно ответил

Димка. – Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!... Чирик-чирик!... Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хороший!

– Воробушков? – серьезно спросил Топ.

– Да-да! Вот ей-богу!... У них нет... бе-едные!

– И гвоздь дашь?

– И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и, когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

– Прячь скорей!

– Давай! – И Жиган полез в щель, под крышу. – Димка, тут темно, – тревожно ответил он. – Я не найду ничего...

– А дурной, врешь ты, что не найдёшь! Испугался уж!

Полез сам. В потёмках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

– Ты чего? – спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

– Там... – И Жиган крепче ухватился за Димку. И Димка ясно услышал доносившийся из тёмной глубины сарая тяжёлый, сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком, скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?... Рубашка... стон... А что, если?...»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут», – подумал Димка и пополз. Завернул за груды рассыпавшихся необожжённых кирпичей и остановился испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть приподнял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или ещё почему-либо, только, всмотревшись воспалёнными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

– Пить!

Димка сделал шаг вперёд. Блеснула звёздочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое бельё. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж дьяволёнок, чего ты завихлялся», то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и, когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

- Красные далеко?
- Далеко. И не слышать вовсе.
- А в городе?
- Петлюровцы, кажись.

Поник головой раненый и спросил у Димки:

- Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

- Жигану разве!
- Это с которым вы бежать собирались?
- Да, – смутившись, ответил Димка. – Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

– Ты чего? – спросил Жиган.

– Тише! Лезь сюда... Надо.

– Так ты позвал бы, а то на-ко... Камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и тёмный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

– Ну что, мальчуганы?

– Это вот Жиган! – И Димка тихонько подтолкнул его вперёд.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу. Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти всё время молча.

Пуля зелёных ранила человека в ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и мучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

– Мальчуганы! – сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка ещё раз узнал в нём незнакомца, крикнувшего Головню: «Не смей!» – Вы славные ребята... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

– Не должны бы! – неуверенно вставил Жиган.

– Как не должны бы? – разозлился Димка. – Ты говори: нет, да и всё... Да вы его не слушайте, – чуть ли не со сле-

зами обратился он к незнакомцу. – Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, всё обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то не-суразное, и ответил извиняющимся тоном:

– Да я, Дим, и сам... что не должны, значит, ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся ещё раз.

... За обедом Топ сидел-сидел, да и выпалил:

– Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой.

К счастью, Головня не было, мать доставала похлёбку из печки, а бабка была туговата на ухо. И Димка проговорил шёпотом, подталкивая Топу ногой:

– Дай пообедаю, у меня уже припасён.

«Чтоб тебе неладно было! – думал он, вставая из-за стола. – Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный гвоздь и отнёс Топу.

– Большой больно, Димка! – ответил Топ, удивлённо поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

– Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу – и всё. А тут долго сидеть можно: тук, тук!... Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашёл у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решил раздобыть йоду.

Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог,

лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда ещё в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодеяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных кринок дали, по-видимому, другое направление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чём-то улыбаясь.

Вошёл Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

– Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевёл взгляд на Димку и спросил, не поднимаясь:

– Ты что, чадо, ко мне или к попадье?

– К ней, батюшка.

– Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.

– Мамка прислала. Повредилась немного, так поди, говорит, не даст ли попадья малость йоду. И пузырьрёк вот прислала махонький.

– Пузырёк... Гм... – с сомнением кашлянул отец Перламутрий. – Пузырёк что!... А что ты, хлопец, руки назади держишь?

– Сала тут кусок. Говорила мать, если нальёт, отдай в благодарность...

– Если нальёт?

– Ей-богу, так и сказала.

– О-хо-хо, – проговорил отец Перламутрий, поднимаясь. – Нет, чтобы просто прислать, а вот: «если нальёт», – и он покачал головой. – Ну, давай, что ли, сало... Старое!

– Так нового ещё ж не кололи, батюшка.

– Знаю и сам, да можно бы пожирнее, хоть и старое. Пузырёк где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

– Да в нём, батюшка, два напёрстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял немного, раздумывая.

– Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придёт. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же?

Но Димка отчаянно замотал головой. Гм... Что ты головой мотаешь?

– Да вы, батюшка, наливайте, – поспешно заговорил Димка, – а то мамка наказывала: «Как если не будет давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

– А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своём, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всеу». Запомнишь?

– Запомню!... А вы всё-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли причём Димка подивился их необычайным размерам – и, прихватив сало, ушёл с пузырьком в другую комнату.

– На вот, – проговорил он, выходя. – Только от доброты своей... – И спросил, подумав: – А у вас куры несутся, хлопец?

– От доброты! – разозлился Димка. – Меньше половины... – И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьёзно: – У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

... Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И всё же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чём-то.

– Ну что, мальчуганы, не слышать, как там?

«Там» – это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределённость.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришёл он к сараям печальный, мрачный.

– Головень бьёт... – пояснил он. – Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

– Почему никак?

– Не проедешь: пропуска разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

– Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

– Ты?! – удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: – А ты кто? Я знаю: ты пулемётный начальник, потому тот раз возле тебя солдат был с «льюисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять – и да и нет.

И с тех пор Димка ещё больше захотел, чтобы скорее пришли красные.

А неприятностей у него набиралось всё больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то что получал их, всё-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:— А сало всё-таки старое, так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно...

— За какое ещё лекарство?

Димка заёрзал беспокойно на стуле и съёжился под устремлёнными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику... — неуверенно ответил он. — У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю. — И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врёшь, кажется. — И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент? — с негодованием вставил отец Перламутрий. — А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси. — При этом он поднял многозначительно большой палец, перевёл взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

– Димка, а говорят про нашего-то на деревне, – оговорил его при встрече Жиган. – Тут, мол, он, недалеко где-либо. Потому рубашка... а к тому же Сёмка Старостин возле Горпининого забора книжку нашёл, тоже кровавая. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.» и дальше палочки, вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

– Жиган, – шёпотом сказал он, хотя кругом никого не было, – надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

– Что же, – сказал он, – будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

– А если лепо?

– Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

– И песня такая есть, – вставил Жиган. – Кабы не теперь, я спел бы, – хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка ушёл раньше; он добросовестно направился к речке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошёл ближайшим путём – через огороды.

Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

– Стой, дьявол! – крикнул кто-то. – Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, по-видимому попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядку с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту...

... Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

– Пусть лучше твой дьяволёнок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

– Когда съездил? – со страхом спросила мать.

– Когда? Сейчас только.

– Да он спит давно...

– А чёрт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она – спит! – И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

– Что ты! Что ты! – испуганно заговорила мать. – Каким каблуком? Да у него с весны и обуви нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?... Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

– Гм... – промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу. – Ошибка вышла... Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга... – Потом помолчал и добавил: – А собаку-то вашу я убил всё-таки.

– Как убил?! – переспросила мать.

– Так. Бабахнул в башку, да и всё тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддёвку, дёргался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло всё, ушёл на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала, успокаивая:

– Ну будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки ещё яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и ещё с большей силой он затрясся и ещё крепче втиснул голову в намокшую от слёз овчину...

– Эх, ты! – проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

– Разве ж я знал, Димка?

– «Знал»! А что я говорил?... Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к Лёвке или ещё к кому – даёшь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его взгляде только лёгкий укор, и сказал он мягко:

– Хорошие вы, ребята... – И даже не рассердился, как будто не о нём и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему не в чем было оправдываться, да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

– А красные в городе. Нищий Авдей пришёл. Много,

говорит, и всё больше на конях. — Потом он поднял глаза и сказал всё тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, попроберусь как-нибудь... успею ещё.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьёзно остановившиеся на нём большие тёмные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшийся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в левом углу те же три загадочные буквы «Р. В. С.» и потом палочки, как на часах.

— Вот, — проговорил тот, подавая, — возьми, Жиган... ставлю аллюр два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись смотри.

— Ты не подкачай, — добавил Димка. — А то не берись вовсе... Дай я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло ещё высоко над Никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

... Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукой и салом. На телегах сидело пять человек

с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошёл дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими жёлтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Вёрст пять отмахал! — подумал он. — Хорошо бы дальше так же без задержки».

Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клёна по-вечернему звонко пересвистнула какая-то птичка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик. Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И он разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони. Подошёл.

— Откуда ты идёшь?... Куда?

— Оттуда... — И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше. — С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без её — хоть не ворочайся.

— Не видали... Тёлка тут бродила какая-то, так ту наши ещё в утро сожрали... А тебе не попадались подводы какие?

— Едут какие-то... должно рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

– Забирайся! – крикнул один, подводя лошадей. – Сядешь ко мне за спину.

– Мне домой надо, у меня корова... – жалобно завопил Жиган. – Куда я поеду?...

– Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты ещё сболтнёшь подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам, – ничто не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зелёных. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду Лёвки, ожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там, – мелькнула вдруг мысль, – да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

– Куда дьяволёнок? – круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

– Стой!... Не стреляй: всё дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через чащу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Лёвка! – подумал он. – Не иначе, как к нему Головень. – И сразу же сжалось сердце. – Хоть бы не поспели до темноты: ночью всё равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками, – догадался он. – Скорей надо, а тут на-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окружённый всадниками. Повёл испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидев среди них Головня. Но то ли потому, что ото всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть, потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

– Хлопец, – спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами, – тебя куда дьявол несёт?

– С хутора... – начал Жиган. – Корова у меня... чёрная, и пятна на ей...

– Врёшь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган ещё больше и ответил, запинаясь:

– Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал...

– Слышали? – перебил первый. – Я ж говорил, что где-то стреляют.

– Ей-богу, стреляли, – заговорил быстро, начиная о

чём-то догадываться, Жиган, – на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Лёвкины ребята на них напали.

– Как напали?! – гневно заорал тот. – Как они смели!

– Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый чёрт...

– Слышали?! – заревел зелёный. – Это я обжираюсь?

– Обжирается, – подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница. – Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это всё ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить ещё не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов, но тот и так был взбешён до крайности и потому рывкнул грозно:

– По коням!

– А с ним что? – спросил кто-то, указывая на Жигана.

– А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что ещё так легко отделался.

«Сейчас схватятся, – подумал он на бегу. – А пока разберутся, глядишь – и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звёзды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шёл, тяжело дыша, то изредка останавливался – перевести дух. Один раз, заслышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгорячённый, несколько глотков холодной воды. Один раз шахрахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние на-

чало овладевать им. Бежишь, бежишь, и всё конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была тёмная дорога. И только соловей вовсю насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время, когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Ещё новое! Теперь-то по какой?» И он остановился.

«Го-го» – донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!» – чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

– Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

– Господи, кого ж ещё-то несёт?

– Отворите! – повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас спросонок:

– Кто там?

– Откройте! Это я, Жиган.

– Какой ещё, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

– Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое... Васькой зовут... Я ж ещё малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

– Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

– Так они ж обе с краю!... Разве через дверь поймёшь!

Очевидно раздумывая, помолчали немного за дверью.

– Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

– Тут недалече, с версту всего... Сразу за опушкой.

– Только-то! – И, окрылённый надеждой, Жиган снова пустился бегом.

... На кривых улочках его сразу остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

– Какую ещё записку! Приходи утром. – Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: – Эй, там!... Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу всё те же три загадочные буквы «Р. В. С.», сразу же подвинул огонь. И только прочитал – к телефону: «Командира!... Комиссара!», а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

– Не может быть! – удивлённо крикнул один.

– Он!... Конечно, он! – радостно перебил другой. – Его подпись, его бланк. Кто привёз?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

– Какой он?

– Чёрный... в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из неё красный флажок.

– Ну да, да, орден!

– Только скорей бы, – добавил Жиган, – светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомлённый Жиган несколько раз повторявшиеся слова: «Конечно, армия!... Он!... Реввоенсовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стёкла.

– Где? – порывисто распахнув дверь, вошёл вооружённый маузером и шашкой командир. – Это ты, мальчуган?... Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его с земли и усадил на лошадь. И снова заиграла труба.

– Скорей! – повелительно крикнул кто-то с крыльца. – Вы должны успеть!

– Даёшь! – ответили эхом десятки голосов. Потом:

– А-аррш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

– Уходи лучше домой, – несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

– Нет, – мотал он головой, – не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно. Сидели молча: было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

– Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

– Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чём-то раздумывая.

Наступал вечер. В сарае резче и резче проглядывала тёмная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

– Слушай!

Димка задрожал даже.

– Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо.

– Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донёс их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

– Может, красные?

– Нет, нет, Димка! Красным рано ещё.

Всё смолкло. Прошёл ещё час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот слышались близко-близко.

– И по погребам? И по клуням? – спросил чей-то резкий голос.

– Везде, – ответил другой. – Только сдаётся мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» – узнал Димка, а незнакомец протянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

– Темно, пёс их возьми! Проканителились из-за Лёвки сколько!

– Темно! – повторил кто-то. – Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

– А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

– Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костёр. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клочок соломы.

Рассвет не приходил долго... Задрожала наконец зарница, помутнели звёзды. Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

– Димка, – шёпотом проговорил незнакомец, – скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь. Ползи туда.

– А ты?

– А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! – И незнакомец крепко,

как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слёзы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слёзы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

Тара-та-тах! – прорезало вдруг воздух. – Тара-та-тах! Ба-бах!... Тиу-у, тиу-у... – взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряжённых обойм «люйсов» – всё это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

– Чего ты, глупый? – радостно спросил тот.

– Да ведь это же они... – отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И ещё не смолкли выстрелы за деревней, ещё кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил:

– Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в стороны. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

– Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось откуда-то – и командир, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

– Димка, – захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган, – я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелёными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул

одного по башке, так тот и свалился!...

– Ты врёшь, Жиган... Обязательно врёшь... У тебя и сабли-то нету, – ответил Димка и засмеялся сквозь не высохшие ещё слёзы.

... Весь день было весело.

Димка вертелся повсюду. И все ребяташки дивились на него и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и красноармейцы и командиры.

Написал он Димке всякие бумаги и на каждую бумагу печать поставил, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жиган среди бойцов чёртом ходил и песни такие заворачивал, что только ну! И хохотали над ним красноармейцы и тоже дивились его глотке.

– Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минуту Жиган, как будто лёгкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

– Я, брат, фьи-ить! Даёшь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них перенял:

*Ночь прошла в полевом лазарети;
День весенний и яркий настал.
И при солнечном, тёплом рассвете-ти
Маладой командир умирал...*

Хоро-ошая песня! Я спел – гляжу: у старой Горпины слёзы катятся. «Чего ты, – говорю, – бабка?» – «Та умирал же!» – «Э, бабка, дак ведь это в песне». – «А когда бы только в песне, – говорит, – а сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только, – добавил он, запнувшись немного, – некоторые из товарищей не доверяют. «Катись, – говорят, – колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Ук-радёшь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

– А давайте напишем ему, в самом деле, – предложил кто-то.

– Напишем, напишем! И написали ему, что «есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой – целые пол-листа да ещё на оборотной. Даже рябой Пантюшкин, тот, который ещё только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал комиссар.

– Нельзя, – говорит, – на такую бумагу полковую печать.

– Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

– Этот самый, с Сергеевым?

– Он, язви его шельма.

– Но уж в виде исключения... – И тиснул по бумаге.

Сразу же на ней РСФСР, серп и молот – документ.

И такой это вечер был, что давно не запомнили поселения. Уж чего там говорить, что звёзды, как начищенные кирпичом, блестели! Или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал всё. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали девчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых брёвнах перед обступившей его кучкой молодёжи, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньки в разбросанных домиках. Ушли старики, ребяташки. Но долго ещё по залитым лунным светом улочкам смеялась молодёжь. И долго ещё наигрывала искусно лекпомова гармоника, и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всем отрядом незнакомец крепко пожал руки ребяташкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде, — проговорил он, обращаясь к Димке. — А тебя... — И он запнулся немного.

— Может, где-нибудь, — неуверенно ответил Жиган. Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головёнке. Худенькие руки крепко держались за перекладыны, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

На дороге чуть заметной точкой виднелся ещё отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле Никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое ко-

пытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нём – больше никого.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

Колька и Васька – соседи. Обе дачи, где они жили, стояли рядом. Их разделял забор, а в заборе была дыра. Через эту дыру мальчуганы лазили друг к другу в гости.

Нюрка жила напротив. Сначала мальчишки не дружили с Нюркой. Во-первых, потому, что она девчонка, во-вторых, потому, что на Нюркином дворе стояла будка с злющей собакой, а в-третьих, потому, что им вдвоём было весело.

А подружились вот как.

Приехал однажды к Ваське из Москвы его задушевный товарищ – Исайка Гольдин.

Исайка был ровесником Васьки и был похож на Ваську. Только что чуть-чуть потолще, да волосы у Исайки почернее, да ещё было у Исайки ружьё, которое стреляло пробками, а у Васьки не было.

Приехал Исайка с отцом в выходной день. И вздумали ребята в лапту играть. А в лапту, известное дело, втроём не играют – обязательно нужно четвёртого.

Пошли за Павликом Фоминым. Но у Павлика болел живот. В лапту играть его не пустили, сидел он дома совсем печальный, потому что выпил недавно касторки.

Что тут будешь делать? Где взять четвёртого?

Вот Васька и говорит Кольке:

– А что, если давай позовём Нюрку?

– Давай, – согласился Колька. – У неё ноги вон какие длинные, она не хуже козы бегают.

Исайка согласился тоже.

– Только, – говорит Исайка, – хоть у меня ноги и короткие, а я тоже хорошо бегаю, потому что Нюрка без припрыга бегают, а я с припрыгом.

Позвали Нюрку:

– Иди, Нюрка, с нами в лапту играть.

Нюрка сначала очень удивилась. Но потом видит, что ребята всерьёз зовут.

– Я-то бы пошла, да мне сначала огурцы полить надо. А то взойдёт солнце, и рассада повянет.

Увидали ребята, что дело это с поливкой долгое будет. Тут Исайка и выдумал:

– Давайте мы тоже поливать будем. Одни воду подтаскивать, другие поливать, тогда раз-раз – и готово. А то одна она и до полдня прокопается.

Так и сделали. Сыграли в лапту десять конов. Сбегали на речку искупаться. Потом Исайка с отцом уехали в город.

И с того-то самого дня подружились Васька и Колька с Нюркой.

Жили они от Москвы недалеко, в посёлке, у самого края. Дальше начиналось поле, поросшее мелким кустарником. А ещё дальше, на горке, виднелись мельница, церковь и несколько домиков с красными крышами – то ли станция, то ли деревенька, – издалека не разберёшь. Как-то Васька спросил у отца, как называется эта деревенька.

– Это не настоящая, – ответил отец. – Это всё нарочно сделано.

– Как же не настоящая? – удивился Васька. – Как же не настоящая, когда и мельница, и церковь, и дома? Всё видно.

– А так и не настоящая, – рассмеялся отец. – Отсюда кажется, что и мельница и дома... А подойдёшь поближе, там ничего нет.

Удивился Васька, но не поверил. И решил, что отец посмеялся или просто сказал так, чтобы от него отстали.

Полез к Кольке через заборную дыру. Глядит, а Колька с Нюркой сидят на заборе и что-то интересное в поле высматривают. Обиделся Васька:

– Вы что же это, сами интересное высматриваете, а меня не позвали?

А Колька отвечает:

– Я давно уже хотел сбегать за тобой. Залезай скорее на забор. Посмотри, какие красноармейцы с пушками приехали.

Залез Васька, смотрит: совсем рядом в кустах кони стоят, повозки на двух колёсах и пушки.

– Ну и ну! – сказал Васька. – Это что же такое дальше будет?

– А вот посмотрим, – ответила Нюрка. – Мы уже давно здесь сидим и всё дожидаемся.

– Ладно, – напомнил им Васька, – другой раз и я тоже раньше вашего сяду и вам ничего не скажу.

Но всё-таки на этот раз они не поссорились, потому что в кустах начиналось что-то очень занятное.

Лошадей у каждой пушки было по шесть штук – по три пары на пушку. Лошади отцепились от пушек как-то сразу.

Красноармейцы возле пушек забегали и что-то такое крутили, ворочали, потом отбежали назад. Остался рядом с пушкой только один. И тот, который остался, держал в руке длинный шнур, привязанный к пушке.

– Ты, Колька, не знаешь, зачем это он за шнурок держится? – спросил Васька, усаживаясь поудобнее.

– Не знаю, – сознался Колька, – только если держится, то уж, значит, так нужно.

– Обязательно так нужно, – подтвердила Нюрка.

– А то, если бы он не держался, тогда как же? – продолжал Колька.

– Ну конечно, – согласился Васька, – если бы не держался, тогда как же...

Но тут красноармейский командир, который стоял позади телефонной трубки, что-то громко закричал. Другой командир, который стоял поближе к пушке, тоже что-то крикнул, махнул рукой; тогда красноармеец дёрнул за шнурок.

Сначала сверкнул огромный огонь. Потом так ударило, как будто бы громом грохнуло над самой печной трубой.

Ребята слетели с забора на траву.

– Ну и бабахнуло! – сказал Васька поднимаясь.

– Здорово бабахнуло! – согласилась побледневшая Нюрка.

– Это вот когда дёрнут, тогда и бабахнет, – объяснил Колька. – А вы говорите – зачем шнурок да зачем! Я теперь сразу угадал зачем... А вот скажи, Васька, почему ты с забора соскочил и меня с Нюркой спихнул?

– Я не соскочил, – обиделся Васька. – Это Нюрка первая соскочила, – тряхнула забор, я и свалился.

– Я не первая, – отказалась Нюрка. – Если бы я первая, то как же бы я Кольке на спину упала? Это он сам первый.

– Вот ещё! – рассердился Колька. – Это ты просто побоялась в крапиву падать и нарочно выбрала так, чтобы мне на спину. А я вот не побоялся и всю руку изжёг. – И, обернувшись к Ваське, он добавил: – Они все, девчонки, крапивы боятся. Куда уж им!

С тех пор красноармейцы с пушками приезжали часто. Только в среду да понедельник стрельбы не бывало, а то каждый день.

Как только приедут артиллеристы, так бегут ребята прямо к кустам. Сядут на бугорочке, совсем близко, и смотрят. С бугорочка всё видно и всё слышно. Телефонист послушает в трубку и потом говорит командиру:

– Прицел 6-5, трубка 7-2. Тогда командир кричит:

– Второе орудие!... Прицел 6-5, трубка 7-2.

И бегут сразу красноармейцы ко второму оружию. Покрутят какое-то колесо – и орудие немного вверх приподнимается. Покрутят другое – и ствол орудия немного в сторону отойдёт. Тут, когда нацелятся артиллеристы, махнёт командир рукою, – дёрнет красноармеец-наводчик за шнурок. Вот тебе и трах-бабах!

Как летит снаряд, этого ребятам не видно. Но когда долетит и разорвётся, то тогда уже видно, потому что над этим местом поднимается целое облако пыли и чёрного дыма.

И все снаряды рвались то около церкви, то около мельницы, то около домиков, которые виднелись далеко на горке.

– А страшно в той деревеньке жить! – сказала однажды

Нюрка. – Я бы ни за что не осталась там жить. А ты, Васька?

– И я бы не остался, – ответил Васька. – А отчего это отец говорит, что там никакой деревеньки нет и всё это только отсюда кажется?

– Деревенька есть, – решил Колька, – да только из неё перед стрельбой все уходят.

– А лошадей куда?

– А лошадей тоже уводят.

– И коров тоже? – спросил Васька.

– И коров тоже, и разных там свиней, и баранов.

– И куриц тоже уводят? – полюбопытствовала Нюрка. – И уток тоже... и всех?

– Должно быть, уж и всех, – ответил Колька и замолчал, потому что самому ему чудным показалось такое дело.

Тут как раз стрельба окончилась, подвезли красноармейцам котёл на колёсах – кухню. Стал наливать им повар в котелки что-то – суп или борщ, а красноармейцы сидели тут же на траву и ели.

Тогда Васька сказал:

– Побежим домой, я что-то тоже поесть захотел.

Но Колька остановил:

– Погоди-ка немного: сюда командир едет.

Подъехал верхом командир. И возле самого бугорка остановился: закурить захотел. Вынул папиросы, вынул спички, стал зажигать, да то ли коня слепень укусил, то ли просто он забаловался, а только дёрнул конь и зафыркал.

Ухватился командир за повод.

– Стой, – говорит, – шальной! Чего крутишься?

А спички-то и выронил.

— Ребята, — попросил командир, — подайте-ка мне спички.

Васька всех ближе стоял. Схватил он коробку, да поскользнулся и упал. А Кольке обидно стало, что Васька подавать хочет. Подскочил он к Ваське и вырвал у него коробку. Васька как заорёт да Кольку кулаком по голове. Тут и началась у них драка. А Нюрка тем временем тихонько, боком, боком... подобрала спички да и подала их командиру. Вот тебе и тихоня!

Посмеялся над ребятами командир, сказал им спасибо и ускакал.

Тогда Васька и Колька перестали драться и хотели отлупить Нюрку: зачем она со спичками вперёд сунулась.

Но Нюрка испугалась и убежала. А разве её, длинноногую, догонишь?

Так вот и поссорились ребята.

На другой день ни Васька к Кольке через заборную дыру не лезет, ни Колька к Ваське. А Нюрка тоже у себя на дворе возится.

Походил-походил по двору Васька, — скучно! Достал палку, сел на неё верхом и проехал кругом двора три раза, — всё равно скучно.

Заглянул он в дыру — видит, Колька с луком и стрелами ходит. В фуражку перо воткнул и будто бы индеец. Обидно стало Ваське. Просунул он голову в дыру и закричал:

— Отдай, Колька, перо! Оно не твоё, а наше. Это ты у нашего петуха из хвоста выщипал.

Тут Колька поднял с грядки ком земли. Как запустит его в Ваську, да прямо в живот! Хотя и не больно было Ваське, а всё-таки он заревел.

Васькина мать на крыльцо вышла и начала Кольку ругать. Да и Ваське заодно попало. На другой день ребята – враги. На третий день – враги тоже.

А тут как раз подошло грибное время. Другие ребята с соседних улиц соберутся с утра и идут или в Борковский лес, или на Тихие овраги. Глядишь, к обеду тащат – кто корзинку, кто лукошко. Да грибы-то все какие – белые! Сахар, а не грибы.

А Ваське одному идти скучно, он и не идёт.

Колька тоже не идёт. А Нюрка и подавно: скучно одной.

Сидит как-то Васька у себя на дворе и играет в поезд. Паровоз у него не настоящий, а из ящиков сделан, но всё-таки интересно. Приладил он старую самоварную трубу да и дудит: ду-у-у! А сам раскачивается. Ящики хотя и не едут, но стучаются один о другой: так-так-так-так! Ну, прямо как вагоны!

Вдруг слышит Васька – упало что-то рядом. Видит – стрела. И видит он, что высунул из дыры голову Колька. И жалко этому Кольке нечаянно улетевшей стрелы, и боится он пролезть за нею.

Посмотрел Васька и говорит:

– А хочешь, Колька, я тебе стрелу подам?

Слез с паровоза, поднял стрелу и подал Кольке. Взял Колька стрелу, ничего не сказал и ушёл.

Походил-походил, а потом высунулся опять из дыры и кричит:

– А у меня, Васька, свисток, как у кондуктора, есть! Хочешь, я тебе дам поиграть? Только не насовсем.

Принёс Колька свисток да так и остался на Васькином дворе. Наигрались и сговорились завтра утром за грибами идти.

Подошёл Колька к забору и кричит:

– Нюрка, пойдём завтра за грибами? А Нюрка боится.

– Вы, – говорит, – опять драться будете.

– Ну вот, драться! Что мы, хулиганы, что ли? Это только хулиганы каждый день дерутся. А мы разве каждый?

Так и помирились.

Васька был неграмотным – мал ещё. А Колька немного грамоту знал. Вечером, перед тем как лечь спать, подошёл он к календарю, оторвал листочек и прочёл на нём: «Вторник». Посмотрел на оставшийся листок и прочёл: «Среда».

«Завтра уж среда», – подумал Колька и похвалился:

– А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередке недели висит. Верно я говорю?

– Верно, – согласилась мать. – Ты бы лучше спать шёл.

«И то правда, – подумал Колька. – Завтра вставать за грибами рано... в шесть часов».

Когда Колька уснул, вернулся с какого-то собрания отец. Посмотрел он на календарь и спросил:

– Разве у нас завтра среда?

– Нет, – ответила мать, – завтра ещё только вторник. Это Колька по ошибке лишний листок вырвал. Вот оно и получилось, что завтра среда.

Вероятно, Колька и Васька проспали бы, если бы их не разбудила Нюрка.

Солнце ещё только взошло, трава была мокрая, и сначала босым ногам было холодно.

Направились в перелесок.

Но грибов в перелеске попадалось немного, и ребята решили свернуть к Тихим оврагам, где кусты были погуще, а место посуше.

В корзине у Нюрки и Кольки лежало уже по несколько штук, а у Васьки всё ещё ни одного.

— Ты, Нюрка, не иди со мной рядом, — попросил он, — а то всё раньше меня срываешь. Ты иди лучше вбок, там и срывай.

— А ты не зевай! — ответила Нюрка и, кинувшись в кусты, вытащила оттуда большой крепкий берёзовик. — Вот смотри, какой ты гриб прозевал!

— Я не прозевал, — уныло ответил Васька, — я только хотел за куст посмотреть, а ты уже и выскочила.

Но вскоре, когда очутились они возле Тихих оврагов, грибы начали попадаться так часто, что даже Васька нашёл четыре осиновика да один белый — здоровый и без одной червинки.

Так бродили они по кустам долго, и уже высоко поднялось солнце и подсохла роса на полянках, когда вышли они на опушку.

— А ну-ка... а ну-ка, — сказал Колька, — посмотрите, ребята, куда мы зашли.

Высокий кустарник кончился. Дальше, насколько хватал глаз, расстилалось перед ними холмистое, покрытое мелкой порослью поле. И через то поле не пролегала ни одна проезжая дорога — всюду только кустики да трава. Торчало на том поле несколько высоких деревянных башенок с пустыми площадками наверху. А вправо, не дальше чем за километр, увидели ребята ту самую дере-

веньку с мельницей и церковью, которая видна была с окраины их посёлка.

– Пойдёмте посмотрим, – предложил Колька. – Мы скоренько... Посмотрим только, а потом и спустимся под гору, да всё прямо, прямо... Так к дому и выйдем.

– А вдруг стрелять начнут?

– А что, если красноармейцы приедут? – почти в один голос спросили Васька и Нюрка.

– Сегодня не приедут. Сегодня среда, – успокоил их Колька. – Пойдёмте посмотрим, да и домой.

Идти пришлось по кочковатому поросшему полю. И чем ближе подходили они, тем чаще попадались им бугры свежей, ещё не заросшей травой земли, узкие глубокие канавы и круглые, залитые дождевой водой ямки.

Казалось, что огромный крот ещё совсем недавно рылся в этом пустом и тихом поле.

– Это от снарядов, – догадался Колька. – Попадёт снаряд в землю, рванёт – вот тебе и яма. А вот это окопы. Сюда от пуль солдаты прячутся во время войны.

– Грязно очень, Колька, – с недоумением заглядывая в сырую глиняную канаву, сказала Нюрка. – Сюда если спрячешься, то вся вымажешься.

Но тут Васька, копавшийся около маленького кустика с почерневшей, точно опалённой листвой, закричал:

– Вот и нашёл! Вот это так нашёл!

И он побежал к ним, держа что-то в руках.

Сначала ребята думали, что он тащит гриб, но когда он подбежал, то увидели они, что это не гриб, а толстый кусок металла с неровными острыми краями.

– Это осколок от снаряда, – опять догадался Колька. –

Ты отдай мне его, Васька. Я тебе за него три гриба дам... Потрогай-ка, Нюрка, какой он тяжелый.

Но Нюрка поспешно отдёрнула руку и стала за спину Васьки.

— Положи его, Коленька, — робко попросила она. — А то вдруг он да и выстрелит.

— Глупая! — успокоил её Колька. — Он уже выстреленный. Как же он без пороха выстрелит? Дай мне его, Васька, — попросил он опять, — а я тебе за него три гриба дам. Да ещё стрелу с гвоздём дам, как только домой прийдём.

— Что грибы! — ответил Васька, бережно засовывая осколок в корзинку. — Грибы съешь, да и всё. Я лучше не дам тебе его, Колька: пускай он у меня будет... — Он помолчал, потом добавил: — А ты будешь приходить и смотреть. Как только ты попросишь, так я тебе и дам посмотреть. Что мне, жалко, что ли? Смотри сколько хочешь.

Они подходили к деревеньке. Не видно было ни мужиков, ни ребятишек. Не хрюкали свиньи, не мычали коровы, не лаяли собаки, как будто бы всё повымерло.

— Я говорил, что все ушли отсюда! — тихо сказал Колька. — Разве же тут можно жить: смотри, какие снарядные ямины.

Сделали ещё несколько шагов и остановились, широко вытаращив глаза. Только теперь разглядели они, что деревеньки-то никакой и нет. И мельница, и церковь, и домики сделаны были из тонких выкрашенных досок, без стен и без крыш.

Как будто бы кто-то огромными ножницами вырезал раскрашенные картинки и приклеил их на подставки среди зелёного поля.

– Вот так деревня! Вот так мельница! – закричал Васька. – А мы-то думали, думали...

Со смехом вбежали ребята в игрушечную деревеньку. Кругом росла высокая трава; было тихо, жужжали шмели и порхали яркие бабочки.

Ребята бегали вокруг раскрашенных домиков, рассматривая их со всех сторон. Здесь же неподалёку были врыты столбы, к которым были прибиты тяжёлые, толстые доски, в некоторых местах разорванные и расщеплённые снарядами. Это были мишени, по которым стреляли артиллеристы. Перед обманчивой деревенькой тянулись в два ряда изломанные окопы, опутанные ржавой колючей проволокой.

Вскоре ребята наткнулись на какой-то погреб. Дверь в погреб была приоткрыта. С робостью спустились они по каменным ступенькам и очутились в глубоком каменном подвале.

В подвале стояла скамья. К стене была приделана полочка, а на полочке торчал небольшой огарок.

– Зажжём свечку, – предложил Колька. – У меня спички есть. Я с собой захватил, чтобы костёр разжечь.

Он достал спички, но тут они услышали доносившийся сверху лошадиный топот.

– Побежим лучше домой, – тихо предложила Нюрка.

– Сейчас побежим. Там, наверху, кто-то есть. Как только проедут, так и побежим. А то заругаться могут. «Вы, – скажут, – зачем сюда лазили?»

Топот смолк. Ребята выбрались из погреба и увидели, как скачут, удаляясь, двое кавалеристов.

– Посмотри на вышку, – показал Васька, – вон на ту... Туда кто-то забрался.

Посмотрели – и верно: на одной из вышек сидел человек, и отсюда он казался маленьким-маленьким, как воробей.

Хотели уже бежать домой, но тут Васька захныкал, потому что в погребе он позабыл осколок.

Полезли опять. Зажгли свечку. Теперь, при тусклом свете, можно было разглядеть сырые толстые стены из цемента и потолок, настланный из крепких железных балок.

Вдруг глухой далёкий гул заставил вздрогнуть ребятишек. Как будто где-то упало на землю огромное тяжёлое бревно.

– Колька, – шёпотом спросила Нюрка, – что это такое?

– Не знаю, – также шепотом ответил он.

Гул повторился, но теперь грохнуло уже совсем близко. Ребятишки притихли и робко жались друг к другу. Васька раскрыл рот и, крепко сжимая найденный осколок, смотрел на Кольку. Колька хмурился, а по щеке Нюрки покатилась слеза, и она сказала жалобно, готовая вот-вот заплакать:

– А мне, Колька, кажется... мне что-то кажется, что сегодня вовсе не среда...

– И мне тоже, – уныло сказал Васька и вдруг громко заплакал, а за ним и остальные...

Долго плакали, притаившись в углу, попавшие в беду ребятишки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх затем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалёку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали

Васька с Нюркой, сел с ними рядом. Поплакав немного, он опять пополз наверх, к тяжёлой, скованной железом двери погребца, захлопнул её и отполз вниз. Гул сразу стих, и только по лёгкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжёлый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалёку.

— До нас не дострелят, — ещё всхлипывая, но уже успокаивая своих друзей, сказал Колька. — Мы вон как глубоко сидим! И стены из камня, и потолок; из железа. Ты... не плачь, Нюрка, и ты не плачь, Васька. Вот скоро кончат стрелять, тогда мы вылезем, да и побежим.

— Мы бы-ы... мы бы-ы-ст-ро побежим... — глотая слёзы, откликнулась Нюрка.

— Мы как... мы как припустимся, как припустимся, так и сразу домой, — добавил Васька. — Мы прибежим домой и никому ничего не скажем.

Огарок догорал. Пламя растопило последний кусочек стеарина. Фитиль упал и погас. Стало темно-темно.

— Колька, — прохныкала Нюрка, отыскивая в темноте его руку, — ты сиди тут, а то мне страшно.

— Мне и самому страшно, — сознался Колька и замолчал.

И в погребе стало тихо-тихо. Только сверху едва доносились заглушённые отзвуки частых ударов, как будто кто-то вколачивал в землю тяжёлые гвозди гигантским молотом.

— Колька, Васька! — опять раздался жалобный голос Нюрки. — Вы чего молчите? И так темно, а вы ещё молчите.

— Мы не молчим, — ответил Колька. — Мы с Васькой думаем. Ты сиди и тоже думай.

– Я вовсе и не думаю, – откликнулся Васька, – я просто так сижу.

Он заворочался, пошарил, нащупал чью-то ногу и дёрнул за неё:

– Это твоя нога, Нюрка?

– Моя! – отдёргивая ногу, закричала испуганная Нюрка. – А что?

– А то, – сердитым голосом ответил Васька, – а то... что ты своей ногой прямо в мою корзину и какой-то гриб раздавила.

И как только Васька сказал про гриб, так сразу же веселей стало и Кольке, и Нюрке, и самому Ваське.

– Давайте разговаривать, – предложил Колька, – или давайте песню споём. Ты пой, Нюрка, а мы с Васькой подпевать будем. Ты, Нюрка, будешь петь тонким голосом, я – обыкновенным, а Васька – толстым.

– Я не умею толстым, – отказался Васька. – Это Исайка умеет, а я не умею.

– Ну, пой тогда тоже обыкновенным... Начинай, Нюрка.

– Да я ещё не знаю какую, – смутилась Нюрка. – Я только мамину знаю, какую она поёт.

– Ну, пой мамину...

Слышно было, как Нюрка шмыгнула носом. Она провела рукой по лицу, насухо вытирая остатки слёз, потом облизала губы и запела тоненьким, ещё немного прерывающимся голосом:

*Ушёл казак на войну,
Бросил дома он жену.*

*Бросил свою деточку,
Дочку-малолеточку .*

– Ну, пойте последние слова: «Бросил свою деточку», – подсказала Нюрка.

И когда Колька с Васькой пропели, то Нюрка ещё звонче и спокойнее продолжала:

*С той поры прошли года,
Прошли, прокатились,
Все казаки по домам
Давно воротились.
Только нету одного,
Всеми позабытого,
Казачонка моего –
И-э-эх! – давно убитого...*

Нюрка забирала всё звончее и звончее, а Колька с Васькой дружно подпевали обыкновенными голосами. И только когда наверху грохало уж очень сильно, то голоса всех троих чуть вздрагивали, но песня всё же, не обрываясь, шла своим чередом.

– Хорошая песня, – похвалил Колька, когда они кончили петь. – Я люблю такие песни, чтобы про войну и про героев. Хорошая песня, только что-то печальная.

– Это мамина песня, – объяснила Нюрка. – Когда у нас на войне папу убили, вот она такую песню всё и пела.

– А разве у тебя, Нюрка, отец казак был?

– Казак. Только он не простой казак был, а красный казак. То все были белые казаки, а он был красный казак.

Вот его за это белые казаки и зарубили. Когда я совсем маленькая была, то мы далеко – на Кубани – жили. Потом, когда папу убили, мы сюда, к дяде Фёдору, на завод приехали.

– Его на войне убили?

– На войне. Мать рассказывала, что он был в каком-то отряде. И вот говорит один раз начальник отцу и ещё одному казаку: «Вот вам пакет. Скачите в станицу Усть-Медведицкую, пусть нам помощь подают». Скачут отец да ещё один казак. Уже и кони у них устали, а до Усть-Медведицкой всё ещё далеко. И вдруг заметили их белые казаки и пустились за ними вдогонку. У белых казаков лошади свежие, того и гляди, догонят. Тогда отец и говорит ещё одному казаку: «На тебе, Фёдор, пакет и скачи дальше, а я возле мостика останусь». Слез с коня возле мостика, лёг и начал стрелять в белых казаков. Долго стрелял, до тех пор, пока не пробрались казаки сбоку, через брод. Тут они и зарубили его. А Фёдор – этот другой-то казак – в это время далеко уже скакал с пакетом, так и не догнали его. Вот какой у меня папа казак был! – закончила рассказ Нюрка.

Сильный грохот заставил вскрикнуть ребятишек. Должно быть, ветром распахнуло верхнюю дверь, и раскаты взрывов ворвались в погреб.

– Колька... зак-к-рой! – заикаясь, закричал Васька.

– Закрой сам, – ответил Колька. – Я уже закрывал.

– Закрой, Колька! – громко расплакавшись, повторил Васька.

– Эх, ты! – неожиданно вставая, крикнула возбуждённая своим же рассказом Нюрка. – Эх, вы... – Она отбросила

Васькину руку, добралась до верхней двери, захлопнула её и задвинула на запор.

Гул смолк.

Опять замолчали. И так сидели долго. До тех пор, пока Колька, который чувствовал себя виноватым и перед маленьким Васькой и перед Нюркой, не сказал:

– А ведь наверху-то больше не стреляют.

Прислушались – наверху тихо. Подождали ещё минут десять – так же тихо.

– Бежим домой! – вскакивая, крикнул Колька.

– Домой, домой! – обрадовался Васька. – Вставай, Нюрка!

– Я боюсь... – захныкала Нюрка. – А вдруг опять...

– Бежим! Бежим! – в один голос закричали Колька и Васька. – Не бойся, мы как припустимся...

Выбрались наверх. После чёрного подвала день показался сияющим, как само солнце.

Осмотрелись.

Тяжёлые деревянные щиты, что стояли не очень далеко от погреба, были разбиты.

Повсюду валялись разбросанные щепки и чернели ямы возле ещё не обсохшей раскиданной земли.

– Бежим, Нюрка! Дай я возьму твою корзину, – подбадривал её Колька. – Мы быстренько...

Перепрыгнули через окоп, пробрались через проход среди колючей разорванной проволоки и побежали под гору.

Толстый Васька с неожиданной прытью помчался впереди, одной рукой держа корзинку, другой крепко сжимая драгоценный осколок.

Колька и Нюрка бежали рядом, и Колька свободной рукой помогал ей тащить большую неуклюжую корзину.

Они уже спустились со ската и бежали теперь по мелкой поросли, как воздух опять задрожал, загудел, и снаряд, пронесясь где-то поверху, разорвался далеко позади них.

Нюрка неожиданно села, как будто бы в ноги ей попал осколок.

– Бежим, Нюрка! – закричал Колька, бросая свою корзину и хватая её за руку. – Бросай корзину! Бежим!

Артиллерийский наблюдатель с площадки вышки заметил среди мелкого кустарника три движущиеся точки.

«Вероятно, козы», – подумал он, поднося к глазам бинокль. Но, присмотревшись, он ахнул и, схватив телефонную трубку, крикнул на батарею, чтобы перестали стрелять.

В бинокль он ясно видел, как, то показываясь, то исчезая за кустами, по полю мчались двое мальчуганов и одна девочка.

Один мальчуган крепко держал за руку девочку. Другой, путаясь ногами в высокой траве и спотыкаясь, бежал немного позади, крепко прижимая что-то обеими руками к груди. Затем он увидел, как из-за кустов выскочили двое посланных в батареи кавалеристов и, остановившись около ребят, соскочили с коней.

Конвоируемые двумя красноармейцами, ребята дошли до батареи. Командир был рассержен тем, что пришлось остановить учебную стрельбу, но, когда он увидел, что виноваты в этом трое перепуганных и плачущих малышей, он не стал сердиться и подозвал их к себе.

– Как они пробрались через оцепление? – спросил он.

Ребята молчали. И за них ответил один из конвоиров:

– А они, товарищ командир, забрались ещё спозаранку, до того, как было выставлено оцепление. А потом, когда наши разъезды кусты осматривали, так они говорят, что в погребке сидели. Я думаю, что они в четвёртом блиндаже прятались. Они как раз с той стороны бежали.

– В четвёртом блиндаже? – переспросил командир. И, подойдя к Нюрке, погладил её. – В четвёртом блиндаже! – повторил он, обращаясь к своему помощнику. – А мы-то как раз этот участок обстреливали. Бедные ребята!

Он провёл рукой по разлохматившейся голове Нюрки и спросил ласково:

– Скажи, девочка, а зачем вы туда забрались?

– А мы деревеньку... – тихо ответила Нюрка.

– Мы хотели деревеньку посмотреть, – добавил Колька.

– Мы думали – она настоящая, а там одни доски! – вставил Васька, ободрённый добрым видом командира.

Тут командир и красноармейцы заулыбались. Командир посмотрел на Ваську, который прятал что-то за спину.

– А что это у тебя в руках, мальчуган?

Васька засопел, покраснел и молча протянул командиру снарядный осколок.

– Это он не взял, это он под кустом нашёл, – заступился за Ваську Колька.

– Это я под кустом, – виновато ответил Васька.

– Да зачем он тебе нужен?

Тут командир опять заулыбался, а обступившие их красноармейцы громко рассмеялись. И Васька, который никак не мог понять, над чем они смеются, ответил им, нахмурившись:

– Так ведь этакого осколка ни у кого нет, а у меня теперь есть.

– Ну, бегите, – сказал им командир. – Эх вы, малыши!

Он повернулся, посмотрел в записную книжку и закричал уже совсем другим голосом – громким и строгим:

– Стрелять третьему оружию! Прицел 6-6, трубка 6-2!

– Трах-бабах! – грохнуло позади ребят, когда вприпрыжку, довольные тем, что легко отделались, понеслись они домой. Трах-бабах... Но это уже было не страшно.

В выходной день приехал с отцом Исайка. Привез он с собой ружьё, которое стреляло пробками, и стал хвалиться ружьём перед Васькой. И странное дело: на этот раз Ваське несколько не завидно было, что у Исайки есть ружьё, а у него нет.

Пока Колька и Нюрка рассматривали и хвалили Исайкино ружьё, Васька пошёл домой, отодвинул ящик, в котором лежали сломанный ножик, мячики – один с дыркой, большой, другой без дырки, маленький, – молоток, гайки, три гвоздя и ещё кое-что из его имущества. Он вынул из этого ящика бережно завернутый осколок и понёс его Исайке.

– А у меня вот что есть, Исайка, – сказал он, подавая осколок.

Но Исайка то ли глуп был, то ли не хотел показать вида, только он равнодушно посмотрел на осколок и сказал Ваське:

– Ну, это-то что! У нас в чулане старых железин сколько хочешь.

Васька даже не обиделся. Он посмотрел на Нюрку, на Кольку; они хитро улыбались друг другу и вчетвером побежали на окраину, где начиналось военное поле.

Артиллеристы в тот день не приезжали. Ребята показали Исайке, где становятся пушки, объяснили ему, для чего среди поля стоят деревянные башенки. Рассказали ему, какая странная раскинулась на горе деревенька, около которой и окопы и каменный, с железным потолком погреб, который называется «блиндаж». Они рассказали ему, как попали в блиндаж и как сидели там до тех пор, пока не окончилась стрельба.

Исайка слушал с любопытством, но когда они кончили рассказ, то он сказал довольно равнодушно:

— Жалко, что меня с вами не было. А то я бы тоже полез сидеть. Пойдёмте сыграем в чижа.

И опять улыбнулись Васька, Колька и Нюрка.

Глупый, глупый Исайка! Он думает, что в блиндаже сидеть так же просто, как играть в чижа.

Он не слышал ещё ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрывающегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжёлую дверь блиндажа, как Кольке и Нюрке, и не приходилось бежать с тяжёлым осколком в руках по изрытому воронками полю, как Ваське.

И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребёнком.

А когда Исайка поднял на них свои глаза, удивлённые и обиженные этим непонятным смехом, то они схватили его за руки и потащили играть в чижа.

ВОЕННАЯ ТАЙНА

Из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришёл в Москву только в три с половиной.

Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у неё не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника – Шегалова.

– Дядя, – крикнула опечаленная Натка, – я в Москве!... Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рывкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

– И что за горячка? – выбранил он Натку. – Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

– Дядя, – виновато и весело заговорила Натка, – хорошо тебе – «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горькоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут ещё поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Будённый, да ещё какие-то начальники. А я нигде, ни на

чём, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты – «завтра» да «завтра»...

– Ой, Натка! – почти испуганно ответил Шегалов, сбитый её бестолковым, шумным натиском. – Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

– А ты постарел, дядя, – продолжала Натка. – Я тебя еще знаешь каким помню? В чёрной папaxe. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лёг спать, а я и ещё одна девочка – Верка – потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы – реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки режут?» – «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы её такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

– Нет, не помню, Натка, – улыбнулся Шегалов. – Давно это было. Ещё в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но всё это нравилось Натке – и людской поток, и пыльные жёлтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далёким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и ещё и ещё куда-то.

И когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофёр увеличил скорость так, что машина с лёгким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдёрнула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, чёрные волосы.

... В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя, — задумчиво сказала Натка, — три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть лётчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу, — учись, говорят, в совпартшколе, — а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жёсткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу, — упрямо повторила Натка. — Лётчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, — через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов. — Не любишь или не справляешься?

– Не люблю, – созналась Натка. – Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Всё это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своём месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

– Из меня грамматик плохой бы тогда вышел, – настояжившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: – А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целых три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперёд наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я всё хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

– Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селёдка. Два эшелона полудохлой скотины и те сберёг, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приёмщики. Глядят – скотина ровная, гладкая. «Господи, – говорят, – да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отошальные». Помню, один беспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мной поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьёзно посмотрел на Натку:

– Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чём это я? Так ты не робей, Натка, тогда всё, как надо, будет. – И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

– Как не справляюсь? – с негодованием спросила она. – Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвлённая, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путёвку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

– Эх, Натка! – пристыдил её Шегалов. – Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!... Тоже была лётчик! – с грустной улыбкой dokonчил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через туннель они вышли на платформу.

– Поедешь назад – телеграфируй, – говорил ей на прощанье Шегалов. – Будет время – приеду встречать, нет – так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты её теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он так любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе варёных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... всё старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров». — Она перевернула страничку и прищурилась. — И вот это... Это тоже уже прошлое».

Перед ней лежала фотография, обведённая чёрной траурной каёмкой: это была румынская, вернее — молдавская, еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присуждённая к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишинёвской тюрьмы.

Смутное лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрёпанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели её для первого допроса к блестящим жандармским офицерам и следователям беспощадной сигуранцы.

... Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжёлые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близились непогода, и официанты поспешно задвигали тяжёлые запылившиеся окна.

... Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли ещё двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами тёмными и весёлыми.

— Сюда, — сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа... — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом, — ответил отец.

— Ладно, потом, — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька, — попросил он, — я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто, — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая

с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоём.

– Ты зачем приходил? Я бы и сам принёс, – спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

– Я это знаю, – ответил отец. – Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чём-то у отца, указывает рукой в её сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой. Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

– Это моя книжка, – сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

– Почему твоя? – спросила Натка.

– Потому что это я забыл. Ну, утром забыл, – объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

– Что же, возьми, если твоя, – ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. – Тебя как зовут?

– Алька, – отчётливо произнёс он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Ещё раз Натка увидела их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалёких гор.

Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем не знакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу.

Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, весёлые, запыхлённые и усталые. Они держали – наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

– Здорово, ребята! Откуда? – спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

– Ленинградцы!... Мурманцы!... – охотно закричали ей в ответ.

– Машиной, – спросила Натка, – или с парохода?

– С парохода, с парохода! – точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

– Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке, – тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алёша Николаев.

– Натка, – соскакивая с велосипеда, закричал он сверху, – уральцы приехали?

– Не видала, Алёша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.

– Ну, значит, ещё не приехали... Натка, – закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда, – выкупаешься, зайди ко мне или к Фёдору Михайловичу! Есть важное дело.

– Какое ещё дело? – удивилась Натка, но Алёша махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое; вода светлая и тёплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться ещё с детства, плыть по солёным спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зелёные виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи – весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

На обратном пути она вспомнила, что её просил зайти Алёша. «Какие у него ко мне дела, да ещё важные?» – подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была тёплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

Алёшу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушёл в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы – это Толька Шестаков и Владик Дашевский –

сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала Тольке набить по дороге карманы яблоками, а Владiku – запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и всё никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик сидели невозмутимые и спокойные.

– Ты откуда? Вас сколько приехало? – спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

– Из-под Тамбова. Один я приехал, – басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган. – Из колхоза я. Меня в премию послали.

– Как в премию? – не совсем поняла Натка.

– Баранкин моё фамилие. Семён Михайлов Баранкин, – охотно объяснил мальчуган. – А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

– Какой завод?

– Походный, фильтровальный, – серьёзно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито: – И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а ещё кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца её окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Фёдор Михайлович.

– Заходи, – сказал он, пропуская Натку в комнату. – Садись. Вот что, Ната, – начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась, – в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приёмка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

– Но я ничего не понимаю ни в приёмке, ни в горячке, – испугалась Натка, – Я и сама тут, Фёдор Михайлович, третий день.

– Да тебе и понимать ничего не надо, – взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик. – Там есть и фельдшерица и сестры. Они сами примут. А твоё дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьёшь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

– Два года, – сердито ответила Натка. – А долго ли, Фёдор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

– Что ты, что ты! – отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. – Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй, сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

– Да сколько хоть человек в этом отряде? – унылым голосом спросила Натка.

– Там узнаешь, иди, иди, – повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: – Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, буживала неуёмная суeta.

Только что прибыла последняя партия – средневожцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запылённые, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.

В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

– Будет, будет вам баловаться! – хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка. – Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!...

Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:

– Что за безобразие? Прекратите это безобразие!

И новенькие ребята, которые ещё не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он ещё больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущённо выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубашках с резинкой, и, ещё не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

– Иоська! – окликнула Натка. – Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру – оспу прививать... А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

– Оспу! – выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська. – Кто не прививал, вылетай живо!

– Нина! – окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. – Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

– Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалёву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

– Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.

– Лыбатько?

– Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

– Время к ужину! – запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

– Подавай сигнал, – ответила Натка, – сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить, – подумала Натка. – Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утёса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чьи-то шаги слышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в чёрную тень листвы, чтобы её не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую чёрную ночь Натка узнала бы их по голосам.

Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чём-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

– А как по-твоему, – останавливаясь, спросил высокий, – стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

– Не стоит, – согласился мальчуган и добавил сердито: – Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы всё идём да идём, а дома всё нет и нет.

– Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри – вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали, – догадалась Натка. – Что же они здесь делают?»

В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к

девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девочкам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон. Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетанье. Неподалёку от террасы чернорабочий Гейка колот дрова.

– Хорошо! – негромко крикнула Натка и рассмеялась, услышав откуда-то из-под скалы такой же, как и её, вскрик – весёлое, чистое эхо.

– Натка... ты что? – услышала она позади себя удивлённый голос.

– Корабли, Нина... – не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далёкий сверкающий горизонт.

– А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лёг. Я – из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвёшь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать». И просила, и ругала, и обещала на линейке

вызвать. А он стоит молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?

– Нина, – помолчав, спросила Натка, – ты не встречала здесь таких двоих?... Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.

– В сером френче... – повторила Нина. – Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?

– Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.

– Видела я человека во френче, – не сразу вспомнила Нина... – Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.

– И большой шрам на лице, – подсказала Натка.

– Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка? – спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу.

– Не знаю, Нина.

– Я встал, можно звонить подъем? – басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

– Можно, – сказала Натка. – Звони. «Экий увалень!» – подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.

Всё оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трёх старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошёл к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечёвки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвёртые что-то строга́ли, пятые просто ничего не делали, а, лёжа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повёртывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперёд, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трёх русских девочек и затесавшегося к ним октябрёнка Карасикова.

Так они и сделали. Послушали и про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто её за ногухватила собака.

— Толька, — спросил Владик, — а ты слышал, как ночью

сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них манёвры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

– Врать-то! – равнодушно ответил Толька. – Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

– Ничего не врать, мне мама всё рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестрёнку Юльку да бабушку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка всё бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.

– А мать где? – спросил Толька. – Ты всё рассказывай, по порядку.

– Я и так по порядку. А мать всё наверху бегаёт: то хлеб принесёт, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылезти. Толкнулась, а крышка погреба заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылезала. Потом хлопнула дверь – это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрёпанная. «Вылезайте», – говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылезает. Насилу уговорили её. Входит отец с винтовкой. «Готовы? – спрашивает. – Ну, скорее». А бабка не идёт и злобно на отца ругается.

– Чего же это она ругалась? – удивился Толька.

– Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

– Так и не пошла?

– И не пошла. Сама не идёт и других не пускает. Отец как посадил её в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу. А кругом всё горит: деревня горит, костёл горит... Это от снарядов. А дальше у матери всё смешалось как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

– Отец-то почему с винтовкой приходил?

– А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и ещё там разных... Как поймают, так и в ревком.

– Нельзя было отцу оставаться, – согласился Толька. – Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

– Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассылным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня – ей уже сейчас двадцать восемь лет – так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили её – три года сидела. Потом выпустили – три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

– Скоро опять выпустят?

– Нет, ещё не скоро. Ещё четыре года пройдёт, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

– Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

– Толька! – тихо и оживлённо заговорил вдруг Владик. – А что, если бы мы с тобой были учёные? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрёшься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

– И я читал... Так ведь всё это враки, Владик, – усмехнулся Толька.

– Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

– А если бы? – заинтересовался Толька. – Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

– Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

– Зачем же билеты? – удивился Толька. – Ведь нас бы и так никто не увидел.

– Чудак ты! – усмехнулся Владик. – Так мы бы сначала не натёршись поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натёрлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм – мы мимо, а он ничего не видит.

– Можно было бы подойти сзади да кулаком по башке стукнуть, – предложил Толька.

– Можно, – согласился Владик. – Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, всё оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

– Вот уж нет, – возразил Толька. – В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дёрнули бы, что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно! А потом?

– А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы

другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

– Что-то уж очень много убили бы, Владик! – поёжившись, сказал Толька.

– А что их, собак, жалеть? – холодно ответил Владик. – Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и всё до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

– И что бы мы сказали? – нетерпеливо спросил Толька.

– Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

– А они бы что подумали? Ведь мы же натёртые, и нас не видно.

– А было бы им время раздумывать? Видят – камеры отперты, часовые побиты. Небось сразу бы догадались.

– То-то бы они обрадовались, Владик!

– Чудак! Просидишь четыре года да ещё четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

– Нельзя наедаться, – серьёзно поправил Толька. – Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные – они ведь не натёртые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

– А ведь и правда будут! – согласился Владик. И оба они расхохотались.

– Сказки всё это, – помолчав, сознался и сам Владик. – Всё это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лёг на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чём-то другом.

– Сказки, – повторил он, поворачиваясь к Тольке. – А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких на-тираний невидимый.

– Как – невидимый? – насторожился Толька.

– А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и всё никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. Во Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

– Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

– А вот поди спроси – куда, – с гордостью ответил Владик. – Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите, – говорит, – к чёрту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

– Так это он нарочно! – с восхищением воскликнул Толька.

– А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно, – усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно: – Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?

Издалека донёсся гул колокола – к обеду, и ребятишки,

хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники ещё с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал.

Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подёргал Тольку за ногу:

– Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься.

Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дёрнул Тольку за руку:

– Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьёмся!...

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

– За такие дела можно и по шее... – начал было рассерженный Толька.

– Отбились! – торжественно заявил Владик. – За такие геройские дела представляю тебя к ордену. – И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке. – Брось, Толька, дуться! Вон под горою ка-

кой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы всё разведаем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебежали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своём пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчанье злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ажины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре. Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом – ни души.

– Это древняя крепость, – объяснил Владик. – Давай, Толька, поищем, может быть, и наткнёмся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжёлых цепей, ни человеческих костей им не попало.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травы, они наткнулись на тёмное, пахнущее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъёму.

Надо было уходить, и они решили вернуться сюда ещё раз, захватив бечёвку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

– Владик, – с любопытством спросил Толька, – вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

– Нет, – ответил Владик. – Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездой и с маузером. Как, например, один человек.

– Как кто?

– Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был

поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

– Коля, – говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана, – ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

– Это мне брат из колхоза пишет, – громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят. – Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий – тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий – он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотные, а одна ещё неграмотная, мала девка.

– А тёток у тебя сколько?

– А корова у вас есть?

– А курицы есть? А коза есть? – закричали Баранкину сразу несколько человек.

– Тёток у меня нет, – охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом. – Корова у нас есть,

свинью закололи, только поросёнок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. И что смеётесь? – добродушно и удивлённо обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех. – Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошёл Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошёл прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги – от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушёл с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потёртый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Её чёрная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристёгнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и ещё какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб и что она торопится, потому что неподалёку от неё смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый – вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черново-

лосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные громады незаконченных построек и клочья густого, чёрного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем, всё хорошо – устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела ещё раз на чёрную пыльную спецовку, на тяжёлые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристёгивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись, и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

– Баранкин, – удивилась и рассердилась Натка, – ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

– Это не игра, – убеждённо произнёс Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник. – Ну, завязали мне ноги в мешок, – беги, говорят. Я шагнул и – бац на землю. Шагнул – и опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять – беги! Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго. – Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил: – Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл, — спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки. — Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идёт. Совсем забыл, — повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил: — У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадь запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин, — спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо, — у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут, — охотно и обрадовано ответил Баранкин. — Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего... поздоровела. Бык её в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду! — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далёкий хриплый окрик. — Это Гейка зовёт, — объяснил он. — Мы с ним дружки.

Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноградниках. Зажглись зелёные огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки даёт Картузик», — подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на

мгновенье над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

– Пасовать, – вполголоса строго сказал ей Картузик.

– Есть пасовать, – также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

– Пасовать, – повторил Картузик. – Спокойней, Натка.

Но вот он, кручёный, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

– Дай! – вскрикнула Натка Картузику.

– Возьми! – ответил Картузик.

– Режь! – вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

– Есть! – ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

– Один – ноль, – объявил судья и, засвистев, предупредил: – Шегалова и Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

– Шегалова, – крикнул ей кто-то из ребят, – тебя Алёша Николаев зачем-то ищет!

– Ещё что! – отмахнулась Натка. – Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгущалась. На счёте «один – ноль» догорела заря. На «восемь – пять» зажглись звёзды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.

– Сэт-бол! – крикнул судья, и почти тотчас же чёрный мяч взвился высоко над серединой сетки.

«Дай!» – глазами попросила Натка у Картузика.
«Возьми!» – ответил он молчаливым кивком головы.

«Режь!» – зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и ещё втёмную слышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

– Шегалова и Картузик, не переговариваться! – добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кучу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился.

– Фёдор Михайлович спрашивал, – угрюмо сообщил он Натке. – Меня посылали искать, да я не нашёл. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?» – с тревогой подумала Натка и круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под её ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Всё было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что всё равно уже поздно и все спят, тихонько прошла в коридор. Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чём дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстёгивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевелинуться, Натка прислушалась и

теперь, уже ясно расслышав чьё-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидела, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит всё тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Всё тот же белокурый и темноглазый Алька.

Всё это было очень неожиданно, а главное – совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдёрнула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

– Ольга Тимофеевна, – полушёпотом спросила Натка, – кто это? Почему это?

– Это Алька, – равнодушно ответила дежурная. – Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алёшки Николаева. «Натка! – писал Алёша. – Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись – мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кровати стояла белая табуретка. На ней лежали синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алёшу Николаева она не сердилась.

Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Ещё издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись ещё на полметра, вода пойдёт назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется ещё на метр, перельётся через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвёт первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

– Плохо, Сергей Алексеевич! – закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и брёвна.

– Когда прорвало? – спросил инженер. – Шалимов где?

– Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рвануло это снизу, им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать, а они – туды, сюды, меня искать... Пока то да сё, пока меня разыскали, а её – дыру-то – чуть ли не в сажень разворотило.

– Шалимов где?

– Сейчас придёт. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода.

И когда наконец, сбросив последнюю грудку балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер покрасневшееся лицо и сошёл на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголёк, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна гораздо правее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте и, по-видимому, прорвало ещё сильнее, чем прежде.

Мимо обозлённых землекопов инженер подошёл к Дягилеву и Шалимову. Он повёл их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.

– Вот! – сказал он. – Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперёк, и мы спустим воду по скату.

– Грунт-то какой, Сергей Алексеевич! – возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым. – Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмём, а дальше, сами видите, голый камень.

– Ройте, – повторил инженер. – Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвём динамитом.

– Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей изматываем.

– Ройте, – отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер. – Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошёл к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома – Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решётки, он зашёл в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин ещё с утра уехал в Ялту и вернётся только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошёл к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой чёрной бородой.

– Здравствуйте! – громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

– Ба!... Ба!... Сергей! – улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом. – Откуда? И в каком виде – сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

– Дело, товарищ Гитаевич, – сказал Сергей, сжимая протянутую руку. – Спешное дело.

– Уволь, уволь, – заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку. – Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чём хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так поговорим – это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

– Дело, товарищ Гитаевич, – упрямо повторил Сергей. – Если бы не важное, то и не просил бы.

– Палицын где?... Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах ты! Да как же его, этого, что со шрамом? – как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

– Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом, – продолжал Сергей. – Мне динамит нужен. Взрывсельпром не даёт. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха – наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф.

– Какой динамит? Какие шефы? – с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич. – И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

– Дело ерундовое, – согласился Сергей и рассказал всё, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял про-

ткнутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

– Возьми, – грубовато сказал он. – От тебя не отста-
нешь.

– Ваша школа, товарищ Гитаевич, – ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил: – Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищутив под дымчатыми стёклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

– Так посадил, говоришь? – неожиданно весёлым, но всё тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу. – Давно это было, Сергей, – уже тише добавил он.

– Давно, товарищ Гитаевич.

– Так ты теперь не в армии?

– Инженер. Командир запаса.

– Почему же, Серёжа, ты инженер? Я что-то не при-
поминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки
были... Постой, куда же ты? – спросил Гитаевич, увидав,
что Сергей поднимается и застёгивает полевую сумку. –
Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время,
заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдём к морю,
выкупаемся, поговорим. Ты один? – глядя в лицо Сергея и
почему-то тише и ласковей спросил Гитаевич.

– Один. То есть нас двое – я и Алька, – ответил Сер-
гей. – Двое, я и сын, – повторил он и замолчал.

— Ну, до свиданья, — сказал Гитаевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чём-то спросить, но раздумал — не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но, ещё не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травой и засыпанная мелкими камнями. Неподалёку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник.

Конь насторожил уши, — на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечёвки. Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.

— Из лагеря? — спросил Сергей. — А ну-ка, подите сюда!

— Из лагеря, — хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой. — Мы гуляли.

— Вот что, — сказал Сергей. — Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите её во весь дух к начальнику лагеря и скажите: пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чём плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко.

Над низовым кустарником, пронзительно чирикающая носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена – всё это плавало и кружилось на поверхности мутной воды.

– Много вынули? – спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом.

– А не мерил ещё, – медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов. – Кубометров десять, должно быть, вынули.

– Мало, – сказал Сергей. – Плохо работаешь, Шалимов.

– Грунт тяжёлый, – равнодушно ответил Шалимов, – не земля, а камень.

– Ну, камень! До камня ещё далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальёт второй участок, и оставим мы ребят без воды.

– Как можно без воды? – согласился Шалимов. – Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? – разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

– Плохо, Сергей Алексеевич! – крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. – Вы посмотрите на выемку – так и рвёт со дна, так и рвёт! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка.

- Видел, – ответил Сергей. – До утра продержимся.
- Ой ли продержимся, Сергей Алексеевич?
- Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив ещё на три-четыре часа.

– Дягилев, – сказал он напоследок, – я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как не приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

– Давно уже, Сергей Алексеевич. Это ещё по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

– Вы потом покажите мне все эти ведомости, – сказал Сергей. – Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофёр был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И когда небольшой, но тяжёлый ящик был осторожно погружён на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные чёрные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных

вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

– Ну, давай! – подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофёром. – Ночь тёмная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо посёлки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!...– звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах.

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая, беззвёздная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушённый собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далёкое.

И вот почему-то пылал костёр. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!...– звонко гудела машина, взлетая в гору всё круче и круче.

... Тёмные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, насторожённо прислушиваясь к неразгаданному шуму.

– Это мой конь! – сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

– Да, – согласился начальник заставы – это худая, недобитая скотина – твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

– Хорошо! Посмотрим! – гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конём в этой разбитой, но смелой армии.

– Плохо! – крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы. – Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костёр, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

– Это беженцы! – крикнул возвратившийся Сергей. – Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

– Это мой конь! – гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку. – Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли чёрный хлеб.

– Это хороший конь! – гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

– Хороший конь, – слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью, – И конь хороший, и сам ты хороший.

...Ра-а-а!...— заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно. Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофёр громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары... — машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало всё южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошёл.

Они закурили и быстро помчались вперёд, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку. Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно, — созналась Натка. — Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются, — успокоил её Алька. — Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась, — к великому удовольствию Альки подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька, — спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу, — скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивлённо переспросил Алька. — Ну,

просто человек. Я да папа. – И, серьёзно поглядев на неё, он спросил: – А ты что за человек? Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала.

– Алька, – спросила Натка, – почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

– Мамы нет, – ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

– Мамы нет, – повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая её в чём-то, он посмотрел на неё недоверчиво и почти враждебно.

– Алька, – быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море, – посмотри, какой быстрый, большой корабль.

– Это сторожевое судно, – ответил Алька. – Я его видел ещё вчера.

– Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?

– Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василиук, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил лёгонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развёрнутым красным флагом.

– Ты не так прыгаешь, Эмка, – терпеливо повторял Василиук. – Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь – я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться? – огорчился он, увидав, что Эмине не

понимает его. – Ну, ладно, беги. Потом Юлай придёт, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине прыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

– Пионер? – смело спросила она, указывая на его красный галстук.

– Пионер, – ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником. – Это белый, – хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть её Алька. – Это белый. Это царь.

– Это красный, – ещё хитрее улыбнувшись, ответила Эмине. – Это Будённый.

– Это белый, – настойчиво повторил Алька, указывая на саблю. – Вот сабля.

– Это красный, – твёрдо повторила Эмине, указывая на серую папаху. – Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула к соновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свёрнутое в трубочку, а в другой – маленький, крепко завязанный узелок.

– Ты откуда? Куда?

– В клуб бегал, – быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увёртливо пряча узелок за спину. – В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

– Иоська, – удивилась Натка, – почему же это о танках,

когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу?

– Памятка потом. Мы сегодня с купанья шли – глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

– Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

– Это? Это орехи, – с отчаянием заговорил Иоська, ещё нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки. – Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

– Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увёртливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты – на спортивную площадку, танцоры – в клуб. И, пользуясь этой весёлой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок стеариновой свечи. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой чёрной дыре у подножия дряхлой башенки. Яркое жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось ещё более чёрным и загадочным.

– А что, если у нас бечевы не хватит, тогда как? –

спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки. – А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идёшь... идёшь подземным ходом, вдруг – бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

– Какие ещё змеи? – переспросил Толька, поглядывая на сырую чёрную дыру. – И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумываешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

– А что, Толька, – обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик, – а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

– И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? – совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на чёрную дыру.

– Лезем! – оборвал его Владик. – Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажёл свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись ещё раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

– Тоже, крепость! – рассердился Толька. – А всё, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идём лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море – огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

– Толька! – спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели. – А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света и разбили бы они Красную Армию и поставили бы они всё по-старому?... Мы бы с тобой тогда как?

– Ещё что! – равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

– И разбили бы они Красную Армию, – упрямо и дерзко продолжал Владик, – перевешали бы коммунистов, перекидали б в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

– Ещё что! – уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашёл эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. – Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская... На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты всё знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Толька покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

– Ну и пусть глупый! Пусть знаю, – спокойнее продолжал Владик. – Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

– Тогда бы и придумали, – вздохнул Толька.

– Что там придумывать? – быстро заговорил Владик. – Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда! – повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владику.

– Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах? – спросил он, подвигаясь поближе.

– Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они всё равно не перевешают. Кто же тогда работать будет – сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает.

– Что-то уж очень много грохает! – усомнился Толька. – Так, пожалуй, и все дома закачаются.

– Пусть качаются, – ответил Владик. – Так им и надо.

– Тише, Владик! – зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища. – Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завёрнутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в чёрной дыре, из которой ещё только совсем недавно выбрались ребяташки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращающегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать. — У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась, — не совсем уверенно ответила Натка. — А у тебя, Алька?

— У меня? — Алька запнулся. — А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про неё не сейчас расскажу.

«У него умерла мать», — почему-то подумала Натка, и, чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька, — сказала Натка, закончив рассказ. — Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь, — попросила Натка. — Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории, — подумав, ответил Алька. — Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

– Расскажи мне, Алька, смелую, военную сказку, – попросила Натка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твёрдое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго ещё ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далёкий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжёлые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила, что ещё с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются – это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но ещё сонными глазами.

– Что это? – спросил он тревожным полушёпотом.

– Спи, Алька, спи! – быстро ответила Натка, укладывая его в постель. – Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

– А, папа... – уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

Ребята-октябрюта были самым дружным народом в от-

ряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже рёву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалёва была в тот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг неё весёлой босоногой звёздочкой.

– Расскажи, Натка!

– Почитай, Натка!

– Покажи картинки!

– Спой, Натка! – на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывали прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

– Расскажи, Натка, интересное, – попросил обиженно октябрёнок Карасиков. – А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

– Расскажи, Натка, сказку, – попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

– Сказку? – задумалась Натка. – Я что-то не знаю сказок. Или нет. я расскажу вам Алькину сказку. Можно? – спросила она у насторожившегося Альки.

– Можно, – позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

– Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зелёных лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишнёвых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает – сено косит. Брат работает – сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется.

Гоп!... Гоп!... Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай – хорошая жизнь!

Вот однажды – дело к вечеру – вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он – небо ясное, ветер тёплый, солнце к ночи за Чёрные Горы садится.

И всё бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не мёдом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришёл.

– Что ты! – говорит он Мальчишу. – Это дальние грозы гремят за Чёрными Горами. Это пастухи дымят кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушёл Мальчиш. Лёг спать. Но не спится ему – ну, никак не засыпается.

Вдруг слышит он на улице топот, у окон – стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у окна всадник. Конь – вороной, сабля – светлая, папаха – серая, а звезда – красная.

– Эй, вставайте! – крикнул всадник. – Пришла беда откуда не ждали. Напал на нас из-за Чёрных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далёкую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова красnozвёздный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошёл к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

– Что же, – говорит старшему сыну, – я рожь густо сеял – видно, убирать тебе много придётся. Что же, – говорит Мальчишу, – я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе Мальчиш, придётся.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушёл. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

– Так я говорю, Алька? – спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

– Так... так, Натка, – тихо ответил Алька и положил свою руку на её загорелое плечо.

– Ну вот... День проходит, два проходит. Выйдет

Мальчиш на крыльцо: нет... не видать ещё Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лёг он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка – стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, тёмная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

– Эй, вставайте! – крикнул всадник. – Было полбеда, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

– Прощай, Мальчиш... Остаёшься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожидаясь.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

– Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы все боевые знамёна. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принёс напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лёг Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу – ну, какой тут сон?

Вдруг слышит он на улице шаги, у окошка – шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот да не тот: и коня нет – пропал конь, и сабли нет – сломалась сабля, и папахы нет – слетела папаха, да и сам-то стоит – шатается.

– Эй, вставайте! – закричал он в последний раз. – И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота – некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли – никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал...

– Так я говорю, Алька? – спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась, – не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает когда, подползло бесшумно всё пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьёзная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

– Так, Натка, так... Ещё лучше, чем так, – ответил Алька, подвигаясь к ней ещё ближе.

– Ну, вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

– Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заругут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от тёмной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьётся, а всё ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках чёрные бомбы, белые снаряды да жёлтые патроны. «Эге, – подумал Плохиш, – вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

– Ну что, буржуины, добились вы победы?

– Нет, Главный Буржуин, – отвечают буржуины, – мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним всё ещё не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

– Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

– Радуйтесь! – кричит он им. – Это всё я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажёг я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да с жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется.

Вдруг как взорвались зажжённые ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

– Измена! – крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

– Измена! – крикнули все его верные мальчиши. Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжёлые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать? Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

– Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала

расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

– Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

– Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, а все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь?

– Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моём Высоком Буржуинстве, и в другом – Равнинном Королевстве, и в третьем – Снежном Царстве, и в четвёртом – Знойном Государстве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамёна несут, те же речи говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

– Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета? И пусть он расскажет секрет.

– Нет ли у наших рабочих чужой помощи? И пусть он расскажет, откуда помощь.

– Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумываются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

– Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

– Есть, – говорит он, – и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали – не будет вам победы.

– Есть, – говорит, – и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, всё равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь.

– Есть, – говорит, – и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы не искали, всё равно не найдёте. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

– Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро.

Идут и головами покачивают.

– Нет, – говорят они, – начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твёрдое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты пове-ришь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая гибель?...

– Это не по тайным... это Красная Армия скачет! – восторженно крикнул не вытерпевший октябрёнок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая ещё недавно, под-

скакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше.

Тут Натка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду.

– Досказывай, – повелительно произнёс Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

– Досказывай, – убедительно произнёс раскрасневшийся Иоська. – Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов – белокурых, тёмных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на неё смотрели глаза – большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, чёрные как у Эмине, и много-много других глаз – обыкновенно весёлых и озорных, а сейчас задумчивых и серьёзных.

– Хорошо, ребята, я доскажу.

... И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая гибель?

– Что это за страна? – воскликнул тогда удивлённый Главный Буржуин. – Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат своё твёрдое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамёна, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и – машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не лёгкий бой, а тяжёлая битва.

– И погиб Мальчиш-Кибальчиш... – произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябрёнка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой.

Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

– Но... видели ли вы, ребята, бурю? – громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят. – Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамёна. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с её удивительным народом, с её непобедимой армией и с её неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зелёном бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

*Плывут пароходы – привет Мальчишу !
Пролетают лётчики – привет Мальчишу!
Пробегают паровозы – привет Мальчишу!
А пройдут пионеры – салют Мальчишу!*

Вот вам, ребята, и вся сказка.

Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали.

– Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого чёрта Шалимова сейчас же сюда позвали.

– Зачем чёрта? Зачем ругаешься? – раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова. – Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

– Ночью замок сорвали, – плачущим голосом объяснил Дягилев. – Начисто. Вместе с пробоем. Ружьё украли, двустволку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казённых денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич? – недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком.

– Зачем кулаком махаешь? – всё так же невозмутимо переспросил Шалимов. – Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздёрнул брови и укоризненно до-
бавил:

– Вон татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошёл вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

– Спать, спать иди! – ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев. – И что за народ! Что за народ! – скороговоркой закончил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепёжные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошёл вниз, к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.

– Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остаётся. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, всем не так. А тут ещё вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел всё того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и

спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорчённо рассказывал, что сто восемьдесят метров жёлоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было ещё повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И всё-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но всё что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уж бестолково вынули двести кубометров земли не оттуда, откуда было надо.

Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одёрнул помятый френч и пошёл к лагерю.

За обедом звеньевой Иоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошёл дежурный по столу пионер Башкатов, а при нём нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего. Чтобы за-

мать разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно.

– Хулиган! – рассердился Иоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику.

Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что подошёл дежурный по лагерю и Владика с позором выставили из-за стола. Обозлённый Владик показал Иоське кулак и тотчас же ушёл прочь.

Сразу же после обеда Натка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых – готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра.

Во время перерыва, Алёша Николаев спросил:

– Что это, Шегалова, ребята сегодня всё время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

– Сказку, Алёша, рассказывала. Хорошая сказка.

– Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

– Рассказала уже, – рассмеявшись, ответила Натка. – Ну, говорят шёл, ну, увидел, что у рельсы гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «За-

ковали Мальчиша в тяжёлые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

– Чёрт тебя знает, что ты городишь, Натка! – перебил её Алёша. – Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

– Мальчиша заковали! – настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: – А про крушение я ещё раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? – И, неожиданно улыбнувшись, она повторила: – «Плывут пароходы – привет Мальчишу! Бегут паровозы – привет Мальчишу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли?

А пройдут, Алёша, пионеры – салют Мальчишу! Эх, ты... гайка! – рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алёшу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

После совещания Натка вспомнила, что ещё не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и свёрток глянцевой бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела что это колючая проволока.

– Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной! – раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоногий Гейка.

Увидев нагружённую поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

– Сторож в баню пошёл, а ребятишки в сад лазят. Груши ещё вовсе зелёные, твёрдые – кабан не раскусит. Всё равно лезут. Вечор двоих ваших поймал. «Стыдно, – говорю. – Вас голоштаных, и пирожными кормят и мороженым. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что». По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу – скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зелёные груши, дал по спелому яблоку. Всё одно стоят и молчат. «Ладно, – говорю им, – бегите. Эх вы... босоногая диктатура!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, всё ещё продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

– Папка, – предложил Алька, – знаешь, давай споём нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поём да не поём.

– Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

– А ты бы без крику, – посоветовал Алька. – Ну, давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались всё крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно: теперь, когда на пустой полянке смешной октябрёнок Алька, подёргивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что всё хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвётся с постелей весь её неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ёрзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает», — прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдёргивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка, — заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька, — отчего это, когда мы поём «Заводы, вставайте» и «шеренги смыкайте», то всё хорошо и хорошо. А вот как допоём до «товарищей в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей. — Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звёзды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька. — Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют почему-то такому, чего удивлённая Натка так и не смогла увидеть. Натка подвинулась. Из-под её ног с шумом покатались камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

– Это и есть она самая! – закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.

– Наташа? – догадался Сергей.

– Я и есть самая, – подтвердила Натка.

– Ну, что Алька?

– Бегает, балуется. Такой... – Натка запнулась, – такой малыш. Не дёргай, Алька, за ленты. Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы ещё с нею не поссорились?

– Нет, не поссорились, – ответил Алька. – Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берёт, а я не даю. Он говорит: дай! А я – не дам. Он меня – раз. А я его – раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

– Эмине – это маленькая девчонка такая, весёлая... башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр... Да быстро так, а сама всё скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда её за пятки схватишь: орёт на всю палату.

Издалека загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

– Алька ко мне? Или вы его с собой возьмёте?

– Нет, не с собою, – ответил, поднимаясь, Сергей. – Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

– Обязательно послезавтра, – приказал Алька. – Вечером будет костёр, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придёшь, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошёл к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого влажного камня. Потом он свистнул, одёрнул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владику, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволочки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каёмку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерьной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом, через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот ещё напасть!» – подумал огорчённый Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесёнку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябрёнка Карасикова, которые

копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос, в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябрёнку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щётку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжёлый чурбан.

Такая смелая просьба Владiku понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владiku в глаза.

— Ты хороший человек, — внезапно придумал Владик. — Жалко, что ты мал ещё, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну.

— И я бы тоже залез, — обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет, — охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик. — Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры, тревога!.. тревога!... Вставайте, товарищи!... Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Лётчики — к

самолётам. Кавалеристы – к коням. Пехотинцы – в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

– Я бы тоже побежал! – уныло завопил оскорблённый Карасиков. – Раз все бегут – значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

– А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мёртвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щётку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!...

Не успел отщёлканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

– Ничего! – успокоил Алька. – Он тебе только два раза. А про всё другое – это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

– И я бы тоже не шелохнулся, – не уступал Карасиков.

– Нет, ты бы шелохнулся! – рассердился Алька. – Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

– И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползли, – обидчиво возразил Карасиков.

– А разве же у часовых сползают? – снисходительно усмехнулся Алька. – Эх ты, хвастунишка!

Из-за кустов выскочил Иоська.

– Где вы запропалились? – размахивая руками, затораторил он. – Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы!... Ворошиловцы!...

Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря – ворошиловцы.

В длинных чёрных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

– Мишка, здорово!

Но тот только повёл глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но всё это потом, а сейчас он пионер, матрос-ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шёлковые флажки, неумело, но задорно кричала:

– Привет старой гвардий от юнай смена!

На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а пряткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было ещё успеть выкрасить.

– Так, значит, завтра? – уговаривался Толька с Владиком.

– Сказано, завтра.

– И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда – он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

– А если там кто-нибудь уже есть?

– Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

– Я-то свистну! – усмехнулся Владик, и, щёлкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем. Наступил вечер праздника.

При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

– Ты не видала папу? – уже в третий раз спрашивал огорчённый Алька у Натки.

– Нет, Алька, ещё не видала. А ну, ребята, одёрнуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?

Пока ребята одёргивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку:

– Ты не печалься. Раз он сказал, что придёт, – значит, придёт. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанный звеньевой Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

– Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается, – хмуро оправдывался Баранкин.

– Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? – возмущался Иоська. – И тут пятно и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

– Раньше я пошёл галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу – опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду.

– Значит, у беседки, – ещё раз шёпотом напомнил Толька. – Спички взял?

– Взял... Помалкивай, – тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся:

– Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

– А тебе что? – испуганно прошипел Владик. – Какие спички?

– Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься! А то не посмотрю, что товарищ, и скажу вожатой.

– Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дёрнулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета – всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Всё это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрёт никогда, двинулись вниз.

Внизу, недалеко от моря, с трёх сторон окаймлённая крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зелёных лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костёр, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплывала на моторке ялтинская делегация. Подошли лётчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на сёдлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузииков.

– Ну что?... Здорово? – не останавливаясь, спросил он. – Приходи завтра на волейбол. – И уже издалека он крикнул: – Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? – с неудовольствием подумала Натка. – И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. Успею!» – подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущённых лётчиков.

Раскрасневшиеся лётчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и весёлый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припёртыми к стенке беседки. Тут их расхватили, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею ещё и сейчас, – подумала она. – Добежать долго ли?»

Она одёрнула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И всё-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьёзное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьёй. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит весёлый, а пятилетний братишка Ванька ещё веселей и уже разбил Наткину дарёную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и

веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там ещё кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая сторона и какой народ?

Поняла она только одно: что мать просит её приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, весёлой музыки, потом многоголосая знакомая песня рванулись через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

– Ты что пропала? Я тебя искал, – сердито спросил откуда-то выползший Алька. – Идём скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

– Туда нельзя, – остановил её озабоченный Алёша Николаев. – Это места для шефов. И чего только опаздывают!

– Ну, что шефы! Придут – мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алёша.

– Пусти одного, потом другой, потом третий... – ворчливо начал было Алёша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел лётчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул

огонёк, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что лётчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашёл такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть лётчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далёкому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки – танцовки и физкультурницы, и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал лёгкий говорок, потом громче, громче, и наконец зашумело, загудело:

– Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошёл своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? – растерялась Натка. – Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?» Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал её сразу и засмеялся-закаркал так громко, что удивлённый Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

– Кто это у тебя? – шутливо спросил Гитаевич. – Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

– Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован, – пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся. Он протёр очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка.

– Я побегу... мне пора... Я сюда вернусь, – заторопился Алька и с обидой добавил: – Эх, папка, папка, так и не пришёл.

– Серёжи Ганина? – глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

– Да, Ганина. А вы его разве знаете?

– Я-то его знаю, – ответил Гитаевич, – очень давно. Ещё по армии знаю.

– Значит, вы их всех хорошо знаете? – помолчав не-

много, спросила Натка. – А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними – девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Будённого». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колёсных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню будёновского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

– Жулики! – обиженно объяснял кому-то сидевший неподалёку Карасиков. – Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечёвках тянут. Я уже всё узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Запевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на её вопросы:

– У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита...

– Марица Маргулис! – почти вскрикнула поражённая Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» – счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревёт во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

– Танком её по носу задело, – сердито объяснял Натке звеньевой Василиук. – Я ей говорю: не суйся. Так нет, растяпа, не послушалась. Иоськина башня повернулась – и бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звёзд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстрый летящий огонёк – должно быть, пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжёлая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул её за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

– Алька где? Я спрашивал, мне сказали, что он с вами, Наташа.

– Он со мной, – обрадовалась Натка. – Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдёмте... Он вас ждал, ждал...

– Опоздал я, Наташа, – виновато ответил Сергей. – Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и всё смолкло.

– Стойте! – шепнула Натка. – Сейчас зажгут костёр.

В тёмной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал ещё раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожжённого костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжёлые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела ещё Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашевский привёл исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеёнчатом диване, с лицом, заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежурная:

— Говорит, что когда заканчивался костёр и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой... А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся.

Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь. Тольку повезли в свой же лагерный лазарет, а Натка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику: строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи.

Перед тем как идти, Натка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он ещё не спал.

— Владик, — спросила Натка, — расскажи, пожалуйста, где... как это всё случилось?

Владик не отвечал.

— Дашевский, — строго повторила Натка, — ты не ври. Я

же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря.

С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре Толька.

— Чёрт вас ночью по оврагам носит, — не сдержавшись, выругалась Натка и в потёмках устало побрела к начальнику.

... А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего. Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошёл по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошёл на второй. Там ещё не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем ещё не начинали.

Он спросил: «Где Дягилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошёл к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, ещё издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика татарина, который и был ему нужен.

В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошёл рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо. — Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив ещё не кончили, крепить не начали. Хорошего мало!

— Грунт тяжёлый, — ещё глубже вздохнул Шалимов, — камень, щебёнка. Человек работает, работает, ничего не зарабатывает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не

вышли. Сегодня опять некоторые говорят: если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? – И Шалимов огорчённо развёл руками.

– Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно что-то, Шалимов.

– Ты человек новый, к тебе ещё не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

– Ладно, – решил Сергей. – К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше, – быстро и наугад соврал Сергей, – а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

– Где, начальник? – забеспокоился Шалимов. – На водосливе или у насыпи?

– Не спросил. Некогда было. Ты там старший – тебе на месте видней. До свиданья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно», – подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошёл до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжёлое, ещё сырое бревно.

– Дягилев где? – спросил Сергей у встретившегося парня.

– А вон он! – И парень показал топорищем куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

– Да вон он! – повторил парень. – Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

– С каким братом?

– Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! – подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился. – То-то Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошёл прочь.

– Так смотрите же! – строго крикнул ему вдогонку Дягилев. – Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш, – объяснил он Сергею. – Он у них за старшего. Работник хороший! – И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: – Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

– Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчёт расценок? – спросил Сергей.

– Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?

– На что жаловались?

– Известно, на что: грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им ещё говорить?

– А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

– Чудно дело, – удивился Сергей. – Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

– Значит, такой уж у них характер вредный, – не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: – На втором пролёте, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят.

Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел всё того же старика татарина.

«Что такое?» – удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему.

Старик поздоровался и тихо пошёл рядом.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Сергей. – И куда ты всё прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?... Обманули?... Обидели?...

– Обманули, – равнодушно согласился старик, – и обсчитали – верно. И обидели... верно!

– Ты и сейчас работаешь?

– Нет, – так же равнодушно, точно и не о нём шла речь, продолжал старик. – В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал – плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие, – дёргая Сергея за рукав, продолжал старик. – Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкие. Я

ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошёл к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу – ведомость – и деньги. Деньги он берёт, а бумагу с вашими расписками несёт мне обратно. Если всё верно, то и я говорю – верно. Вы с ним считайтесь, а я и языка вашего не понимаю, кто свою мне фамилию распишет, кто чужую... Аллах вас разберёт. Конечно, аллах, – с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: – До свиданья, начальник, спасибо!

– погоди! – окликнул Сергей. – Постой, куда же ты? Пойдём со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошёл к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына третьего дня родился ребёнок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошёл к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберётся, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой про-

пали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень изда- лека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка.

«Опаздываю, – понял Сергей. – Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

– Кто? – падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошёл дальше и шёл так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защёлкнул предохранитель, спрятал браунинг и ещё быстрее зашагал к Альке. Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Ещё задолго до линейки ребята уже развели про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу?

Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что всё равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но всё было бесполезно.

Раздражённая Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо.

Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы.

Молча и внимательней, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующий раз за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

– Неправда! – прозвучал по всей линейке негодующий голос. – Всё это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська. Ребята зашевелились и зашептались.

– Тишина! – громко окрикнула Натка. – Почему говоришь, что всё неправда?

– Всё неправда, – убеждённо повторил Иоська. – Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они ещё куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге с костра с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнёт оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

– Дашевский, – в упор спросила Натка, – это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевелившись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

– Дашевский, – сердито сказала тогда Натка, – сегодня же на вечернем докладе обо всём этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдёшь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату.

Через минуту отряд с песней шёл вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошёл совсем.

Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята за-

нимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спалённой солнцем акации, сидел невесёлый Владик. Всё вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чём не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владик посмотрел на мяч и не пошевелился.

Он не пошевелился и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха: все бегали, разыскивая потерянный мяч, и громче других раздавался недоумевающий голос Иоськи: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик и нехотя повернулся, услышав чьи-то шаги.

Подошёл и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то сырое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскрёб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владику, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошёл, поднял и укоризненно сказал:

– Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

– Видал? – поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорблённый Владик. – Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

– Известно, – сплёвывая на траву, охотно согласился парень. – Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду, и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика ещё более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво:

– Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врёшь, нынче лакеев нету.

– Конечно, – всё так же охотно поддакнул парень. – Это такой народ... Ты им сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

– Какая порода? – удивился и не понял Владик.

– Как какая? Мальчишка-то прибежал – жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! – пронеслось в его голове. – Иоська всё-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но

он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперёд, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеною всё так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слышали.

Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна: из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.

– Это тебя толстый избил? – тихо спросил Алька. – А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

– Алька, – пробормотал испуганный Владик, – иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадина, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но когда всё вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего?

И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак...

– Алька, – быстро заговорил Владик, – ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегает к морю. Я за утёсом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет – никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошёл к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашёл в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку.

«Ничего, – думал он, – выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдётся. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! – злорадно вспомнил он серомордого парня. – Что получил? Тоже нашёл себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребёнка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для пар-

нишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдёт купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал ещё никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и улочкам.

– Знаешь, Алька, – грустно заговорил Владик, – когда я был ещё маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу. А сестра, Влада, уже большая была – семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас помню, услышал вдруг: «фю-фю».

Смотрю – птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она всё прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашёл. Потом вспорхнула – и на дерево. Гляжу – на дереве гнездо. Постоял я и пошёл назад. Иду, иду – нет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу – это лента от её платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо ещё, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал её про себя дурой, дрянью и ещё как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, два по затылку! Я стою – ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что, пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли её и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на неё кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

– Она и сейчас в тюрьме сидит? – спросил не пропустивший ни слова Алька.

– И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит – может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов – нет... не выпускают... А потом на

другой день пошёл я уже один в рощу и нагло гнездо разорил и в птицу камнем так свистнул, что насилу она увернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих. — Завтра меня из отряда выгонят, — объяснил он Альке. — Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал, — заглядывая Владиду в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, всё видел. Я играл, а сам всё видел.

— Так ты ещё малыш! — рассмеялся Владик. Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьёзно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадёт: зачем со мной связался? Да мне ещё хуже будет, зачем я тебя к морю утащил. Идём, Алька. Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама тоже в тюрьме была убита, — неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго прока-

нителлилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной.

С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути её окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотечарю, что он врёт и что картинка эта была вырезана ещё до того, как книжка побывала в её отряде. Библиотечарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябрёнку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламариона.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно всё убрали, и ей досталось только два помидора да холодное варёное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала её кастелянша со своими бумагами и подсчётами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спросила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам. — Вася! — крикнула она пробежавшему октябрёнку Бубякину. — Сбегай позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом узнай, нашёл Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрёпа, не нашёл.

— Он на меня вчера плюнул, — мрачно заявил Вася, — и я с ним больше не вожусь.

– Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке, – пригрозила Натка. И, обернувшись к кастелянше, она продолжала: – Полотенец у нас уже четырёх не хватает. Галстуки ещё вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут – может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что её тихонько трогает за рукав Алька.

– Ну, что тебе? – спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

– Знаешь что? – негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька. – А я тебя искал, искал... Знаешь... Он совсем не виноват. Я сам был и всё видел.

– Кто не виноват? – рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: – А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберётся. А у меня... откуда же?

– Он совсем не виноват, – ещё тише и взволнованней продолжал Алька. – Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он все письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а её не выпустили.

– Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! – машинально пригрозила Натка. – Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

– Он на меня фигу показал, – хмуро пожаловался Ва-

ся, – и я с ним больше никогда не вожусь. А платка у него всё равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем вы-сморкался.

– Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марфа Адольфовна.

– Он несколько не виноват, а ты на него думаешь, – уже со злобой и едва сдерживая слёзы, забормотал Алька. – Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

– Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? – резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она всё-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы – нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забежали, стали друг у друга спрашивать: где, как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!», то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошёл было пожало-

ваться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Всё это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышлёней и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припомнились ей какие-то непонятные Алькины слова: «... А я тебя искал, искал... Он всё письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» – с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез.

«Хорошо, – подумала Натка. – Хорошо, завтра тебе и это всё припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И когда, наконец, вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарём, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

– Не надо, – задыхаясь, сказал он, – не надо...

– Ты нашёл? – крикнула Натка. – Где он? Уже дома? В отряде?

– А то как же! – негромко ответил Владик. И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на неё с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему всё равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашёл Альку в двух километрах от лагеря, в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с её разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с её галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньём... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что её хочет видеть Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был тёплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была тёмная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и всё ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и

весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же всё-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойдённый мастер.

И ещё что заметила Натка – это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всём весёлую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Натка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек.

Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, кажется, забыл её дома. А Натка очень уверенно ответила, что кажется, он опять позабыл банку под кустом или у ручья. И всё же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати.

Озадаченная Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика.

А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли весёлые ручейки. Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час.

Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха сторожиха сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма.

Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимнастёрку, умылся, закурил и только тогда распечатал.

Он прочёл. Сел. Перечёл ещё раз и задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная. Смысл её был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошёл к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. Потом ещё издалека слышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое: давно уже помирившиеся октябрюта Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

– Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи её! – завопил Карасиков, с негодованием глядя на хладнокровно оставившегося товарища.

– Доганай! – гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжёлое яблоко. – У, глупый... На! – сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему своё яблоко: – На! – А сама уже издали звонко крикнула: – Ты Алькин?... Да? Кушай! – и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

– А ваш Алька вчера её, Эмку, водой облил, – торжественно събедничал Карасиков. – А Ваську Бубякина за ухо дёрнул.

– Что же вы его не поколотите? – любопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

– Его не надо колотить, – помолчав немного, объяснил он. – У него мать была хорошая.

– Откуда вы знаете, что хорошая?

– Знаем, – коротко ответил Карасиков. – Нам Натка рассказывала. – И, помолчав немного, он добавил: – А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся. Где-то неподалёку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребяташки кинулись туда.

Потом подошли Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечёвке маленький грузовичок, до краёв наполненный яблоками, грушами и сливами.

– Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим, – объяснил Алька. – Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдём.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву, — неохотно сообщил Сергей. — Так надо, — ответил он на удивлённый взгляд Натки. — Надо так, Наташа.

— Ганин! — набравшись решимости, спросила Натка. — А что, Алька когда-нибудь мать свою видел? То есть... видел, конечно, но он её хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатались по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофёр? Ты тормози плавно, а то шестерёнки сорвёшь да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то и её отпустят вместе с семьёй.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было, поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло всё детство. И было как-то беспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли: дядя... папаха,

дядина сабля за печкой... мать с хворостинкой... Давно ли пионеротряд... сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два – и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька всё ещё не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

– Ты что? Спи, малыш! – накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал.

– А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мама?» Он подумал и показал: «Вон в той». Я смотрел, смотрел, всё равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон в той». Чудно, правда, Натка?

– Что же чудно, Алька?

– И в той стороне... и в другой стороне... – протяжно сказал Алька. – Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Натка? – живо продолжал он. – Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

– А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи, – быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки:

– Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую,

которую пела ей мать ещё в очень глубоком, почти позабытом детстве:

*Плыл кораблик голубой,
А на нём и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звёздочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли...*

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его покрасневшему лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька. — А я всё-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где? — не сдержавшись, быстро спросила Натка. Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой:

— Нет, не скажу... это наша с папкой тоже — военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приёмки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссеиной дороги. Сергей завернул к тиру.

Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного – человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

– Тридцать пять, – откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик. – Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

– Тридцать выбью, – поколебавшись, решил Иоська.

– Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищей и взял винтовку. Пригатавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И всё-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошёл Дягилев.

– Дурная голова! – с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу. – Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернёмся – я тогда прежний порву.

– Сорок выбью, – уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку. – Меньше сорока не будет, – твёрдо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

– Сорок мне не выбить, – сознался Иоська. – У меня после третьего выстрела рука устаёт.

– А ты не целься по часу, – посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

– А ты не целься по часу, – повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дёрнул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

– Сорвал! Что ты? Что ты? – зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

– Ну, двойка! – разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошёл прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

– Не сердись, – успокоил он, задерживая его руку. – Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

– Нет, – сердито ответил Владик. – Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

– Я знаю, – сказал он останавливаясь, – это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

– Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

– И я тоже. – Владик облизал пересохшие губы. И, не

зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек. – Это кто к вам сейчас подходил?

– Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик? Владик запнулся.

– А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона – тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

– Постой, постой, да ты не кричи! – остановил Владика Сергей. – Кто меня убил? Какое ружьё? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

– Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

– Ну?

– Это мы с Толькой были. На башню, дураки, лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана...

– Я не по кустам, я в воздух.

– Всё равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он – под откос и расшибся.

– А ружьё? Ружьё где вы взяли?

– А ружьё вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Там мы лазили и нечаянно наткнулись.

– Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот? – настойчиво переспрашивал Сергей.

– Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку, – с досадой добавил Владик. – Я обернулся, гляжу – он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьём? Раз, раз – и сорвал.

– А ружьё где?

– Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом, – уже нехотя закончил Владик. – Если надо, так сходим, можно и найти.

– Владик, – торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева. – Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмём с собой Альку и пойдёмте вместе гулять. Там заодно всё посмотрим и поищем.

... В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о камни, грязная двустволка стояла в углу. Её нашли в ключках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чём не виноват.

Вошёл Дягилев. Ещё с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками.

Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку-рассыльного и сел напротив Сергея.

– Врёшь, что тебя обворовали, – прямо сказал Сергей. – Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил:

– А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли?

– Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть, – быстро ответил нерастерявшийся Дягилев. – Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?

Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова:

– Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь на-пророчил?

– Я ничего не говорил, – испуганно забормотал Шалимов. – Я ничего не видал, ничего не слышал и не знаю. Это бог всё знает.

– Святая истина, – мрачно согласился Дягилев. – Ну и что дальше?

– Документы у тебя свои или чужие? – спросил Сергей.

– Документ советский, за свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил, а я – то тут при чём?

В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.

– Владик, – спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева, – этот человек ружьё прятал?

Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону.

Почуяв недоброе, Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошёл к двери.

– Ты постой, вор! – вскрикнул побледневший Владик. – Здесь ещё я стою.

– А ты что за орёл-птица? – крикнул озадаченный Дягилев и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

– Отпустите лучше, Сергей Алексеевич, – сказал Дя-

гилев. – Стройка закончена. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я – в другую. Всем жрать надо.

– Всем надо, да не все воруют.

– Вам воровать не к чему. У вас и так всё своё.

– А у вас?

– А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

– Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй – окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжёлую табуретку.

– Был с кулаком, остался с кукишем, – огрызнулся Дягилев и безнадёжно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

– Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете, – как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дёрнул за рукав всё ещё то-то бормотавшего Шалимова. – Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю.

Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, ещё мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей неся отчаянный визг. И суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:

– Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивою по голому. И скажи, что за баловная нация!

...Где бы ни появлялся этот масенький темноглазый мальчуган – на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники – отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы, – всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнёт его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда всё видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

– Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли ещё что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого весёлого малыша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошёл день, прошёл другой, а телеграммы всё не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на тёплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали.

– Папка, – трогая за плечо отца, спросил Алька. – Владик говорит, что у одного лётчика пробили пулями аэроплан. Тогда он прыгнул, летел, летел и всё-таки спустился прямо в руки к белым. Зачем же он тогда прыгал?

– Должно быть, он не знал, что попадёт к белым, Алька.

– А если бы знал?

– Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьётся.

– Не отбил, – с сожалением вздохнул Алька. – Владик говорит, что на том месте, где лётчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

– Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война такая была – без парашютов.

– А у нас какая будет?

– А у вас, может быть, уж никакой войны не будет.

– А если?

– Ну, тогда вырастешь – сам увидишь. Ты почему про лётчика вспомнил, Алька?

– По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

– Пойдём, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на полянке папиросы.

– Принеси, Алька, – попросил он, – я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чашу.

– Ау! Где вы? – донёлся издалека голос Натки.

– Эге-гей! Здесь! – громко откликнулся Сергей. – Сюда, Наташа?

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

– Зачем брата посадил? – глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами. – Хитрый! – протяжно добавил он и погрозил пальцем.

– Иди проспись, – посоветовал Сергей. – Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил.

– И все-то вы хи-итрые! – так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

– Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!

– Брат твой кулак и вор – туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи, – резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

– Брат – вор, а я и вовсе бандит! – дико выкрикнул пьяный, и, схватив с земли тяжёлый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

– Брось, оставь! – крикнул, отклонившись, Сергей.

Но ослеплённый злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он

услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул...

– Стой!... Назад!... Назад, Алька! – в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному. Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжёлые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мёртвой Марицы. А ещё рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш – Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

– Алька, – почти шёпотом попросил Сергей, – ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки и, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошёл в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая весёлая, черноволосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

– Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

– А он, кажется, уже не спит, – как-то по чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что поражённая Натка отступила назад, подошла снова и, загля-

нув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далёкую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу.

И светлым, солнечным утром, когда ещё вовсю распевали птицы, когда ещё не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришёл провожать Альку.

Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чём-то крепко клялись, но всё это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова – шахтёр.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причёсанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастёрке привинчен военный орден.

Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили грудку тяжёлых камней, проббили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашёл к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошёл к письменному столу, чтобы собрать бумаги, то он не нашёл там Алькиной фотографии. Он потёр виски, припоминая, не брал ли он её с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечётко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого – на себя, на других ли – сердиться.

Он пошёл к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла всё ещё нетронутой, как будто он бежал где-либо неподалёку, но его любимой картинки с краснозвёздным всадником уже не было.

– Завтра я уезжаю, Наташа, – сказал Сергей. – Меня вызвали.

– И я тоже. Мы вместе поедём. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

– Да, теперь вода холодная, – машинально повторил Сергей. – Ты у меня не была сегодня, Наташа?

– Нет, не была. А что... Серёжа?

– Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул – не помню. Искал, искал – нету. В Москве у меня ещё есть, – словно оправдываясь, добавил он. – А здесь больше нету.

В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Натку, чтобы за что-то её выругать. Но, увидев Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова.

Они решили ехать завтра рано утром – машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумный и отчаянный свой четвёртый отряд. Ещё не везде смолкли печальные разговоры, ещё не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись на брёвнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрюта. Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами.

Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку.

Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину.

– Зачем это? – с укором спросила Натка. – Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

– Вот скажи, что убьёшь, и всё равно не отдам, – стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

– Владик, – ласково заговорила Натка, положив ему

руку на плечо, – а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится.

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слёзы покатались по щекам.

– Да, Натка, – беспомощным, горячим полушёпотом заговорил он, – у отца, наверно, ещё есть. Он, наверно, ещё достанет. А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, всё ещё собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды.

... Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

– Возьми... Это ему и тебе, – отрывисто сказал Владик. – Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке. Мы попросили садовника. Мы сказали кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им всё равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

– До свиданья, до свиданья!

Машина рывкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зелёному лагерю:

– До свиданья, до свиданья!

Машина рывкнула, плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору.

Здесь, как будто бы нарочно, шофёр сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь в двадцатом был убит и похоронен их сосед, один весёлый сапожник, который, перед тем как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал с тем, чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всём этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку – Всемиру – никто никогда таким чудным именем не звал и не зовёт, а зовут её просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у неё недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

– А всё-таки где же Алька видел Марицу? – неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

– Он видел её полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Её ранили, но она всё-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у неё спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей». – «Почему же ты смеёшься? Разве тебе не больно?» – «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насупился, присел поближе и потрогал её косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьём тоже».

– А почему Алька говорил, что это тайна?

– Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали – пусть ищет. И никому не говорили.

– А потом?

– А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и всё, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, гружённые свежим пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчёты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжёлых военных тучах, о раскатах оружейных взрывов, которые слышались всё яснее и яснее у одной из далёких-далёких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бу-

шевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъёмники и экскаваторы. И росли, росли озарённые прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса – целые города, ещё сырые, серые, пахнувшие дымом, известью и цементом.

– Серёжа, – сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку, – ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил её по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивлённый Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

– Постой! Как это? – трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов. – Серёжка Ганин! – воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся. – А я смотрю... Кто? Кто это?... Ты откуда?... Куда?...

– Мы вместе приехали. А ты его знаешь? – обрадовалась Натка. – Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедem.

– Поедем, поедem, – согласился Шегалов. – Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

– Слов нету, – ответил Сергей. – А к вечеру, Шегалов, я всё припомню.

– А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

– Дядя, – перебила сразу насторожившаяся Натка, – идём, дядя. Где машина?

Натка сидела посередине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

– Ну как ты? Конечно, жена есть, дети?

– Дядя, – дёргая его за рукав, перебила Натка, – ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

– Как это? – удивился Шегалов. – Твои ноги вон где, а мои шпоры – вон они.

– Не сейчас, – смутилась Натка, – это ещё когда мы в машину садились.

– Так неужели не женат? – продолжал Шегалов и рассмеялся. – А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девочка темноглазая, чернокошая...

– Дядя! – почти испуганно вскрикнула Натка. – Это была... – Она запнулась. – Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

– И что ты, шальная, не даёшь с человеком слова сказать? – возмутился Шегалов. – То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина, – с досадой ответил он. – Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером, – обернулся он к Сергею. – А то я на днях и сам в командировку еду. Дела, брат! – уже тише добавил он. – Серьёзные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернётся только поздно ночью! Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше.

Это очень опечалило Натку. До четырёх часов Натка

ждала звонка, но потом у неё заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные.

«Скорей надо за дело, – опуская газету, подумала Натка. – Домой ли, в Таджикистан ли... всё равно. Всюду работа, нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились, – подумала Натка. – А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут ещё, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и ещё тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать, – думала Натка. – Надо их беречь. Чтобы они учились ещё лучше, чтобы они любили свою страну ещё больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа, – писал Сергей. – Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за всё».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось ещё раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У неё оставалось ещё полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются. И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно угрюмый, и ждёт, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далёкий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидела Сергея.

Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи – тоже.

Но что поразило Натку – это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьёзно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

– Серёжа! – негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то

своим товарищам и, крепко обрадованный, пошёл ей навстречу.

– Ну вот, – сказал он, сжимая её руку и почему-то виновато улыбаясь. – Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно всё вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошёл к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и тёплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвёртывались, и, глядя на него, она только успела совсем по Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он её понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг неё звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжёлые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Лётчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своём месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулочек только потому, что туда прошёл с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидела, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжёлый удар и, завернув за угол, увидела покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжёлое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем ещё новый, удивительно светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали весёлую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробежал мимо неё мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

ДЫМ В ЛЕСУ

Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса.

На нашем дворе, в шестнадцатой квартире, жила девочка, звали ее Феня.

Раньше ее отец был кочегаром, но потом тут же на курсах при заводе он выучился и стал летчиком.

Однажды, когда Феня стояла во дворе и, задрав голову, смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету.

Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и смотрел на запад, где за рекой Кальвой, как говорят, на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес.

То ли солнечный свет был слишком ярок, то ли пожар уже стих, но огня я не увидел, а разглядел только слабое облачко белесоватого дыма, едкий запах которого доносился к нам в поселок и мешал сегодня ночью людям спать.

Услыхав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился сзади в спину мальчишки.

Он взвыл от страха. Выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь.

Я сказал Фене, чтобы она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету. Потому что если все люди будут подъедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало.

Но чтобы даром добро не пропадало, мы подманили серого кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался: должно быть, думал, что суют чурку или камень. Но когда раскусил, то весь затрясся, задержался и стал нас хватать за ноги, чтобы дали ему еще.

– Я бы попросила у мамы другую, – задумчиво сказала Феня, – только мама сегодня сердитая, и она, пожалуй, не даст.

– Должна дать, – решил я. – Пойдем к ней вместе. Я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжа-лится.

Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была шестнадцатая квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что было ей тогда года четыре, ну может быть, пять, а мне уже давно пошел двенадцатый.

Мы поднялись на самый верх и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик.

* * *

Дверь в квартиру была не заперта, и едва мы вошли, как Фенина мать бросилась к дочке навстречу. Лицо ее было заплакано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку.

– Горе ты мое горькое! – воскликнула она, подхватывая Феню на руки. – И где ты так измызгалась, извазякалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое создание! Ой, у меня и без тебя беды немало!

Все это она говорила быстро-быстро. А сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук, тут же смахивала со своих щек слезы. И видать, что куда-то очень торопилась.

– Мальчик, – попросила она, – ты человек хороший. Ты мою дочку любишь. Я через окно все видела. Останься с

Феней на час в квартире. Мне очень некогда. А я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю.

Она положила мне руку на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво.

Я был занят, мне пора было идти к сапожнику за мамиными ботинками, но я не смог отказаться и согласился, потому что, когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми тревожными словами, то, значит, пустяк этот совсем не пустяк. И, значит, беда ходит где-то совсем рядом.

— Хорошо, мама! — вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня. — Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно.

— Возьмите сами, — ответила мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.

— Ой, да она от комода все ключи оставила. Вот чудо! — подтаскивая со стола связку, воскликнула Феня.

— Что же тут чудесного? — удивился я. — Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники.

— Мы не разбойники, — согласилась Феня. — Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот, например, недавно разлилось варенье и потекло на пол.

Мы достали по конфете да по прянику. А кутенку Брутику кинули сухую баранку и намазали нос медом.

* * *

Мы подошли к распахнутому окошку.

Гей! Не дом, а гора. Как с крутого утеса, отсюда видны были и зеленые поляны, и длинный пруд, и кривой овраг, за

которым один рабочий убил зимой волка. А кругом – леса, леса.

– Стой, не лезь вперед, Фенька! – вскрикнул я, стаскивая ее с подоконника. И, закрывшись ладонью от солнца, я глянул в окно.

Что такое? Это окно выходило совсем не туда, где речка Кальва и далекие в дыму торфяные болота. Однако не больше как в трех километрах из чащи поднималась густая туча крутого темно-серого дыма.

Как и когда успел туда пожар перекинуться, это было мне совсем не понятно.

Я обернулся. Лежа на полу, Брутик жадно грыз брошенный Феней пряник. А сама Феня стояла в углу и смотрела на меня злыми глазами.

– Ты дурак, – сказала она. – Тебя мама оставила со мной играть, а ты зовешь меня Фенькой и от окна толкаешься. Возьми тогда и уходи совсем из нашего дома.

– Фенечка, – позвал я, – беги сюда, смотри, что внизу делается.

* * *

Внизу же делалось вот что.

Промчались галопом по улице два всадника.

С лопатами за плечами мимо памятника Кирову, по круглой Первомайской площади, торопливо прошагал отряд человек в сорок.

Распахнулись главные ворота завода, и оттуда выкатились пять грузовиков, набитых людьми до отказа, и, с воим обгоняя пеший отряд, грузовики исчезли за поворотом у школы.

Внизу, по улицам, стайками шныряли мальчишки. Они, конечно, все уже разнюхали, разузнали. Я же должен был сидеть и караулить девчонку. Обидно!

Но когда, наконец, завыла пожарная сирена, я не вытерпел.

– Фенечка, – попросил я, – ты посиди здесь одна, а я ненадолго во двор сбегаю.

– Нет, – отказалась Феня, – теперь я боюсь. Ты слышишь, как оно воет?

– Экое дело, воет! Так ведь это труба, а не волк воет! Съест она тебя, что ли? Ну, хорошо, ты не хнычь. Давай с тобой вместе во двор спустимся. Мы там постоим минутку и назад.

– А дверь? – хитро спросила Феня. – Мама от двери ключа не оставила. Мы хлопнем, замок захлопнется, и тогда как? Нет, Володька, ты уж лучше сядь тут и сиди.

Но мне не сиделось. Поминутно бросался я к окну и громко досадовал на Феню.

– Ну, почему я должен тебя караулить? Что ты, корова или лошадь? Или ты не можешь маму одна дожидаться? Вон другие девчонки всегда сидят и дожидаются. Возьмут какую-нибудь тряпку, лоскутик... куклу сделают: «Ай, ай! Бай, бай!» Ну, не хочешь тряпку, – сидела бы слона рисовала, с хвостом, с рогами.

– Не могу, – упрямо ответила Феня. – Если я одна останусь, то могу открыть кран, а закрыть позабуду. Или могу разлить на стол всю чернильницу. Вот один раз упала с плиты кастрюля. А другой раз застрял в замке гвоздик. Мама пришла, ключ толкала, толкала, а дверь не отпирается. Потом позвали дядьку, и он замок выломал. Нет, – вздохнула Феня, – одной оставаться очень трудно.

– Несчастливая! – завопил я. – Но кто же это тебя заставляет открывать кран, опрокидывать чернила, спихивать кастрюли и заталкивать в замок гвозди? Я бы на месте твоей мамы взял веревку да вздул тебя хорошенько.

– Дуть нельзя! – убежденно ответила Феня и с веселым криком бросилась в переднюю, потому что вошла ее мать.

* * *

Быстро и внимательно посмотрела она на свою дочку. Оглядела кухню, комнату и, усталая, опустилась на диван.

– Пойди вымой лицо и руки, – приказала она Фене. – Сейчас за нами придет машина, и мы поедем на аэродром к папе.

Феня взвизгнула. Наступила на лапу Брутику, сдернула с крючка полотенце и, волоча его по полу, убежала на кухню.

Меня бросило в жар. Я еще ни разу не был на аэродроме, который находился километрах в пятнадцати от нашего завода.

Даже в День авиации, когда всех школьников повезли туда на грузовиках, я не поехал, потому что перед этим я выпил четыре кружки холодного квасу, простудился, чуть не оглох и, обложенный грелками, целых три дня лежал в постели.

Я проглотил слюну и осторожно спросил у Фениной матери:

– И долго вы там с Феней на аэродроме будете?

– Нет! Мы только туда и сейчас же обратно.

Пот выступил на моем лбу и, вспомнив обещание сделать для меня добро, набравшись смелости, я попросил!

– Знаете что! Возьмите и меня с собой.

Фенина мама ничего не ответила, и казалось, что вопроса моего не слыхала. Она подвинула к себе зеркальце, провела напудренной ватой по своему бледному лицу, что-то прошептала, потом поглядела на меня.

Должно быть, вид мой был очень смешон и печален, потому что, слабо улыбнувшись, она одернула съехавший мне на живот пояс и сказала:

– Хорошо. Я знаю, что ты любишь мою дочку. И если тебя дома отпустят, то тогда поезжай.

– Он меня вовсе не любит, – вытирая лицо, сурово ответила из-под полотенца Феня. – Он обозвал меня коровой и сказал, чтобы меня дули.

– Но ты же меня, Фенечка, первая обругала, – испугался я. – И потом это я просто пошутил. Я же за тебя всегда заступаюсь.

– Это верно, – с азартом растирая полотенцем щеки, подтвердила Феня. Он за меня всегда заступается. А Витька Крюков только один раз. А есть такие, сами хулиганы, что ни одного раза.

* * *

Я помчался домой, но во дворе наткнулся на Витьку Крюкова. И тот, не переводя духа, выпалил мне разом, что через границу к нам пробрались три белогвардейца. И это они подожгли лес, чтобы сгорел наш большой завод.

Тревога! Я ворвался в квартиру, но тут было все тихо и спокойно.

За столом, склонившись над листом бумаги, сидела моя мама и маленьким кронциркулем наносила на чертеж какие-то кружки.

– Мама! – взволнованно окликнул я. – Ты дома?

– Осторожней, – ответила мать, – не трясى стол.

– Мама, что же ты сидишь? Ты уже про белогвардейцев слышала?

Мать взяла линейку и провела по бумаге длинную тонкую черточку.

– Мне, Володька, некогда. Их и без меня поймают. Ты бы сходил к сапожнику за моими ботинками.

– Мама, – взмолился я, – до того ли теперь дело? Можно, я поеду с Феней и ее матерью на аэродром? Мы только туда и сейчас же обратно.

– Нет, – ответила мать. – Это ни к чему.

– Мама, – настойчиво продолжал я, – помнишь, как вы с папой хотели взять меня на машине в Иркутск? Я уже собрался, но пришел еще какой-то ваш товарищ. Места не хватило, и ты тихонько попросила (тут мать оторвалась от чертежа и на меня посмотрела), ты меня попросила, чтобы я не сердился и остался. И я тогда не сердился, замолчал и остался. Ты это помнишь?

– Да, теперь помню.

– Можно, я с Феней поеду на машине?

– Можно, – ответила мать и огорченно добавила: – Варвар ты, а не человек, Володька! У меня и так времени в обрез до зачета, а теперь я сама должна идти за ботинками.

– Мама, – счастливо бормотал я. – А ты не жалея... Ты надень свои новые туфли и красное платье. погоди, я вырасту – подарю тебе шелковую шаль, и совсем ты у нас будешь как грузинка.

– Ладно, ладно, проваливай, – улыбнулась мать. – Заверни себе на кухне две котлеты и булку. Ключ захвати, а то вернешься – меня дома не будет.

Быстро собрался я. В левый карман затолкал сверток, а в правый сунул оловянный, но похожий на настоящий, браунинг и выскочил во двор, куда как раз уже въезжала легковая машина.

Скоро прибежала Феня, а за ней Брутик.

Мы важно сидели на мягких кожаных подушках, а маленькие ребятишки толпились вокруг машины и нам завидовали.

— Знаешь что, — покосившись на шофера, прошептала Феня, — давай возьмем с собой Брутика. Посмотри, как он прыгает и вихляется.

— А твоя мама?

— Ничего. Она сначала не заметит, а потом мы скажем, что сами не заметили. Иди сюда, Брутик. Да иди ты, дурачок лохматый!

Схватив кутенка за шиворот, она втащила его в кабину, затолкала в угол, закрыла платком. И такая хитрющая девчонка: заметив подходившую мать, стала пристально разглядывать электрический фонарик на потолке кабинки.

Машина выкатилась за ворота, повернула и помчалась по шумной и встревоженной улице. Дул сильный ветер, и запах дыма уже заметно щипал ноздри.

На ухабистой дороге машину подбрасывало. Кутенок Брутик, высунув голову из-под платка, недоуменно прислушивался к тарахтению мотора.

По небу метались встревоженные галки. Пастухи громким щелканьем бичей сердито сгоняли обеспокоенное и мычащее стадо.

Возле одной сосны стояла лошадь со спутанными ногами и, насторожив уши, нюхала воздух.

Промчался мимо нас мотоциклист. И так быстро летела его машина, что только успели мы обернуться к заднему окошечку, как он уже показался нам маленьким–маленьким, как шмель или даже как простая муха.

Мы подъехали к опушке высокого леса, и тут красноармеец с винтовкой загородил нам дорогу.

– Дальше нельзя, – предупредил он, – поворачивайте обратно.

– Можно, – ответил шофер, – это жена летчика Федосеева.

– Хорошо! – сказал тогда красноармеец. – Вы подождите.

Он вынул свисток и, вызывая начальника, дважды свистнул.

Пока мы ожидали, к красноармейцу подошли еще двое.

Они держали на привязи огромных собак.

Это были ищейки из отряда охраны – овчарки Ветер и Лютта.

Я поднял Брутика и сунул его в окошко. Увидав таких страшил, он робко вильнул хвостиком. Но Ветер и Лютта не обратили на него никакого внимания. Подошел человек без винтовки, с наганом. Узнав, что это едет жена летчика Федосеева, он приложил руку к козырьку и, пропуская нас, махнул рукой часовому.

– Мама, – спросила Феня, – отчего если едешь просто, то тогда нельзя. А если скажешь: жена летчика Федосеева, то тогда можно? Хорошо быть женой Федосеева, правда?

– Молчи, глупая, – ответила мать. – Что ты городишь, и сама не знаешь.

Запахло сыростью.

Через просвет деревьев мелькнула вода. А вот оно раскинулось справа длинное и широкое озеро Куйчук.

И странная картина открылась перед нашими глазами: дул ветер, белыми барашками пенились волны дикого озера, а на далеком противоположном берегу ярким пламенем горел лес.

Даже сюда, за километр, через озеро, вместе с горячим воздухом доносился гул и треск.

Охватывая хвою смолистых сосен, пламя мгновенно взвивалось к небу и тотчас же падало к земле. Оно крутилось волчком понизу и длинными жаркими языками лизало воду озера. Иногда валилось дерево, и тогда от его удара поднимался столб черного дыма, на который налетал ветер и рвал в клочья.

— Там подожгли ночью, — хмуро объявил шофер. — Их бы давно изловили собаками, но огонь замел следы, и Лютте работать трудно.

— Кто зажег? — шепотом спросила Феня. — Разве это зажгли нарочно?

— Злые люди, — тихо ответил я. — Они хотели бы сжечь всю землю.

— И они сожгут?

— Еще что! А ты видела наших с винтовками? Наши их переловят быстро.

— Их переловят, — поддакнула Феня. — Только скорей бы. А то жить страшно. Правда, Володя?

— Это тебе страшно, а мне нисколько. У меня папа на войне был и то не боялся.

– Так ведь то – папа... И у меня тоже папа...

Машина вырвалась из лесу, и мы очутились на большой поляне, где раскинулся аэродром.

Фенина мать приказала нам вылезать и не отходить далеко, а сама пошла к дверям бревенчатого здания.

И когда она проходила, то все летчики, механики и все люди, что стояли у крыльца, разом притихли и молча с ней поздоровались.

Пока Феня бегала с Брутиком вокруг машины, я притерся к кучке людей и из их разговора понял вот что. Фенин отец, летчик Федосеев, на легкой машине вылетел вчера вечером обследовать район лесного пожара. Но вот прошли уже почти сутки, а он еще не возвращался.

Значит, с машиной случилась авария или у нее была вынужденная посадка. Но где? И счастье, если не в том краю, где горел лес, потому что за сутки огонь разметало почти на двадцать квадратных километров.

Тревога! Нашу границу перешли три вооруженных бандита! Их видел конюх совхоза «Искра». Но выстрелами вдогонку они убили его лошадь, ранили самого в ногу, и поэтому конюх добрался до окраины нашего поселка так поздно.

Разгневанный и взволнованный, размахивая своим оловянным браунингом, я шагал по полю и вдруг стукнулся лбом об орден на груди высокого человека, который шел к машине вместе с Фениной матерью.

Сильной рукой человек этот остановил меня. Посмотрел на меня пристально и вынул из моей руки оловянный браунинг.

Я смутился и покраснел.

Но человек не сказал ни одного насмешливого слова. Он взвесил на своей ладони мое оружие. Вытер его о рукав кожаного пальто и вежливо протянул мне обратно.

Позже я узнал, что это был комиссар эскадрильи. Он проводил нас до машины и еще раз повторил, что летчика Федосеева беспрестанно ищут с земли и с воздуха.

* * *

Мы покатались домой.

Уже вечерело. Почуввав, что дело неладно, опечаленная Феня тихонько сидела в уголке, с Брутиком больше не играла. И наконец, уткнувшись к матери в колени, она нечаянно задремала.

Теперь все чаще и чаще нам приходилось замедлять ход и пропускать встречных. Проносились грузовики, военные повозки. Прошла саперная рота. Промчался легковой красный автомобиль. Не наш, а чей-то чужой, должно быть, какого-нибудь приезжего начальника.

И только что дорога стала посвободней, только что наш шофер дал ходу, как вдруг что-то хлопнуло и машина остановилась.

Шофер слез, обошел машину, выругался, поднял с земли оброненный кем-то железный зуб от граблей и, вздохнув, заявил, что лопнула камера и ему придется менять колесо.

Чтобы шоферу легче было поднимать машину домкратом, Фенина мать, я, а за мной и Брутик вышли.

Пока шофер готовился к починке и доставал из-под сиденья разные инструменты, Фенина мать ходила по опушке, а мы с Брутиком забежали в лес и здесь, в чаще,

стали бегать и прятаться. Причем, когда он меня долго не находил, то от страха начинал выть ужасно.

Мы заигрались. Я запыхался, сел на пенек и забылся, как вдруг услышал далекий гудок. Я подскочил и, кликнув Брутика, помчался.

Однако через две-три минуты я остановился, сообразив, что это гудела никак не наша машина. У нашей звук был многоголосый, певучий, а эта рывкала грубо, как грузовик.

Тогда я повернул вправо и, как мне показалось, направился прямо к дороге. Издалека донесся сигнал. Это теперь гудела наша машина. Но откуда, я не понял.

Круто повернув еще правей, я побежал изо всех сил.

Путаясь в траве, маленький Брутик скакал за мной.

Если бы я не растерялся, я должен был бы стоять на месте или продвигаться потихоньку, выжидая новых и новых сигналов. Но меня охватил страх. С разбегу я врезался в болотце, кое-как выбрался на сухое место. Чу! Опять сигнал! Мне нужно было повернуть обратно. Но, опасаясь топкого болотца, я решил обойти его, завертелся, закрутился и, наконец, напрямик, через чащу, в ужасе понесся, куда глядели глаза.

* * *

Уже давно скрылось солнце. Огромная луна сверкала меж облаков. А дикий путь мой был опасен и труден. Теперь я шел не туда, куда мне было надо, а шагал там, где дорога была полегче.

Молча и терпеливо бежал за мной Брутик. Слезы давно были выплаканы, от криков и ауканья я охрип, лоб был мокр, фуражка пропала, а поперек щеки моей тянулась кровавая царапина.

Наконец, намученный, я остановился и опустился на сухую траву, что раскинулась по вершине отлогого песчаного бугра. Так лежал я неподвижно до тех пор, пока не почувствовал, что передохнувший Брутик с ожесточенным упорством тычется носом в мой живот и нетерпеливо царапает меня лапой. Это он учуял в моем кармане сверток и требовал еды. Я отломил ему кусок булки, дал полкотлеты. Нехотя остальное сжевал сам, потом разгреб в теплом песке ямку, нарвал немножко сухой травы, вынул свой оловянный браунинг, прижал к себе куленка и лег, решив ждать рассвета, не засыпая.

В черных провалах меж деревьями, под неровным, неверным светом луны, все мне чудились то зеленые глаза волка, то мохнатая морда медведя. И казалось мне, что, прильнув к толстым стволам сосен, повсюду затаились чужие и злобные люди. Проходила минута, другая – исчезали и таяли одни страхи, но неожиданно возникали другие.

И столько было этих страхов, что, отвертев себе шею, вконец ими утомленный, я лег на спину и стал смотреть только в небо. Хлопая посоловелыми глазами, чтобы не заснуть, я принялся считать звезды. Насчитал шестьдесят три, сбился, плюнул и стал следить за тем, как черная, похожая на бревно туча нагоняет другую и хочет ударить в ее широко открытую зубастую пасть. Но тут вмешалось третье, худое, длинное облако, и своей кривой лапой оно взяло да и закрыло луну.

Стало темно, а когда просветлело, то ни тучи-бревна, ни зубастой тучи уже не было, а по звездному небу плавно летел большой самолет.

Широко распахнутые окна его были ярко освещены, за столом, отодвинув вазу с цветами, сидела над своими чертежами моя мама и изредка поглядывала на часы, удивляясь тому, что меня нет так долго.

И тогда, испугавшись, как бы она не пролетела мимо моей лесной поляны, я выхватил свой оловянный браунинг и выстрелил. Дым окутал поляну, залез мне в нос и в рот. И эхо от выстрела, долетев до широких крыльев самолета, дважды звякнуло, как железная крыша под ударом тяжелого камня.

Я вскочил на ноги.

Уже светало.

Оловянный браунинг мой валялся на песке. Рядом с ним сидел Брутик и недовольно крутил носом, потому что переменившийся за ночь ветер пригнал струю угарного дыма. Я прислушался. Впереди, вправо, брякало железо. Значит, сон мой был не совсем сон. Значит впереди были люди, а следовательно, бояться мне было нечего.

В овраге, по дну которого бежал ручей, я налил. Вода была совсем теплая, почти горячая, пахла смолой и сажей. Очевидно, истоки ручья находились где-то в полосе огня.

За оврагом тотчас же начинался невысокий лиственный лес, из которого все живое при первом же запахе дыма убралось прочь. И только одни муравьи, как и всегда, тихо копошились возле своих рыхлых построек, да серые лягушки, которым все равно посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали у зеленого болотца.

Обогнув болото, я попал в чащу. И вдруг совсем неподалеку я услышал три резких удара железом о железо, как будто бы кто-то бил молотком по жестяному днищу ведерка.

Осторожно двинулся я вперед, и мимо деревьев со срезанными верхушками, мимо свежих ветвей, листвы и сучьев, которыми густо была усыпана земля, я вышел к крохотной полянке.

И здесь, как-то боком, задрав нос и закинув крыло на ствол погнувшейся осины, торчал самолет. Внизу, под самолетом, сидел человек. Гаечным ключом он равномерно колотил по металлическому кожуху мотора.

И этот человек был Фении отец – летчик Федосеев.

* * *

Ломая ветви, я продрался к нему поближе и окликнул его. Он отбросил гаечный ключ. Повернулся в мою сторону всем туловищем (встать он, очевидно, не мог) и, внимательно оглядев меня, удивленно сказал:

– Гей, чудное виденье, с каких небес по мою душу?

– Это вы? – не зная, как начать, сказал я.

– Да, это я. А это... – он ткнул пальцем на опрокинутый самолет. – Это лошадь моя. Дай спички. Народ близко?

– Спичек у меня нет, Василий Семенович, а народу тоже нет никакого.

– Как нет?! – И лицо его болезненно перекосилось, потому что он тронул с места укутанную тряпкой ногу. – А где же народ, люди?

– Людей нет, Василий Семенович. Я один, да вот... моя собака.

– Один? Гм... Собака?.. Ну, у тебя и собака!.. Так что же. скажи на милость, ты здесь один делаешь? Грибы жареные собираешь, золу, уголья?

– Я ничего не делаю, Василий Семенович. Я встал, слышу: брякает. Я и сам думал, что тут люди.

– Та-ак, люди. А я, значит, уже не «люди»? Отчего это у тебя вся щека в крови? Возьми банку, смажь йодом да кати-ка ты, милый, во весь дух к аэродрому. Скажи там поласковой, чтобы скорей за мной послали. Они меня ищут бог знает где, а я-то совсем рядом. Чу, слышишь? – И он потянул ноздрями, принюхиваясь к сладковато-угарному порыву ветра.

– Это я слышу, Василий Семенович, только я никуда дороги не знаю. Я, видите, и сам заблудился.

– Фью, фью, – присвистнул летчик Федосеев. – Ну тогда, как я вижу, дела у нас с тобой плохи, товарищ. Ты в бога веруешь?

– Что вы, что вы! – удивился я. – Да вы меня, Василий Семенович, наверное, не узнали? Я же в вашем дворе живу, в сто двадцать четвертой квартире.

– Ну, вот! Ты нет, и я нет. Значит, на чудеса нам надеяться нечего. Залезь-ка ты на дерево, и что оттуда увидишь, про то мне расскажешь.

Через пять минут я уже был на самой вершине. Но с трех сторон я видел только лес, а с четвертой, километрах в пяти от нас, из лесу поднималось облако дыма и медленно продвигалось в нашу сторону.

Ветер был неустойчивый, неровный, и каждую минуту он мог рвануть во всю силу.

Я слез и рассказал обо всем этом летчику Федосееву.

Он взглянул на небо, небо было беспокойное. Летчик Федосеев задумался.

– Послушай, – спросил он, – ты карту знаешь?

– Знаю, – ответил я. – Москва, Ленинград, Минск, Киев, Тифлис...

– Эх ты, хватил в каком масштабе. Ты бы еще начал: Европа, Америка, Африка, Азия. Я тебя спрашиваю... если я тебе по карте начерчу дорогу, то ты разберешься?

Я замялся:

– Не знаю, Василий Семенович. У нас это по географии проходили... Да я что-то плохо...

– Эх, голова! То-то «плохо». Ну ладно, раз плохо, тогда лучше и не надо. – И он вытянул руку: – Вот, смотри. Отойди на поляну... дальше. Повернись лицом к солнцу. Теперь повернись так, чтобы солнце светило тебе как раз на край левого глаза. Это и будет твое направление. Подойди и сядь.

Я подошел и сел.

– Ну, говори, что понял?

– Чтобы солнце сверкало в край левого глаза, – неуверенно начал я.

– Не сверкало, а светило. От сверканья глаза ослепнуть могут. И запомни: что бы тебе в голову ни втемяшилось, не вздумай свернуть с этого направления в сторону, а кати все прямо да прямо до тех пор, пока километров через семь-восемь ты не упруешься в берег реки Кальвы. Она тут, и деваться ей некуда. Ну, а на Кальве, у четвертого яра, всегда народ: там рыбаки, плотовщики, косари, охотники. Кого первого встретишь, к тому и кидайся. А что сказать...

Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолет, на свою неподвижную, укутанную тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой:

– А что сказать им... ты и сам, я думаю, знаешь.

Я вскочил.

– Постой, – сказал Федосеев.

Он вынул из бокового кармана бумажник, вложил туда какую-то записку и протянул все это мне.

– Возьмешь с собой.

– Зачем? – не понял я.

– Возьми, – повторил он. – Я могу заболеть, потеряю. Потом отдашь мне, когда встретимся. А не мне, так моей жене или нашему комиссару.

Это мне что-то совсем не понравилось, и я почувствовал, что к глазам моим подкатываются слезы, а губы у меня вздрагивают.

Но летчик Федосеев смотрел на меня строго, и поэтому я не посмел его послушаться. Я положил бумажник за пазуху, затянул покрепче ремень и свистнул Брутика.

– Постой, – опять задержал меня Федосеев. – Если ты раньше моего увидишь кого-либо из НКВД или нашего комиссара, то скажи, что в районе пожара, на двадцать четвертом участке, позавчера в девятнадцать тридцать я видел троих человек, думал – охотники; когда я снизился, то с земли они ударили по самолету из винтовок и одна пуля пробила мне бензиновый бак. Остальное им все будет понятно. А теперь, герой, вперед двигай!

* * *

Тяжелое дело, спасая человека, бежать через чужой, угрюмый лес, к далекой реке Кальве, без дорог, без тропинок, выбирая путь только по солнцу, которое неуклонно должно светить в левый край твоего глаза.

По пути приходилось обходить непролазную гущу, крутые овражки, сырые болота. И если бы не строгое предупреждение Федосеева, я десять раз успел бы сбиться и

заблудиться, потому что частенько казалось мне, что солнце солнцем, а я бегу назад, прямо к месту моей вчерашней ночевки.

Итак, упорно продвигался я вперед и вперед, изредка останавливаясь, вытирая мокрый лоб. И гладил глупого Брутика, который, вероятно, от страха катил за мной, не отставая и высунув длинный язык, печально глядел на меня ничего не понимающими глазами.

Через час подул резкий ветер, серая мгла наглухо затянула небо. Некоторое время солнце еще слабо обозначалось туманным и расплывчатым пятном, потом и это пятно растаяло.

Я продвигался быстро и осторожно. Но через короткое время почувствовал, что я начинаю плутать.

Небо надо мной сомкнулось хмурое, ровное. И не то что в левый, а даже в оба глаза я не мог различить на нем ни малейшего просвета.

Прошло еще часа два. Солнца не было, Кальвы не было, сил не было, и даже страха не было, а была только сильная жажда, усталость, и я наконец повалился в тень, под кустом ольхи.

«И вот она жизнь, – закрыв глаза, думал я. – Живешь, ждешь, вот, мол, придет какой-нибудь случай, приключение, тогда я... я... А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Там раненый летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах».

Звонкий свист пичужки раздался где-то совсем близко. Я вздрогнул. Тук-тук! Тук-тук! – послышалось сверху. Я открыл глаза и почти над головой у себя, на стволе толстого ясеня, увидел дятла.

И тут я увидел, что лес этот уже не глухой и не мертвый. Кружились над поляной ромашек желтые и синие бабочки, блистали стрекозы, неумолчно трещали кузнечики.

И не успел я приподняться, как мокрый, словно мочалка, Брутик кинулся мне прямо на живот, подпрыгнул и затрясся, широко разбрасывая холодные мелкие брызги. Он где-то успел выкупаться.

Я вскочил, бросился в кусты и радостно вскрикнул, потому что и всего-то шагах в сорока от меня в блеске сумрачного дня катила свои серые воды широкая река Кальва.

* * *

Я подошел к берегу и огляделся. Но ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того четвертого яра, на который должен был выйти по указу летчика Федосеева.

Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок и там, возле маленького шалаша, стояла запряженная в телегу лошадь.

Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи подернулись, как в лихорадке, когда я понял, что мне нужно будет переплывать Кальву.

Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал возле завода, позади кирпичных сараев. Больше

того, я мог переплыть его туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком его месте вода не достигала мне выше подбородка.

Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья жирной пены.

И я знал, что раз нужно, то я переплыву Кальву. Она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал и то, что стоит мне на мгновение растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды – и я пойду ко дну, как это со мной было однажды, год тому назад, на совсем неширокой речонке Лугарке.

Я подошел к берегу, вынул из кармана тяжелый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду.

Браунинг – это игрушка, а теперь мне не до игры.

Еще раз посмотрел я на противоположный берег, зачерпнул пригоршню холодной воды. Глотнул, чтобы успокоилось сердце. Несколько раз глубоко вздохнул, шагнул в воду. И, чтобы не тратить даром силы, по отлогому песчаному скату шел я до тех пор, пока вода не достигла мне до шеи.

Дикий вой раздался за моей спиной. Это, как сумасшедший, скакал по берегу Брутик.

Я поманил его пальцем, откашлялся, сплюнул и, оттолкнувшись ногами, стараясь не брызгать, поплыл.

* * *

Теперь, когда голова моя была над водой низко, противоположный берег показался мне очень далеким. И чтобы этого не пугаться, я опустил глаза на воду.

Так, полегоньку, уговаривая себя не бояться, а главное не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперед.

Вот уже и вода похолодела, прибрежные кусты побежали вправо – это потащило меня течение. Но я это предвидел и поэтому не испугался. Пусть тащит. Мое дело – спокойней, раз, раз... вперед и вперед... Берег понемногу приближался, уже видны были серебристые, покрытые пухом листья осинника. Вода стремительно несла меня к песчаному повороту.

Вдруг позади себя я услышал голоса. Я хотел повернуться, но не решился.

Потом за моей спиной раздался плеск, и вскоре я увидел, что, высоко подняв морду и отчаянно шлепая лапами, выбиваясь их последних сил, сбоку ко мне подплывает Брутик.

«Ты смотри, брат! – с тревогой подумал я. – Ты ко мне не лезь. А то потонем оба».

Я рванулся в сторону, но течение толкнуло меня назад, и, воспользовавшись этим, проклятый Брутик, больно царапая когтями спину, полез ко мне прямо на шею.

«Теперь пропал! – окунувшись с головой в воду, подумал я. – Теперь дело кончено».

Фыркая и отплеываясь, я вынырнул на поверхность, взмахнул руками и тотчас же почувствовал, как Брутик с отчаянным визгом лезет мне на голову.

Тогда, собравши последние силы, я отшвырнул Брутика, но тут в рот я в нос мне ударила волна. Я захлебнулся, бестолково замахал руками и опять услышал голоса, шум и лай.

Тут налетела опять волна, опрокинула меня с живота на

спину, и что я последнее помню, – это тонкий луч солнца сквозь тучи и чью-то страшную морду, которая, широко открыв зубастую пасть, кинулась мне на грудь.

* * *

Как узнал я позже, два часа спустя после того, как я ушел от летчика Федосеева, по моим следам от проезжей дороги собака Лютта привела людей к летчику. И прежде чем попросить что-либо для себя, летчик Федосеев показал им на покрытое тучами небо и приказал догнать меня. В тот же вечер другая собака, по прозвищу Ветер, настигла в лесу троих вооруженных людей. Тех, что перешли границу, чтобы поджечь лес вокруг нашего завода, и что пробили пулей бензиновый бак у мотора.

Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им – мы знали пощады не будет.

* * *

Я лежал дома в постели.

Под одеялом было тепло и мягко. Привычно стучал будильник. Из-под крана на кухне брызгала вода. Это умывалась мама. Вот она вошла и сдернула в меня одеяло.

– Вставай, хвастунишка! – сказала она, нетерпеливо расчесывая гребешком свои густые черные волосы. – Я вчера зашла к вам на собрание и от дверей слышала, как это ты разошелся: «я вскочил», «я кинулся», «я ринулся». А ребяташки, дураки, сидят, уши развесили. Думают – и правда!

Но я хладнокровен.

– Да, – с гордостью отвечаю я, – а ты попробуй-ка переплыви в одежде Кальву.

– Хорошо – «переплыви», когда тебя из воды собака Лютта за рубашку вытащила. Уж ты бы лучше, герой, помалкивал. Я у Федосеева спрашивала. Прибежал, говорит, ваш Володька ко мне бледный, трясется. У меня, говорит, по географии плохо, насилу-насилу уговорил я его добежать до реки Кальвы.

– Ложь! – Лицо мое вспыхивает, я вскакиваю и гневно гляжу в глаза матери.

Но тут я вижу, что это она просто смеется, что под глазами у нее еще не растаяла синеватая бледность, – значит, совсем недавно крепко она обо мне плакала и только не хочет в этом сознаться. Такой уж у нее, в меня, характер.

Она ерошит мне волосы и говорит:

– Вставай, Володька! За ботинками сбегай. Я до сих пор так и не успела.

Она берет свои чертежи, готовальню, линейки и, показав мне кончик языка, идет готовиться к зачету.

* * *

Я бегу за ботинками, но во дворе, увидев меня с балкона, отчаянно визжит Феня.

– Иди, – кричит она, – да иди же скорей, тебя зовет папа!

«Ладно, – думаю я, – за ботинками успею», – и поднимаюсь вверх.

Наверху Феня с разбегу хватает меня за ноги и тянет к отцу в комнату. У него вывих ноги, и он в постели, забинтованный. Рядом с лекарствами возле него на столике ле-

жат острый ножичек и стальное шило. Он над чем-то работал. Он здоровается со мной, он расспрашивает меня о том, как я бежал, как заблудился и как снова нашел реку Кальву.

Потом он сует руку под подушку и протягивает мне похожий на часы блестящий никелированный компас с крышкой, с запором и с вертящейся фосфорной картушкой.

– Возьми, – говорит, – учись разбирать карту. Это тебе от меня на память.

Я беру. На крышке аккуратно обозначены год, месяц и число – то самое, когда я встретил Федосеева в лесу у самолета. Внизу надпись: «Владимиру Курнакову от летчика Федосеева». Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. И нет им от меня сожаления, нет пощады!

* * *

Я жму летчику руку и выхожу к Фене. Мы стоим с ней у окна, и она что-то бормочет, бормочет, а я не слышу и не слышу.

Наконец, она дергает меня за рукав и говорит:

– Все хороша, жаль только, что утонул бедняга Брутик.

Да, Брутика жаль и мне. Но что поделаешь: раз война, так война.

Через окно нам видны леса. Огонь потушен, и только кое-где подымается дымок. Но и там заканчивают свое дело последние бригады.

Через окно виден огромный завод, тот самый, на котором работает почти весь наш новый поселок. И это его хотели поджечь те люди, которым пощады теперь не будет.

Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам, под деревянными щитами, день и ночь стоят часовые.

Даже отсюда нам с Феней слышны бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжелые удары парового молота.

Что на этом заводе делают, этого мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного товарища Ворошилова.

СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой. Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небогатую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала.

Но тут окончились распределители, разные талоны, хлебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стала чаще и чаще ходить Валентина в кино, то одна, то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая и, что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала.

И как-то вскоре – совсем для нас неожиданно – отца моего назначили директором большого текстильного магазина.

Был на радостях пир. Пришли гости. Пришел старый отцовский товарищ Платон Половцев, а с ним и его дочка Нина, с которой, как только увиделись мы, – рассмеялись, обнялись, и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела.

Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаще и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жен их ругала, а крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой.

Много у отца в магазине было сукна, полотна, шелку и разных цветных материй.

Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как узнал я потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой.

Как оно там случилось, не знаю, но только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порыжелый отцовский портрет с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали дворнику, и стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога – неясная, непонятная – прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздав-

шего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедem на Кавказ – на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд.

Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень веселый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда.

И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребятишки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей оравой кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму.

Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь.

Однако никто и ни о чем меня не спрашивал. Все там быстро разобрали сами и отца приговорили к пяти годам, за растрату.

Я узнал об этом уже перед сном, лежа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потертую ткань слабо, как звездочки, мерцали желтые искры света.

За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слез глаза смыкались, и мне казалось, что я уплываю куда-то очень далеко.

«Прощай! – думал я об отце. – Сейчас мне двенадцать, через пять – будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.

Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, березу? А на этой березе, – сказал ты, – сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: карр... карр! И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра, – серой полыни, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленочек и мычит: муу-муу! Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки.

Прощай! – засыпал я. – Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко, потому что все же я его очень любил, потому что – зачем врать? – был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошел в школу. И, когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез, потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя.

Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал. Потом вдруг он надолго замолк. И

только чуть ли не через три месяца прислал – но не ей уже, а мне – открытку; откуда-то с дальнего Севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапера перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы.

Два года пронеслись быстро и бестолково.

Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется, по фамилии Лобачов. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим чемоданом он переехал к нам.

В июне Валентина оставила мне на месяц сто пятьдесят рублей и укатила с мужем на Кавказ.

Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка и я услышал, как на кухне котенок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один.

Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова.

Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся.

Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы... если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках да если бы не пел мне хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне

сердце. И весело мне от них и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать, да как-то стыдно, если не с чего.

Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседний корпус к Юрке Ковякину, которому целый месяц я был должен рубль двадцать копеек. И мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем.

Юрка был на два года старше меня, он носил значок ворошиловского стрелка, но был прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что заочно готовится на курсы летчиков.

Он вошел вразвалочку, быстро оглядывая стены. Просунув голову на кухню, чего-то понюхал, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.

– Уехала Валентина? – спросил Юрка. – Та-ак! Значит, ясно: оставила она тебе денег, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль двадцать – брал на кино – и семь гривен за эскимо-мороженое; итого рубль девяносто, для ровного счета два.

– Юрка, – возразил я, – никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте и сел на место.

– Ну вот! – поморщился Юрка. – Я купил на всех шесть штук. Я сидел с краю. Одно взял себе, остальные пять вам передал. Очень хорошо помню: как раз Чарли Чаплин летит в воду, все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, увлекся – не заметил, как и проскочило?

– Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!

– Конечно, отдай! – похвалил Юрка. – Вы ели, а я за вас

страдать должен?! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?

– Помню.

– А помнишь, как только он вылез, веревка дернула – и он опять в воду?

– И это помню.

– Ну, вот видишь! Сам все помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось, пожадничала?

– Зачем «пожадничала»? Полтораста рублей оставила, – ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: – Это на целый месяц оставила. Ты думал – на неделю? А тут еще на керосин, за белье прачке.

– Ну и дурак! – добродушно сказал Юрка. – Этакие деньги да чтобы проесть начисто!

Он удивленно посмотрел на меня и рассмеялся.

– А сколько же надо? – недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»

– А сколько?.. Подай-ка мне счета. Я тебе сейчас, как бухгалтер... точно! Полкило хлеба на день – раз – это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахара на месяц – обопьешься. Вот крупа, картошка – пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну, ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенья. Значит, шестьдесят три, керосин – два... Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого... Итого – живи, как банкир, – семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил

бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого. Хочешь, пойдем сейчас и посмотрим?

– Нет, Юрка! – испугался я. – Я лучше не сейчас, а потом... Я еще подумаю.

– Ну подумай! – согласился Юрка. – На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай... Эх, брат, у тебя все пятерками, а у меня нет сдачи... Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.

Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой:

– И не проси. Некогда! Сижу долблю. Элероны, лонжероны, вибрация, деривация... Самолет – не трамвай. Чуть не дотянул – и пошел в штопор, чуть перетянул – еще что-нибудь похуже. То ли ваше дело – пехота!

Он презрительно скривил губы, небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаюсь огреть его длинной метлой по шее.

...Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в библиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.

Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были

давным-давно потеряны. Да и запирать-то там было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.

Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.

Я выдвинул соседний ящик и удивился еще более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, полфлакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкатулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.

И все это заперто от меня не было.

От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.

Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехалось по дачам. Вздывая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Все кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и бревнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.

Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку сидра, кусок колбасы, кружку молока, селедку и сто граммов мороженого.

Пришел, съел и затосковал еще больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец – он взял бы!

Помню, как посадит он меня, бывало, за весла, и плывем мы с ним вечером по реке.

– Папа! – попросил как-то я. – Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

– Хорошо, – сказал он. – Положи весла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

*Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.*

– Папа! – сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой. – Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

– Как не солдатская? Ну, вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите, – говорит командир, – еще немного, дойдем, собьем... тогда и отдохнем... Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!

«Отец был хороший, – подумал я. – Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».

Но как же, однако, все случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин – тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски, – однажды остановился у нашего окошка, возле

которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца.

Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала:

– Тоже... певец! Пьянчужка. Я вот пожалуйсь на него управдому.

Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный он никого не задевал, а только вопил песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.

«Любовь! – думал я. – Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут летчики, и у них, наверное, есть тоже. Однако же от любви ихней винтовки не ржавеют, самолеты с неба не падают, а все идет своим чередом, как надо».

Оттого ли, что я долго лежал и думал, оттого ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок и ко мне ввалился Юрка.

В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять рублей фотоаппарат. И в этот

же день к вечеру на Пушкинской площади Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.

– Знакомься, – сказал Юрка, подталкивая меня к мальчишкам. – Это Женя, Петя и Володя, из восемнадцатой школы. Огонь-ребята и все, как на подбор, отличники.

«Огонь-ребята» и «отличники» – Женя, Петя и Володя, – как по команде, повернулись в мою сторону, внимательно оглядели меня, и, кажется, я им чем-то не понравился.

– Он парень хороший, – отрекомендовал меня Юрка. – Мы с ним заодно, как братья. Отец в тюрьме, а мачеха на Кавказе.

«Огонь-ребята» молча поклонились мне, а я чуть покраснел: «Мог бы, дурак, про отца помолчать, – хорош гусь, скажут товарищи».

Однако новые товарищи ничего не сказали, и, посоветовавшись, мы все впятером пошли в кино.

Вернувшись домой, я узнал от дворника, дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра же зашел к нему на квартиру, так как у него ко мне есть дело.

Однако на следующий день к Барышеву я не зашел.

Утром меня поджидал первый удар.

Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает.

Взбешенный, я помчался разыскивать Юрку. Но его ни

у себя дома, ни во дворе не было, а попался он мне на глаза только к вечеру, когда, усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.

– Экая беда! – пожалел меня Юрка. – Так-таки говорят, что нет и не бывает?

– Так-таки нет и не бывает! – с отчаянием повторил я. – Да что ты притворяешься, Юрка! Ты все и сам знал раньше.

– Ну вот, знал! Что я, фотограф, что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил – это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление... Дернул ручку на себя – он вверх пошел, двинул вперед – он книзу. А фотографии – это для меня не люди... а тьфу! То ли дело летчики!..

– Юрка, – попросил я, – давай пойдем к Витьке Чеснокову, пусть он тогда забирает аппарат, а деньги отдаст обратно!

– Что ты! Что ты! – удивился Юрка. – Да у него и денег-то давно уж нет! За тридцатку он вчера купил балалайку, сколько-то отдал жене, сколько-то теще. Ну, может быть, какая-нибудь пятерка осталась. Нет, брат, ты уж лучше терпи.

Горе мое было так велико, что я едва удерживался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни. Юрка заметил это и надо мной сжалился.

– Друг я тебе или нет? – воскликнул он, ударяя себя кепкой о колено.

– Конечно, нет... то есть, конечно, друг... И тогда... что мы делать будем?

– А коли друг, так пойдем со мной! Я тебя из беды выручу.

Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в

которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена – сорок рублей, задаток – десять.

– Выкладывай, – торжествующе сказал Юрка. – То-то вас, дураков, учи да учи, а спасибо и не дождешься!

– Юрка, – спросил я, – а где же я потом возьму остальную тридцатку?

– Наберешь! Наскребешь понемножку, а нет, так я за тебя аппарат выкуплю. Себе возьму, а ты накопишь денег, мне отдашь, – он тогда, аппарат, опять твой будет!

С тяжелым сердцем заплатил я десять рублей и понуро побрел к дому.

– Не скучай, – посоветовал мне на прощание Юрка. – Ты по вечерам садись на шестой или на метро и кати чуть что в Сокольники – там мы гуляем весело.

Дома в ящике для почты я нашел от Барышева записку. В ней он ругал меня за то, что я не зашел, и наказывал, чтобы я немедленно сообщил адрес Валентины начальнику подмосковного пионерского лагеря, куда они хотят позвать меня, чтобы я там побыл до Валентининового приезда.

Я, конечно, обрадовался, но... то не было чернил, то конверта, и адрес я послал только дня через четыре.

А тут беда пришла новая.

Как там на счетах прикидывал Юрка: кило да полкило – это его дело, но деньги, которых и так осталось мало, таяли с быстротой совсем непонятной.

С утра начинал я экономить. Пил жидкий чай, съедал только одну булочку и жадничал на каждом куске сахару. Но зато к обеду, подгоняемый голодом, накопал я наспех

совсем не то, что было надо. Спешил, торопился, проливал, портил. Потом от страха, что много истратил, ел без аппетита, и наконец, злой, полуголодный, махнув на все рукой, мчался покупать мороженое. А потом в тоске слонялся без дела, ожидая наступления вечера, чтобы умчаться на метро в Сокольники.

Странная образовалась вокруг меня компания. Как мы веселились? Мы не играли, не бегали, не танцевали. Мы переходили от толпы к толпе, чуть задевая прохожих, чуть толкая, чуть подсмеиваясь. И всегда у меня было ощущение: то ли мы за кем-то следим, то ли мы что-то непонятное ищем.

Вот «огонь-ребята» улыбнулись, переглянулись. Молчок, кивок, разошлись, а вот и опять сошлись. Был во всех их поступках и движениях непонятный ритм и смысл, до которого я тогда не доискивался. А доискаться, как теперь я вижу, было совсем и не трудно.

Иногда к нам подходили взрослые. Одного, высокого, с крючковатым облупленным носом, я запомнил. Отойдя в сторонку, Юрка отвечал ему что-то коротко, быстро и мял руками свою клетчатую кепку. Возвращаясь к нашей компании, он вытер платком взмокший лоб, из чего я заключил, что этого носатого даже сам Юрка побаивался.

Я спросил у Юрки:

– Кто это?

– Это артист, – объяснил мне Юрка. – Он двоюродный брат Шаляпина и женат на дочери начальника милиции, которая мне приходится теткой. Во время пожара он потерял голос, но ему выхлопотали пенсию, чтобы он приходил сюда пить нарзан и успокаивать свои нервы.

Я посмотрел на Юрку: не смеется ли? Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.

В тот же вечер, попозже, меня угостили пивом. Стало весело. Я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Подсел носатый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол я ему – не помню. И как я попал домой – не помню тоже.

Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился, задернул штору, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза.

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай! Ти-ше!
Слы-шишь? Ти-ше!

А котенок урчал на моей груди: мур... мур... иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце.

...Денег у меня оставалось всего двадцать рублей. Я проклинал себя за свою лень – за то, что я не вовремя отправил в лагерь кавказский адрес Валентины, и теперь, конечно, ее ответ придет еще не скоро. Как я буду жить – этого я не знал. Но с сегодняшнего же дня я решил жить по-иному.

С утра взялся я за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубашу, но сжег воротник, наचाдил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку.

Днем за работой я крепился. Но вечером меня снова потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам и пел песни. Ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Наконец я сдался. «Ладно, – подумал я, – но это будет уже в последний раз».

Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было.

Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно.

И опять я заколебался.

Ай-ай! Ти-ше!
Слы-шишь? Ти-ше!

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше – целые толпы, сотни... Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо.

И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и

вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

Я подошел к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не впускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил два рубля за маску, два за вход и, пройдя через контроль, смешался с веселой толпой.

Бродил я долго, но счастья мне не было. Музыка играла все громче и громче. Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами. Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая.

В своей дешевенькой полумаске из пахнувшего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это веселое, шумливое сборище.

Вдруг – вся в черном и в золотых звездах – вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка; полумаска соскользнула ей на губы. И сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.

Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила:

– Ах, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки... Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг – трах! бабах! – труба... пальба... Бегут какие-то солдаты – все в стороны, все смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет... Ты почему один? Ты тоже потерялся?

– Нет, я не потерялся, – мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем. Постой, –

помолчав немного, попросил я, – не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись.

Было, очевидно, в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто.

Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

...Мы обшарили почти весь сад. Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги, бродили меж густых деревьев и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути веселые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались нам навстречу добрые звери и злобные страшили и чудовища.

Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах, должно быть выжидать появления другой, более трусливой жертвы.

Но мы не нашли тех, кого искали, вероятно потому, что волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо. И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся.

Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина созналась, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв все на свете, выхватил из кармана бумажник.

– Деньги! А это что – не деньги?

Мы ужинали, я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое.

За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину: когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды тайком в кино.

– Сережа, – с тревогой заметила Нина, – ты, я вижу, что-то очень много тратишь.

– Пустое, Нина! Я рад. Постой-ка, я куплю вот это...

Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе – красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакали, ожидая пуска фейерверка.

Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Легкие упругие шары болтались и хлопали над головами.

Вдруг свет погас, померкли луна и звезды, потому что ударил залп и тысяча стремительных ракет умчалась и затанцевала в небе.

– Когда я буду большая, – задумчиво сказала Нина, – я тоже что-нибудь такое сделаю.

– Какое?

– Не знаю! Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь... Смотри, Сережа! Огонь... огонь... и еще огонь!

– Что ты бормочешь, глупая! – засмеялся я. – Ну хорошо, я буду командиром батареи, а потом я буду тяжело ранен...

– Но ты же выздоровеешь, – уверенно подсказала Нина.

– Ну хорошо, а потом?

– А потом? – Нина улыбнулась. – А потом... потом...

Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.

Я вынул нож, обрезал концы бечевки и взял оба шара в руки.

– Гляди, Нина: голубой шар – это ты, красный – это я. Раз, два... полетели!..

Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.

– Не жалей, – сказал я, – им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Вот догнал!

– Но ты сейчас зацепишься за антенну! Правей лети, глупый, правее! Сережа! Почему это я лечу прямо, а ты все крутишься да крутишься?

– Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься и все куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ага, испугалась?!

Небо еще раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь...

Ракеты погасли. Стало темно. Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидели совсем неподалеку от нас сестру Нины Зинаиду и всю их компанию.

Пора было расставаться.

– Нина, – спросил я медленно и обдумывая каждое слово, – можно, я изредка буду тебе звонить?

– Звони! – сказала она. – Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый.

Я дал.

– Нина, – спросил я, – а если подойдет к телефону твой отец и спросит, кто звонит? То сказать как?

— Так и скажи, что ты звонишь.

Она подумала и уже твердо добавила:

— Да, да, так и скажи! Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает.

Вот она попрощалась, побежала к сестре, и, по-видимому, между ними сейчас же вспыхнул спор: кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу. Сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла.

...Ей тогда было тринадцать — четырнадцатый, и она училась в шестом классе двадцать четвертой школы.

Ее отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца. Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что все это, наверное, ошибка.

Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел, снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфесы сабель, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка, и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий с потертым орденом на полувоенном френче.

Слава его скромна и высока.

Он дорожил своим честным именем, которое пронес через нужду, войны, революцию...

И на что ему была нужна дружба с ворами!

Во дворе мне сказали, что прачка приходила два раза. Белье оставила у дворника, дяди Николая, а за деньгами (пятнадцать рублей) придет завтра после обеда.

Я хотел поставить чайник – керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.

Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил – никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег. Но где? Что я, рабочий, служащий или хотя бы дворник, как дядя Николай, который, глядишь, тому дров наколот, тому ведро вынес, тому ковер вытряхнул?..

Однако, зажмурив глаза, я упорно твердил только одно: «Достать, достать... все равно достать!»

Надо было выкупить фотоаппарат, продать его тут же рядом в скупочный магазин, отдать деньги прачке, а на остаток начинать жить по-новому.

Но где взять тридцать рублей на выкуп?

И сразу же: «А что же такое, если не деньги, лежит в запертом ящике письменного стола?»

Конечно, догадливая Валентина не все взяла с собой на Кавказ, а, наверное, часть оставила дома, для того чтобы осталось на первые расходы по возвращении. Тогда будет все хорошо. Тогда я подберу ключ, возьму тридцатку, выкуплю аппарат, продам его, отдам деньги прачке, тридцатку положу обратно в ящик, а на остаток буду жить скромно и тихо, дожидаясь того времени, когда меня заберут в лагерь.

Ну, до чего же все просто и замечательно!

Но так как, конечно, ничего замечательного в том, чтобы лезть за деньгами в чужой ящик, не было, то остатки совести, которые слабо барахтались где-то в моем сердце, подняли тихий шум и вой. Я же грозно прикрикнул на них

и опрометью бросился к дворнику, дяде Николаю, доставать напильник.

— Зачем тебе напильник? — недоверчиво спросил дворник. — Все хулиганство! Вечор тоже мальчишка из шестнадцатой квартиры попросил отвертку, а сам, чертяка, чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газеты вынимать, а котенок орет, мяучит. Газету исцарапал да полтелеграммы изодрал от страха. Насилу разобрали. Не то в телеграмме «приезжай», не то «не приезжай», не то «подожди езжать, сам приеду».

— Мне, дядя Николай, такими глупостями заниматься некогда, — сказал я. — У меня радиоприемник сломался. Ну вот... там подточить надо.

— То-то, глупостями не заниматься! Что это к нам во двор этот прощелыга Юрка зачастил? Ты, парень, смотри! Тут хорошего дела не будет. Возьми напильник в ящике. Да белье захвати. Вон за шкапом узел. Прачка в обед за деньгами прийти обещалась. Отец-то ничего не пишет?

— Пишет! — схватив напильник и взваливая на плечи узел, ответил я. — Он, дядя Николай, все что-то там взрывает... грохает... Я, дядя Николай, расскажу потом, а сейчас некогда.

Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и, отложив два, взялся за дело.

Работал я долго и упрямо. Испортил один ключ, принялся за второй. Изредка только отрывался, чтобы напиться из-под крана. Пот выступал на лбу, пальцы были исцарапаны, измазаны опилками и ржавчиной. Я прикладывал глаз к замочной скважине, ползал на коленях, ос-

вещал ее огнем спички, смазывал замок из масленки от швейной машины, но он упирался, как заколдованный. И вдруг – крак! И я почувствовал, как ключ туго, со скреже-
том, но все же поворачивается.

Я остановился перевести дух. Отодвинул табуретку, собрал и выбросил в ведро мусор, опилки, сполоснул грязные, замасленные руки и только тогда вернулся к ящику.

Дзинь! Готово! Выдернул ящик, приподнял газетную бумагу и увидел черный, тускло поблескивающий от смазки боевой браунинг.

Я вынул его – он был холодный, будто только что с ледника. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек был выщерблен. Я вынул обойму; в ней было шесть патронов, седьмого не доставало.

Я положил браунинг на полотенце и стал перерывать ящик. Никаких денег там не было.

Злоба и отчаяние охватили меня разом. Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени – и нашел совсем не то, что мне было надо.

Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газетой и задвинул ящик.

Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался, и замок не закрывался. Мало того! Вынуть ключ из скважины было теперь невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Я вставил в ушко ключа напильник и стал, как рычагом, надавливать. Кажется, поддается! Крак – и ушко сломалось; теперь еще хуже! Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок.

В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

Вдруг знакомый протяжный вой донесся из глубины двора через форточку. Это уныло кричал старьевщик.

Я вскочил и распахнул окно. Во дворе, кроме маленьких ребятишек, никого не было. Молча поманил я рукой старьевщика, и, пока он отыскивал вход, пока поднимался, я озираясь по сторонам, прикидывал, что бы это такое ему продать.

Вон старые брюки. Вон куртка – локоть порван. А если прибавить коньки? До зимы долго. Вон рубашка – все равно рукава мне коротки. Футбольный мяч! Наплевать... теперь не до игры. Я свалил все в одну кучу, вытер слезы и кинулся на звонок.

Вошел старьевщик. Цепкими руками он ловко перерыл всю кучу, равнодушно откинул коньки. Крючковатым пальцем для чего-то еще больше надорвал дыру на локте куртки, высморкался и сказал:

– Шесть рублей.

Как шесть рублей? За такую кучу всего шесть рублей, когда мне надо тридцать?

Я попробовал было торговаться. Но он стоял молча и только изредка лениво повторял:

– Шесть рублей. Цена хорошая.

Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку. Опять так же быстро перебрал он вещи, проткнул пальцем в валенках дыру, отодвинул наушники и сказал:

– Пять рублей!

Как пять рублей? За такую кучу, которая теперь заняла весь угол, – шесть да пять, всего одиннадцать?

– Одиннадцать рублей! – вскидывая сумку, сказал старьевщик. – Хочешь – отдавай, нет – пойду дальше.

– Постой! – с испугом, который не укрылся от его маленьких жестких глаз, сказал я. – Ты погоди, я сейчас еще...

Я пошел в соседнюю комнату. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф.

Сразу же на глаза мне попала серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Что это был за мех, я не знал. Но я уже несколько раз слышал, что она чем-то Валентине не нравится.

Я сдернул ее с крючка. Она была пушистая, легкая и под лучами солнца чуть серебрилась. Стараясь, насколько возможно, быть спокойным, я вынес горжетку и небрежно бросил ее перед старьевщиком на стол.

Стоп! Теперь уже я подметил, как блеснули его рысьи глазки и как жадно схватил он мех в руки!

Теперь цену он сказал не сразу. Он помял эту вещичку в руках, чуть растянул ее, поднес близко к глазам и понюхал.

– Семьдесят рублей, – тихо сказал он. – Больше не дам ни копейки.

«Ого! Семьдесят!» – испугался я, но так как отступать было уже поздно, то, собравшись с духом, я сказал:

– Как хочешь! Меньше чем за девяносто я не отдам.

– Молодой иунуш, – громко сказал тогда старьевщик, – я не спорю! Может быть, эта вещь и стоит девяносто рублей. Надо даже думать, что стоит. Но вещь эта не твоя, молодой иунуш, и как бы нам с тобой за нее не попало. Семьдесят рублей да одиннадцать – восемьдесят один. Получай деньги – и все дело.

– Как ты смеешь! – забормотал я. – Это мое. Это не твое дело. Это мне подарили.

– Я не спорю, – усмехнулся старьевщик. – Я не спорю. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатский, но такой порядок, чтобы молодой иунуш носил дамские туфли и меховой горжетка, – такой порядок нет и никогда не было. Бери скорей, иунуш, деньги – и конец делу.

Я взял деньги. Но конец делу не пришел. Дела мои печальные только еще начинались.

На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии, которая сражалась одна против всего мира.

Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командир и солдаты окончательно уверились в том, что он – вражеский лазутчик.

Но странные дела начали твориться вокруг отряда.

То однажды, под покровом ночи, когда часовые не видели даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.

Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.

Но это была ложь.

То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог

подобраться ни один смельчак доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. Помощь пришла.

А проклятый музыкант Мишо, который еще с утра случайно остался в замке и все время валялся пьяный в подвале возле бочек с вином, опять сказал, что это сделал он, и его снова наградили и произвели в сержанты.

Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.

«Это я... то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было, и только, зажавшись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.

— Это я — солдат-барабанщик! Я тоже и одинокий и заброшенный... Эй ты, ленивый дурак! Слышишь? — сказал я и толкнул котенка кулаком в теплый пушистый живот.

Оскорбленный котенок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами.

— Мяу! — ответил он. — Ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лезят по чужим ящикам и не продают старьевщикам Валентининых горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан, сначала — трим-тара-рам! потом — трум-тара-рам! Барабанщики — смелые и добрые. Они до краев наливают блюдечко теп-

лым молоком и кидают в него шкурки от колбасы и куски мягкой булки. Ты же забываешь налить даже холодной воды и швыряешь на пол только сухие корки.

Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. И, вероятно, сидел там долго, насторожившись и прислушиваясь: не полез ли я за кочергой или за щеткой?

Но я давно уже крепко спал.

Утром, выбегая за хлебом, я увидел, что дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. И я вспомнил, что, зачитавшись на ночь, это я сам забыл ее закрыть.

А так как голова моя все время была занята мыслью о предстоящем возвращении Валентины и о расплате за взломанный ящик, за продажу вещей, то этот пустяковый случай натолкнул меня на такой выход:

«А что, если (не по ночам, это страшно) днем уходить, оставив дверь незапертой? Тогда, вероятно, придут настоящие воры, кое-что украдут, и заодно на них можно будет свалить и все остальные беды».

За чаем я решил, что замысел мой совсем не плох. Но так как мне жалко было, чтобы воры забрали что-нибудь ценное, то я вытер досуха ванну, свалил туда все белье, одежду, обувь, скатерть, занавески, так что в квартире стало пусто, как во время уборки перед Первым мая. Утрамбовав все это крепко-накрепко, я покрыл ванну газетами, завалил старыми рогожами, оставшимися из-под мешков с известкой, набросал сверху всякого хлама: сломанные санки, палки от лыж, колесо от велосипеда. И так как ванная у нас была без окон, то я поставил стул на стол и отвинтил с потолка электрическую лампочку.

«Теперь, – злорадно подумал я, – пусть приходят!»

В течение трех дней я ни разу не запер квартиры на ключ. Но – странное дело – воры не приходили. И это было тем более непонятно, что у нас в доме с утра до вечера только и было слышно: щелк... щелк! Замок, звонок, опять замок.

Запирали дверь, отлучаясь даже на минуту к парадному, к газетным ящикам... В страхе, запыхавшись, возвращались с полпути, чтобы проверить, хорошо ли закрыто.

Кроме дверных, навешивали замки наружные. Крючки, цепочки...

А тут три дня стоит квартира незапертой и даже дверь чуть приоткрыта, а ни один вор не сует туда своего носа!

Нет! Неудачи валились на меня со всех сторон.

Я получил от Валентины открытку с требованием ответить, все ли дома в порядке и принесла ли белье прачка.

И даю слово, что если бы Валентина спросила меня, нет ли у меня какой-нибудь беды, не скучаю ли, или хотя бы прислала простую желтую открытку, а не такую, где скалы, орлы, море дразнили и напоминали мне о красивой и совсем не похожей на мою жизнь, и если бы даже, наконец, на протяжении коротенького письма ровно трижды она не упомянула мне о прачке, как будто это было самое важное, – то я честно написал бы ей всю правду. Потому что хотя приходилась она мне не матерью и даже теперь не мачехой, но была она все же человек не злой, когда-то баловала меня и даже иногда покрывала мои озорные проделки, особенно когда я помалкивал и не говорил отцу, кто ей без него звонил по телефону.

И я ответил ей коротко, что жив, здоров, белье прачка принесла и беспокоиться ей нечего. Я отнес письмо и, на-

свистывая, притопывая (то есть семь, мол, бед – один ответ), поднимался к себе по лестнице.

Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Дверь, по обыкновению, была чуть приоткрыта. Но стоп! Легкий шум – как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул – донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на пол-этажа выше.

Вор был в нашей квартире!..

Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять... Вор что-то не торопился. Я слышал его шаги, когда несколько раз он проходил по коридору близ двери. Слышал даже, как он высморкался и кашлянул.

– Тим-там! Тра-ля-ля! Трум! Трум! – долетело до меня из-за двери.

Было очень странно: вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый, опасный. И я уже заколебался, не лучше ли будет спуститься и крикнуть дяде Николаю, который поливал сейчас из шланга двор. Но вот за дверьми, должно быть с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял: это шумел примус. Это уже не лезло ни в какие ворота! Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать.

Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.

– Друг мой, – спросил он, – ты из этой, пятнадцатой квартиры?

– Да, – пробормотал я, – из этой.

– Так заходи, сделай милость. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел, а ты полез наверх и чего-то прячешься.

– Но я не думал, я не знал, зачем вы тут... поете?

– Понимаю! – воскликнул толстяк. – Ты, вероятно, думал, что я жулик, и терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно – твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно точно.

– Она уехала с мужем на Кавказ, – ответил я, – и вернется не скоро.

– Боги великие! – огорчился дядя. – Дорогая сестра уехала, так и не дождавшись родного брата! Но она, я надеюсь, предупредила тебя о том, что я приеду?

– Нет, она не предупредила, – ответил я, виновато оглядывая ободранную мной и неприглядную нашу квартиру. – Когда она уезжала, она, должно быть, растерялась, потому что разбила блюдце и в кастрюльку с кофе насыпала соли.

– Узнаю, узнаю беспечное создание! – укоризненно качнул головой толстяк. – Помню еще, как в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Съела и страдала, крошка, ужасно. Но скажи, друг мой, почему это у вас в квартире как-то не того?.. Сарай – не сарай, а как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев?

– Это не после налета! – растерянно оправдывался я. – Это я сам все посодрал и попрятал в ванную, чтобы не пришли и не обокрали воры.

– Похвально! – одобрил дядя. – Но почему же, в таком случае, парадную дверь ты оставляешь открытой?

На мое счастье, в кухне закипел чайник, и неприятный этот разговор оборвался.

Бывший мой дядя оказался человеком веселым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она переставила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок.

– Неприлично, – объяснил он. – Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья детства, – и вдруг такое безобразие!

После этого он спросил, есть ли у меня деньги. Похвалил за бережливость, дал на расходы тридцатку и ушел до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет десять.

Я побежал к дворничихе и сказал ей насчет уборки.

– Дядечка приехал! – похвалился я. – Добрый! Теперь мне будет весело.

– И то лучше, – сказала дворничиха. – Виданное ли дело – оставлять квартиру на несмышленного ребенка! Дите – оно дите и есть. Сейчас умное, а отвернулся – смотришь, а оно еще совсем дурак.

– Это которые маленькие – дураки, – обиделся я. – А я уже не маленький.

– Э, милый! Бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське шестнадцатый. Раньше в такую пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул – да вот три недели в больнице отлежал. Хорошо еще, только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да что я тебе говорю: ты, чай, про это дело лучше моего знаешь!

Я что-то промышал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля.

Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я постлал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу.

Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы сократить до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине.

«Дорогая Валя! – писал я. – К нам приехал твой брат. Он очень веселый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как это ты ее съела? Или у тебя был насморк?..»

Письмо осталось неоконченным, потому что позвонили и я кинулся в прихожую. Вошел дядя и с ним еще кто-то.

– Зажги свет! Где выключатель? – командовал дядя. – Сюда, старик, сюда! Не оступись... Здесь ящик... Дай-ка шляпу, я сам повешу... Сам, сам, для друга все сам. Прошу пожаловать! Повернись-ка к свету. Ах, годы!.. Ах, невозвратные годы!.. Но ты еще крепок. Да, да! Ты не качай головой... Ты еще пошумишь, дуб... Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Ученый. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал. Но, как видишь, орел!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, проницательные глаза! Огонь! Фонари! Прожекторы...

Только теперь, на свету, я как следует разглядел дядиного знаменитого товарища. Если по правде сказать, то могучий дуб он мне не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку.

У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым.

Он был одет в зеленую диагоналевую гимнастерку, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени.

Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на мое неоконченное письмо к Валентине.

Он пододвинул письмо к себе и стал читать...

Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промычал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу.

– Позор! – тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу. – Смотри на него, старик Яков!

И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер.

– Смотри, Яков, на этого человека – беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо к мачехе. Ну, пусть, наконец (от этого дело не меняется), он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» через одно «с» и перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взвизывал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо.

Взволнованный, дядя устало опустился на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой.

Нет! Не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это!

– Брось в печку! – с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу. – Или нет, дай я сожгу сам.

Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку.

Подавленный и пристыженный, я возился на кухне у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, придется дядиным сыновьям и дочерям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю.

«Не вздумал бы он проэкзаменовать меня по географии, – опасливо подумал я. – Что-то тогда со мной будет!»

Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и наконец послал спать.

Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.

– Кто это? – сквозь сон спросил я. – Это вы, дядя?

– Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту?

– Посмотрите в той комнате, у Валентины на полочке. Там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?

– Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко.

Дядя плотно закрыл за собой дверь.

Через толстую стену голосов их слышно не было. Но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то еще какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя какое-нибудь лекарство нечаянно пролил.

Прошла неделя. Днем дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать.

Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата.

Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и, чем-то встревоженный, он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить еще минуточку, потому что дядя еще не видал моего фотоаппарата и мне хотелось сейчас же снять обоих друзей, поразив их своим в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь. Они вышли.

Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, щурясь на солнце, заглянул в окно.

Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо.

Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.

«Хорошо, теперь будет еще интересней! Где-либо на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда – хлоп! – и готово.

Когда же они вернутся к вечеру, то на столе уже будет стоять их готовая фотография. Под стеклом, в рамке и с надписью: «Дорогому дядечке от такого-то...» Удивление, думал я, и радость будут безмерны.

Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы.

Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки. Сели на скамью и закурили.

Быстро примостился я меж двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну двадцать пятую. Щелк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова.

На всякий случай я переменял кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали. Приготовиться! Щелк!

Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом.

В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок.

В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома.

Он строго подозвал меня к себе.

В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок.

– Послушай, друг мой, – спросил он в упор. – Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо сюда. И что же выходит?..

Все рухнуло! Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться – сбился, спутался и наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду.

Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню: «Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор».

Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник.

– Время! – грустно сказал дядя. – Тяжкие разочарования! Прыжки и гримасы! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр! Я вижу, что ты раскаиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет бога и тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.

Несмотря на то, что дядя ругал меня и мошенником и дубиной, я сквозь слезы горячо поблагодарил дорогого дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брился.

– Нет, ты послушай, старик Яков! – гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у кота, глазами. – Какова пошла наша молодежь! – Тут он дернул меня за рукав. – Погляди, мошенник, на зеленую диагональную куртку этого, не

скажу – старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь?.. Ага, ты замигал глазами! Ты содрогаешься! Потому что на этой диагоналевой гимнастерке сверкает орден Трудового Знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься за то, чтобы такие молодцы лазили по запертым ящикам и продавали старьевщикам чужие горжетки?

Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. Нет, нет! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал.

Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки.

– Иди и помни! – отпустил меня дядя. – Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щеку. Я знаю, что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идем в ту комнату, и я тебя сам добрею.

Долго они о чем-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковым уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живет и чем дышит родной край.

Тут дядя остановился, сурово посмотрел на меня и добавил, что сердце его беспокойно после всего, что случилось.

– За тобою нужен острый глаз, – сказал дядя. – И тебя сдержать может только рука властная и крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать все, что тебе прикажут. Но смотри, если ты хоть раз попробуешь идти мне наперекор,

я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой!

Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья.

«Какие птицы? Кто вышвырнет? – думал я. – Это добрый-то дядечка вышвырнет! А слушаться я его буду так... что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу, и я, не задумавшись, полез бы с радостью».

Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковым ушел.

Я стал собираться. Достал белье, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду.

Брюки у меня были потертые, в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, отчищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и, чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук у другого, потом гвозди забил молотком и почистил ботинки ваксой.

Беда моя – это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдешь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, бьют ею в спорах оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожег у костра на ученической маевке. Если бы еще оставалась подкладка, то ее можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось.

Тогда я решил, что днем буду кепку держать в руках, будто бы мне все время жарко, а вечером сойдет и с дырой.

И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя и Яков. Они принесли новенький чемодан,

какие-то свертки и черный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами.

От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял, разинув рот, и мне начинало казаться, что дядя мой немного спятил. Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания.

— Хвалю, — сказал он. — Люблю аккуратность, хотя от тебя и несет, как от керосиновой лавки. Теперь же сними все эти балахоны, ибо в них ты мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это.

И он протянул мне сверток. В нем были короткие, до колен, защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, желтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой, косая, как у летчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак.

Дрожащими руками я схватил все это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками.

— Чкалов! — воскликнул он. — Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Ты не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром.

Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнес управдому, котенка отдал дворничихе.

Прощался с дворником, дядей Николаем, и водопроводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осовелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов.

У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и на пыльных стеклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте! Все равно там теперь пусто и никого нет.

Второпях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты, но это меня огорчило сейчас мало.

Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошел к стоянке такси и о чем-то долго там торговался с шофером.

Наконец он подозвал нас. Мы сели и поехали.

Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом Окружной железной дороги. Один за другим замелькали дачные поселки, потом и они остались позади. А машина все мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко.

Через девяносто километров, в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью.

В потемках добрались мы до небольшого, окруженного садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки.

Я не заметил, чтобы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живет его задушевный товарищ.

Впрочем, ничего удивительного в том не было.

Уехал так же года четыре тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно... То да се – вот и все! Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня – кривой, с шилом, у

него – прямой, со штопором. Съели по ириске да и разошлись восвояси.

Не всякая, видно, и дружба навеки!

В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил.

Несколько раз я бегал за газетами, остальное время валялся на траве и читал старую «Ниву». Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул.

Я пошел поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрепанную «Ниву» и сказал мне, что я еще молод и должен думать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон.

Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем.

– Скоро, – ответил дядя. – Через час поедем на вокзал.

Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

*Скоро спустится ночь благодатная,
Над землей загорится луна.
И под нею заснет необъятная
Превосходная наша страна.*

*Спят все люди с улыбкой умильной,
Одеялом покрывшись своим.
Только мы лишь, дорогою пыльной
До рассвета шагая, не спим.*

— Трам-там-там! — Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся. — Что, хороша песня? То-то! А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами. Нет, ты попробуй-ка сочини! Это тебе не то что к мачехе в ящик за деньгами лазить. Что же ты отвернулся? Я тебе любя говорю. Если бы я тебя не любил, то ты давно бы уже сидел в исправдоме. А ты сидишь вот где: кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!

— Он не в голубую даль, — хмуро ответил я. — У него намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со своими вставными зубами.

— Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя. — Так беги же скорей, бессердечный осел, к нему на помощь, да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался.

Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал:

— Не торопись, старик Яков! Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да, да! Что там ни говори — старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Все

занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться – вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану.

Чернокобая девушка взяла сверток и встала. Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это нисколько не огорчило, и он велел брать жесткие.

Задрожали стекла, подкатил поезд. Мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке, передо мной вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинута серый плащ; он что-то спросил у дяди, по-видимому, где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок – и поезд тронулся.

Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.

– Съешь, Яков! – предложил дядя. – Но что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе нездоровится?

– Пройдет! – сморщив лицо, простонал Яков. – Конечно, трясет, толкает, но я потерплю!

– Он потерпит! – возмущенно вскричал дядя. – Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет, нет! Этого не будет. Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит.

– Сели бы к окошку да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная, – предложила сидевшая напротив старушка. – А вы бы, молодой человек, потише курили, – обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. – От вашего табачища и здорового легко вытошнить может.

Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человеке с орденом, смутился и папироску выбросил.

– Благодарю вас, благородная старушка, – сказал дядя. – Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эй, товарищ проводник! Попросите ко мне начальника поезда да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке семидюймовыми гвоздями.

– Ты мети, голова, потише! – укорил проводника бородатый дядька. – Видишь, у человека душа пыли не принимает.

Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот-де человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать.

Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.

– Упаси бог! – пробормотала старушка. – Или уж правда плох очень?

– Что там такое? – спросила проходившая по коридору тетка.

– Да вон в том купе человек, слышь, помирает, – охотно

объяснил ей бородатый. – Вот так, живешь-живешь, а где помрешь – неизвестно.

– Высадить бы надо, – осторожно посоветовали из-за соседней двери. – Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело: в вагоне покойник! У нас тут женщины, дети.

– Где покойник? У кого покойник?

Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову.

– Ха-ха! Он помрет! Слышь ли, старик Яков? – дергая его за пятку, спросил дядя. – Они говорят, что ты помираешь. Нет, нет! Дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и легкий сердечный припадок, результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет! Это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда! Конечно, говорю я, он еще улыбается. Но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряске вагона вряд ли естественны и уместны.

Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил:

– Я вижу, что старику партизану-орденоносцу действительно неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди.

Начальник поезда откланялся и ушел.

Все остались им очень довольны. Все хвалили вежли-

вого и внимательного начальника. Говорили, что вот-де какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, а не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение.

Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они одалживают друг другу чайник, ножик, соль. Берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почему там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни.

Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки.

Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни...

Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.

— Нет, нет, он не расскажет, — громко объяснил дядя. — Он слишком скромн. Да, да! Ты скромн, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули-Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа!

— Послушайте! Вы ведь шутите? — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек. — Так же не бывает.

— Бывает всяко, — задорно ответил дядя и продолжал

свой рассказ: – Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.

Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.

Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.

– Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма, – начал свой рассказ дядя.

Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так называемой Прохладной, или, виноват, Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.

«Даешь свободу! – громко тогда воскликнул про себя узник. – Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать – императорской свадьбы, рождения или коронации!» И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как

пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль.

Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.

Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма...

Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами.

– Но послушайте, вы все шутите, – обиженно заметил сверху круглолицый паренек. – Ведь ничего этого вовсе так не бывает.

– Да, я шучу, молодой человек, – вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. – Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? – хлопнул он меня по плечу. – А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом.

Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.

В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек, на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.

Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.

Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.

Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.

Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной, черной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.

Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел, должно быть к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.

— Возьми, — сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. — Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку. — Понял? — повторил дядя. — Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили.

Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул.

– Иди, – сказал он, – делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо.

Я пошел. По пути я прощупал сумочку: внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, по-видимому, кожаная, и вместо воды набита бумагой.

Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.

Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака.

Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся? – глотая воздух, подумал я. – Рита-та-та! Трата-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»

– Ну? – спросил, встречая меня, дядя.

– Все сделано, – тихо ответил я.

– Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть – вон на столе колбаса, булка, яблоки.

От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.

– Вы бы мальчика спать уложили, – посоветовала старушка. – Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.

– Ну, что за красные! – ответил ей дядя. – Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра – дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.

– С умным человеком отчего не договориться, –

вздохнула старушка. – А у меня сын Володька, бывало, говорит, говорит. Эх, говорит, мама, никак мы с тобой не договоримся!.. Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шалопай, капитаном, что ли.

Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?

Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.

Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так! Били часы. Кричал радиоприемник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица, и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:

*Сергей-барабаник,
Солдатский обманик,
Что ты бьешь в барабан?
Еще спит капитан.*

«Но! Но! – говорю я. – Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками».

Ту-у! – взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки; жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, и пассажиры в страхе бросились к окнам.

Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.

Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.

Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.

– Успокойтесь, граждане! – унылым голосом закричал проводник. – Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!

– Напьются и безобразят! – вздохнул дядя. – Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.

Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошел.

И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.

Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово.

Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.

– Пора! Давно пора! – сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.

– Мальчик! – не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. – Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться.

– Да, да! – болезненным голосом подтвердил Яков. – Попроси, милый!

«Милый»? Хорош «милый»! Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму крикну проводника да еще передам ему и эту сумку!

Проводник как раз шел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла.

«Сказать или не сказать»?

— Молодой человек, — спросил вдруг проводник, — что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий.

— Да, — пробормотал я, — но мне же нужно... и они меня посылают.

— Я не знаю, что вам нужно, — перебил меня проводник, — а мне нужно, чтобы в мои купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?

«Поздно! — испугался я. — Теперь уже говорить поздно... Смотри, берегись, осторожней!...»

— Да, — вздрагивающим голосом ответил я, — но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке.

— Так давайте мне сюда эту грелку, — протянул руку проводник, — для больного старика я и сам это сделаю.

— Но ему уже больше не нужно, — пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я. — У него уже совсем прошло!

— Ну, не нужно, так и не нужно! — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник. — А ходить вы

сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют.

Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо.

– Молодец! – тихо похвалил меня он. – Талант! Капабланка!

И странно! То ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки: и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий.

Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.

– Герой! – с восхищением сказал дядя. – Геркулес! Гений! – Он посмотрел на часы. – Идем, через пять минут станция.

– И тогда что?

– И тогда все! Иди забирай вещи.

Поезд уже гудел; застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарем пошел налево, к выходу. Мы взяли сумки. Изо всего купе не спала только одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь, мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава.

У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились.

Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, пробежал совершенно здоровехонький старик Яков.

Здесь друзья обнялись, как будто не видались полгода. Поезд свистнул и умчался. А мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла прийти розыскная телеграмма. А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники.

Много ли добра было в желтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во время переполоха с внезапной остановкой поезда (тормоз рванул, конечно, дядя), — этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем не веселы. Помню я, как на зеленом пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковым крупный спор. О чем? Не знаю.

Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая, в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживленно разговаривали и все поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идет обо мне.

Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и тверд, потому что счастье мое лежит уже не за горами.

Слушать все это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные еще не окончены.

Но вдруг, где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков.

И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким теплым утром мы подъезжали к какому-то невиданно прекрасному городу.

С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки – птицы, которых я видел первый раз в жизни.

Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвой, до того зеленой и сочной, что, казалось, прыгни на нее сверху – без всякого парашюта, а просто так, широко раскинув руки, – и ты не пропадешь, не разобьешься, а нырнешь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось – дворцы, башни, светлые, величавые. И, пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом.

Дядя дернул меня за плечо:

– Друг мой! Что с тобой: столбняк, отупение? Я кричу, я дергаю... Давай собирай вещи.

– Это что? – как в полусне, спросил я, указывая рукой за окошко.

– А, это? Это все называется город Киев.

Светел и прекрасен был этот веселый и зеленый город. Росли на широких улицах высокие тополи и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как еще били! Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на веселые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на севере, все были одеты – ярче, проще, легче, – только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

– Киевляне! – вытирая платком лоб, усмехнулся дядя. – Это такой народ! Его колоти, а он все танцевать будет! Сойдем, Сергей, с трамвая, отсюда и пешком недалеко.

Мы свернули от центра. То дома высились у нас над головой, то лежали под ногами. Наконец мы вошли в ворота, прошли через двор в проулок – и опять ворота. Сад густой, запущенный. Акация, слива, вишня, у забора лопух.

В глубине сада стоял небольшой двухэтажный дом. За домом – зеленый откос, и на нем полинялая часовенка.

Верхний этаж дома был пуст, окна распахнуты, и на подоконниках скакали воробьи.

– Стой здесь, – сбрасывая сумку, приказал дядя, – а я сейчас все узнаю.

Я остался один. Кувыркаясь и подпрыгивая, выскочили мне под ноги два здоровых дымчатых котенка и, фыркнув, метнулись в дыру забора.

Слева, в саду, возвышался поросший крапивой бугор, на котором торчали остатки развалившейся каменной беседки. Позади, за беседкой, доска в заборе была выломана, и отсюда по откосу, мимо часовенки, поднималась тропинка. Справа на площадке лежали сваленные в кучу маленькие скамейки, столы, стулья. И теперь я угадал, что в доме этом зимой бывает детский сад. А сейчас, на лето, они уехали, конечно, куда-либо за город. Оттого наверху и пусто.

– Иди! – крикнул мне показавшийся из-за кустов дя-

дя. – Все хорошо! Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем. Молоко пить будем. Аромат кругом... Красота! Не сад, а джунгли.

Возле заглохшего цветника нас встретили.

Высокая седая старуха с вздрагивающей головой и с глубоко впавшими глазами, опираясь на черную лакированную палочку, стояла возле морщинистого бородатого человека, который держал в руках длинную метлу.

Сначала я подумал, что это старухин муж, но, оказывается, это был ее сын.

– Дорогих гостей прошу пожаловать! – сказала старуха надтреснутым, но звучным голосом. Она сухо поздоровалась со мной и, откинув голову, приветливо улыбнулась дяде. – Спаситель! Ах, спаситель! – сказала она, постучав костлявым пальцем по плечу дяди. – Полысел, потолстел, но все, как я вижу, по-прежнему добр и весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный, а время летит... время!..

В продолжение этой совсем непонятной мне речи бородатый сын старухи не сказал ни слова.

Но он наклонял голову, выкидывал вперед руку и неуклюже шаркал ногой, как бы давая понять, что и он всецело разделяет суждения матери о дядиных благородных качествах.

Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше, положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки, скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника, чирикали птицы.

И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно.

И еще хорошо мне было оттого, что старуха назвала дядю и добрым и благородным. Значит, думал я, не всегда же дядя был пройдохой. А может быть, я и сейчас чего-то не понимаю. А может быть, все, что случилось в вагоне, это задумано злобным и хитрым стариком Яковым. А теперь, когда Якова нет, то, может быть, все оно и пойдет у нас по-хорошему.

Дядя дернул меня за нос и спросил, о чем я задумался. Он был добр. И, набравшись смелости, я сказал ему, что лучше, чем воровать чужие сумки, жить бы нам спокойно вот в такой хорошей комнате, где под окном орешник, черемуха. Дядя работал бы, я бы учился. А злобного старика Якова пусть заперли бы санитары в инвалидный дом. И пусть он сидел бы там, отдыхал, писал воспоминания о прежней своей боевой жизни, а в теперешние наши дела не вмешивался.

Дядя упал на кровать и расхохотался:

– Ха-ха! Хо-хо! Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский! В цирк его, в борцы! Гладиатором на арену! Музыка, туш! Рычат львы! Быки воют! А ты его в инвалидный!

Тут дядя перестал смеяться. Он подошел к окну, сломал веточку черемухи и, постукивая ею по своим коротким ногам, начал мне что-то объяснять.

Он объяснил мне, что вор не всегда есть вор, что я еще молод, многого в жизни не понимаю и судить старших не должен. Он спрашивал меня, читал ли я Чарлза Дарвина, Шекспира, Лермонтова и Демьяна Бедного. И когда у меня от всех его вопросов голова пошла кругом, и уж не помню,

с чем-то я соглашался, чему-то поддакивал, то он оборвал разговор и спустился в сад.

Я же, хотя толком ничего и не понял, остался при том убеждении, что если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена. Они тянут все, что попадет под руку, и чем больше, тем лучше. Потом, как я видел в кино, они делят деньги, устраивают пирушку, пьют водку и танцуют с девчонками танец «Елки-палки, лес густой», как в «Путевке в жизнь», или «Танго смерти», как в картине «Шумит ночной Марсель».

Дядя же мой не пьянствовал, не танцевал. Пил молоко и любил простоквашу.

Дядя ушел в город. В раздумье бродил я по комнатам. На стене в коридоре висел пыльный телефон. Очевидно, с тех пор как уехал детский сад, звонили по нему не часто. Заглянул я в чулан – там стояло изъеденное молью, облезлое чучело рыжего медвежонка. Слазил по крутой лесенке на чердак, но там была такая духота и пылища, что я поспешно спустился вниз.

Вечерело. Я вышел в сад. В глухом уголку, за разваленной беседкой, лежал в крапиве мраморный столб. Я разглядел на его мутной поверхности такую надпись:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК И КАВАЛЕР
ИОГАНН ГЕНРИХОВИЧ ШТОКК.

Тут же в крапиве валялся разбитый ящик и рассохшаяся бочка.

Было тепло, тихо, крепко пахло резедой и настурциями. Где-то далеко на Днепре загудел пароход.

Когда гудит пароход, я теряюсь. Как за поручни, хочется схватиться мне за что попало: за ствол дерева, за спинку скамейки, за подоконник. Гулкое, многоголосое эхо его всегда торжественно и печально.

И где бы, в каком бы далеком и прекрасном краю человек ни был, всегда ему хочется плыть куда-то еще дальше, встречать новые берега, города и людей. Конечно, если только человек этот не такой тип, как злобный Яков, вся жизнь которого, вероятно, только в том и заключается, чтобы охать, ахать, представляться больным и тянуть у доверчивых пассажиров их вещи.

Но вот я насторожился. В саду, за вишнями, кто-то пел. Да и не один, а двое. Мужской голос – ровный, приглушенный и женский – резковатый, как бы надтреснутый, но очень приятный.

Тихонько продвинулся я вдоль аллеи. Это были старуха и ее бородатый сын. Они сидели на скамейке рядом, прямые, неподвижные, и глядя на закат, тихо пели: «Цветы бездумные, цветы осенние, о чем вы шепчетесь в пустом саду?..»

Я был удивлен. Я еще никогда не слышал, чтобы такие древние старухи пели. Правда, жила у нас во дворе дворникова бабка, так и она, когда качала их горластого Гошку, тоже пела: «Ай, люли, ай, люли! Волки телку увели», – но разве же это песня?

– Дитя! – позвала вдруг кого-то старуха.

Я обернулся, но никого не увидел.

– Дитя, подойди сюда! – опять позвала старуха.

Я снова оглянулся – нет никого.

– Тут никого нет, – смущенно сказал я, высовываясь из-за куста. – Оно, должно быть, куда-нибудь убежало.

– Кто оно? Глупый мальчик! Это я тебя зову.

Я подошел.

– Пойди и посмотри, не коптит ли на кухне керосинка.

– Хорошо, – согласился я, – только я не знаю, где у вас кухня.

– Как ты не знаешь, где у нас кухня? – строго спросила старуха. – Да я тебя, мерзавца, из дому выгоню... на мороз, в степь... в поле!

Я ахнул и в страхе попятился, потому что старуха уже потянулась к своей лакированной палке, по-видимому, собираясь меня ударить.

– Мама, успокойтесь, – раздраженно сказал ее сын. – Это же не Степан, не Акимка. Это младший сын покойного генерала Рутенберга, и он пришел поздравить вас со днем ангела.

Трудно сказать, когда я больше испугался: тогда ли, когда меня хотели ударить, или когда я вдруг оказался сыном покойного генерала.

Вскрикнув, шарахнулся я прочь и помчался к дому. Вбежав по шаткой лесенке, я захлопнул на крючок дверь и дрожащими руками стал зажигать лампу. И только что я снял стекло, как услышал шаги. По лестнице за мной кто-то шел...

Крючок был изогнутый, слабенький, и его легко можно было открыть снаружи, просунув карандаш или даже палец. Я метнулся на терраску и перекинул ногу через перила.

В дверь постучались.

– Эй, там, Сергей! – услышал я знакомый голос. – Ты спишь, что ли?

Это был дядя.

Торопливо рассказал я дяде про свои страхи.

Дядя удивился.

– Кроткая старуха, – сказал он, – осенняя астра! Цветок бездумный. Она, конечно, немного не в себе. Преклонные годы, тяжелая биография... Но ты ее испугался напрасно.

– Да, дядя, но она хотела меня треснуть палкой.

– Фантазия! – усмехнулся дядя. – Игра молодого воображения. Впрочем... все потемки! Возможно, что и треснула бы. Вот колбаса, сыр, булки. Ты есть хочешь?

За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь, при детском доме, сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то оркестре.

Мы легли спать рано. Окно было распахнуто, и сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.

– Дядя, – спросил я, – отчего эта старуха называла вас днем и добрым и благородным? Это она тоже с дури? Или что-нибудь тут на самом деле?

– Когда-то, в восемнадцатом, буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста, – ответил дядя. – А я был молод, великодушен и вступился.

– Да, дядя. Но если она была кроткая или, как вы говорите, цветок бездумный, то за что же?

– Там, на войне, не разбирают. Кроме того, она тогда была не кроткая и не бездумная. Спи, друг мой.

– Дядя, – задумчиво спросил я, – а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались, а не спустили и вас вниз головой с моста?

– Я бы им, подлецам, спустил! За мной было шесть всадников, да в руках у меня граната! Лежи спокойно, ты мне уже надоел.

– Дядя, – помолчав немного, не вытерпел я, – а какие это были солдаты? Белые?

– Лежи, болтун! – оборвал меня дядя. – Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова и винтовка-трехлинейка с пятью патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату.

...Мои пытливые расспросы, очевидно, встревожили дядю. Через день, когда мы гуляли над Днепром, он спросил меня, хочу ли я вообще возвращаться домой.

Я задумался. Нет, этого я не хотел. После всего, что случилось, Валентинин муж, вероятно, уговорит ее, чтобы меня отдали в какую-нибудь исправительную колонию. Но и оставаться с дядей, который все время от меня что-то скрывал и прятал, мне было не по себе.

И дядя, очевидно, меня понял. Он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то, если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.

Я никогда не слыхал о такой школе. Тогда он объяснил мне, что есть такая школа, куда принимают мальчиков лет четырнадцати-пятнадцати. Там же, при школе, они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми

матросами, а потом, кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.

Я вспомнил вчерашний пароходный гудок, и сердце мое болезненно и радостно сжалось. «За что? – думал я. – И для чего же вот этот непонятный и даже какой-то подозрительный человек заботится обо мне и хочет сделать для меня такое хорошее дело?»

– А вы? – тихо опросил я. – Вы тоже будете жить в Одессе?

– Нет, – ответил дядя. – Разве я тебе не говорил, что я живу в городе Вятке, заведу отделом народного образования и занимаюсь научной работой?

«Не беда! – подумал я. – Ну и пускай в Вятке. Так, может быть, даже лучше. А то вдруг приехал бы в Одессу ненавистный старик Яков, – вот тебе, глядишь, и пропала опять вся научная работа!»

Щеки мои горели, и я был взволнован. «Проживу один, – думал я. – Начну все заново. Буду учиться. Буду стараться. Буду лазить по мачтам. Смотреть в бинокль. Вырасту скоро. Надену черную форменку... Вот я стою на капитанском мостике. Дзинь, дзинь! Тихий ход вперед! Вот она, стоит на берегу и машет мне платком... Нина! Прощай, Нина, прощай! Уплываем в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все – приеду, тебе расскажу и с чужих берегов привезу подарок».

И так замечтался я, что не заметил, как встал со скамьи, куда-то сходил и опять вернулся мой дядя.

– Но пока тебе будет скучно, – сказал дядя. – Несколько дней я буду занят. И, чтобы ты мне не мешал, давай по-

знакомимся с кем-нибудь из ребят. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, экое кругом веселье!

Ребят на площадке было много. Они лазили по лестницам и шестам, кувыркались и прыгали на пружинных сетках, толпились около стрелкового тира, бегали, баловались и, конечно, задирали девчонок, которые здесь, впрочем, спуска и сами не давали.

— С кем же мне, дядя, познакомиться? — растерянно оглядываясь, спросил я. — Народу кругом такая уйма.

— А мы поищем — и найдем! — ответил дядя и потащил меня за собой.

Он вывел меня к краю площадки. Здесь было тихо, под липами стояли рабочие столики и торчала будочка с материалом и инструментами.

Тут дядя показал мне на хрупкого белокурого мальчика, который, поглядывая на какой-то чертеж, выстругивал ножом тонкие белые планочки.

— Ну вот, хотя бы с этим, — подтолкнул меня дядя. — Мальчик, сразу видно, неглупый, симпатичный.

— Дохловатый какой-то, — поморщился я. — Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут.

— Экое дело, скачут! Козел тоже скачет, да что толку? А то мальчик машину какую-то строит. Из такого скакуна клоун выйдет. А из этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь... изобретатель. Да ты про Эдисона слыхал ли?

— Слыхал, — буркнул я. — Это который телефон выдумал.

— Ну, вот и пойди, пойди, познакомься, а я тут в тени газету читаю.

Белокурый мальчик с большими серыми глазами ос-

тавил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я сел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль. Он не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу, и только тихо сказал:

– Ты, пожалуйста, не сломай планку, она очень тонкая.

– Нет, – усмехнулся я, – не сломаю. Это ты что мастеришь? Трактор?

– О, что ты! – удивленно ответил мальчик. – Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.

– «Тонкая»! «Тонкая»! – позабывая дядины наставления, передразнил я. – Ты бы лучше шел на сетку кверху ногами прыгать, а то все равно потом выкрасить да выбросить.

Мальчик поднял на меня задумчивые серые глаза. Грубость моя его, очевидно, удивила, и он подыскивал слова, как мне ответить.

– Послушай, – тихо сказал он. – Я тебя к себе не звал. Не правда ли? Если тебе нравится прыгать на сетке, походи и прыгай. – Он замолчал, сел, взял циркуль и, взглянув на мое покрасневшее лицо, добавил: – Я тоже люблю лазить и прыгать, но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя.

Он вздохнул и улыбнулся.

Краска все гуще и гуще заливала мне щеки, как будто я лицом попал в крапиву.

– Извини, – сказал я. – Это я дурак... Может быть, тебе помочь? Мне все равно делать нечего.

Теперь смутился сероглазый мальчик.

– Почему же дурак? – запинаясь, возразил он. – Зачем это? Ну, если хочешь, возьми этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки. Постой, они тебе так не дадут! У тебя ученический билет не с собой? Ну, тогда возьми мой. – И он протянул мне затрепанную красную книжечку.

Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия – Грачковский. Он был мне ровесник.

Мы дружно мастерили двигатель, когда к нам подошел дядя и протянул две плитки мороженого.

– Мы познакомились, – объяснил я. – Его зовут Славой. И он прыгнул из горящего самолета на парашюте.

– Чаще меня зовут Славка, – поправил мальчик. – А с парашютом это я не сам прыгнул – меня отец выкинул. Я же только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.

– Но она ходит?

– Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. – Он посмотрел на дядю, улыбнулся и спросил: – Это вы вчера стреляли в тире и поправили меня, чтобы я не сваливал набок мушку? Ой, вы хорошо стреляете!

– Старый стрелок-пехотинец, – скромно ответил дядя. – Стрелял в германскую, стрелял и в гражданскую.

«Эге, стрелок-пехотинец! – покосился я на дядю. – Так ты уже давно Славку приметил! А я-то думал, что мы его в товарищи выбрали случайно!»

Вскоре мы со Славкой расстались и уговорились завтра встретиться здесь же.

– Вот человек! – похвалил дядя Славку. – Это тебе не то что какой-нибудь молодец, который только и умеет к ма-

чехе... в ящик... Ну, да ладно, ладно! Ты с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит! Порох!.. Вспышка голубого магния! Ты давай-ка с ним покрепче познакомься... Домой к нему зайди... Посмотришь, как он живет, чем в жизни занят, кто таковы его родители... Эх, – вздохнул дядя, – кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня, вздохи, мечты и слезы... Нет, нет! Ты с ним обязательно познакомься; он скромненький, благородный, и я с удовольствием пожал его молодую руку.

Дядя проводил меня только до церковной ограды.

– Вот, – сказал он, – спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора – и ты в саду, дома. Днем да без вещей здесь куда ближе. А я приду попозже.

Посвистывая, осторожно спускался я по крутому склону. Добравшись уже до разваленной беседки, я услышал шум и увидел, как во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы ее были растрепаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

– Послушай! – запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он. – Не можешь ли ты отрубить ей голову?

– Нет, нет, не могу! – завопил я, отскакивая на сажень в сторону. – Я... я кричать буду!

– Но она же, дурак, курица! – гневно гаркнул на меня бородатый. – Мы насилу ее поймали, и у меня дрожат руки.

– Нет, нет! – еще не оправившись от испуга, бормотал я. – И курице не могу... Никому не могу... Вы погодите... Вот придет дядя, он все может.

Я пробрался к себе и лег на кровать. Было теперь неловко, и я чувствовал себя глупым. Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.

Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались.

Потом стал читать происшествия. Здесь все было куда как понятней.

Вот автобус налетел на трамвай – стекла выбиты, жертв нет. «Не зевай, шофер, счастливо еще отделался!»

Вот шестилетний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое: его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. «Молодцы люди! А мальчишке дома надо бы задать деру».

А вот объявление: какой-то дяденька продает велосипед, он же купит заграничную шляпу. «Глупо! Я бы никогда не продал. Черта ли толку в шляпе да без велосипеда?» А вот, стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот... ищут меня... «Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить: Москва, телефон Г 0-48-64».

«Так, так! Значит, вернулась Валентина. Телефон не наш, не домашний, значит, ищет милиция».

Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце.

Долго и тупо глядел. «Да, да, вон он и я. Вот брюнет. Вот родинка».

«Разыскивается...» Слово это звучало тихо и приглушенно. Но смысл его был грозен и опасен.

Вот они скользят по проводам, телеграммы: «Ищите! Ищите!.. Задержите!» Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. «Да, – говорят они, – товарищ начальник! Мы найдем гражданина Сергея Щербачова, четырнадцать лет, брюнета, с родинкой, – того, что выламывает ящики и продает старьевщикам чужие вещи, Он, вероятно, живет в каком-нибудь городе со своим подозрительным дядей, например в Киеве, и мечтает безнаказанно поступить в мичманскую школу, чтобы плавать на советских кораблях в разные страны. Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвертого отряда, вероятно, будет плакать и оправдываться, что все вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осужден тоже».

Я швырнул зеркало и газету. Да! Все именно так, и оправдываться было нечем.

Ни возвращаться домой, ни попадать в исправительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу. И я решил бороться за свое счастье.

Насухо вытер я глаза и вышел на улицу.

Постовые милиционеры, дворники с бляхами, прохожие с газетой – все мне теперь казались подозрительными и опасными.

Я зашел в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка, до тех пор, пока покупатели не стали опасно поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо.

Я попросил тюбик хлородонта и поспешно вышел.

Потом я очутился возле парикмахерской. Зашел.

– Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрик? – равнодушно спросил парикмахер.

– Нет, – сказал я. – Бритвой снимайте наголо.

Пряди темных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове, узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело...

Уши теперь торчали, и голова стала круглой. На лице резче выступил загар.

Вышел, выдавил из тюбика немного зубной пасты, смазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели: попробуй-ка разбери теперь, брюнет или рыжий.

Сверкали на улице фонари. Пахло теплым асфальтом, табаком, цветами и водой.

«Никто теперь меня не узнает и не поймает, – думал я. – Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было».

Влажный ветерок охлаждал мою бритую голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начинать заново и быть теперь человеком прямым, смелым и честным.

Было уже поздно, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем.

Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскользываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны – значит, дядя еще не возвращался.

Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие мое останется незамеченным. Тихо, чтобы не разбудить

внизу хозяев, подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится.

Но то дядя, а то я! Мне же, особенно после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно.

Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернется скоро.

Так я просидел с полчаса или больше. На траву, на листья пала роса. Мне становилось холодно, и я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело – курица! А вдруг вот дядя где-нибудь заночует, – что тогда делать?

Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко и оно, кажется, не запирается.

Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазлся в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сени.

Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы никого не потревожить, пробирался домой. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое?.. Спокойней!

Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы.

Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков совсем не исчез – там, далеко, в Липецке, – а где-то притаился здесь, совсем рядом.

Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело.

Тихонько поднялся я наверх – и опять стоп!

Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома.

Прислушался. Разговаривали двое: дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.

– Вот, – говорил дядя, – сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда. Понятно?

– Понятно!

Куда «туда» и куда «сюда», – мне это было совсем непонятно.

– Теперь все убрать. И куда это мой мальчишка запропал? (Это обо мне.)

– Вернется! Или немного заблудился. А то еще в кино пошел. Нынче дети какие! А мать у него кто?

– Мачеха! – ответил дядя. – Кто ее знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно, через своего человека напали. Мачеха на Кавказе. Мальчишка один. Квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет.

«Как кто ее знает? – ахнул я. – Ведь ты же мой дядя!»

– Ну, и последнее готово! Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку. Но куда же все-таки запропал мальчишка?

Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.

– Это ты, бродяга? Наконец-то! – раздался сверху дядин голос.

– Да, я.

– Тогда погоди, штаны да туфли надену, а то я прямо с постели.

Прошло еще минуты три, пока дядя спустился по лестнице.

– Ты что же полуночишаешь? Где шатался?

– Я вышел погулять... Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, я шел, да и немного заблудился.

– Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил? – проворчал дядя.

Но я уже понял, что ругать он меня не будет и, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было.

В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел.

И только сейчас, лежа в постели, я наконец, понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах – не то эфира, не то еще какой-то дряни. «Очевидно, – подумал я, – дядя опять какое-то лекарство пролил... Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу, и, оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя!»

Тогда, осененный новой догадкой, я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых.

«А может быть, – думал я, – дядя мой совсем и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь ученый или

химик. Никто не признает его изобретения, или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается. Но... я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно... Верно, что я уже и сегодня успел соврать и про трамвай и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый. „Ты, – говорит, – погоди... Я только что с постели“. Нет, брат! Тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик!»

Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бегал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой.

Однажды в парк зашел Славкин отец, тоже худой, белокурый человек с тремя шпалами в петлицах.

Прищурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора.

С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но, оказывается, Славкин отец был совершенно прав.

Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и, тихонько насвистывая, быстро

пошел через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятишек.

– Догадливый! – сказал я. – Только подошел, глянул – крак! – и выломал.

– Еще бы не догадливый! – спокойно ответил Славка. – Такая уж у него работа.

– Он военный инженер? Он что строит?

– Разное, – уклончиво ответил Славка и с гордостью добавил: – Он очень хороший инженер! Это он только такой с виду.

– Какой?

– Да вот какой! – смеется и язык высунул... Ты думаешь, он молодой? Нет, ему уже сорок два года. А твоему отцу сколько? Он кто?

– У меня дядя... – запнулся я. – Он, кажется, ученый... химик...

– А отец?

– А отец... отец... Эх, Славка, Славка! Что же ты, искал, искал контргайку, а сам ее каблуком в песок затоптал – и не видишь.

Наклонившись, долго выковыривал я гайку пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с нее песчинки.

Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым, – язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осужден за растрату.

Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего, замаял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу.

На другой день дядя вызвался проводить меня в гости к

Славке. Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой – в одну квартиру.

Встретили нас Славка и его бабка – старуха хлопотливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу.

Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру. Он был огорчен тем, что не застал Славкиного отца дома, и через полчаса ушел, пообещавшись зайти в другой раз.

Едва только он ушел, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку, причем Славка – нет, чтобы за меня заступиться, – сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал.

Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные. Напечатанные на шершавой, грубой бумаге, теперь уже полинявшие, потертые, они рассказывали о далеких днях гражданской войны.

Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светло-синяя сабля. Небо синее, земля, деревья и трава – черно-синие. Возле человека осталось всего четыре товарища, и на их папах, на мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды.

Внизу, под открыткой, подпись: «Смерть шахтер-комиссара Андрея Бутова с товарищами в бою под Кременчугом». И еще помельче: «Напечатано походной типографией 12-й армии, 1919 г.».

– Это очень редкая открытка, – бережно разглаживая ее, объяснил мне Славка. – Их всего-то, может, и было напечатано штук двести-триста. Ну и вот эта тоже попадает не часто. Тут, смотри, со стихами: «Гей, гей! Не робей!» Видишь, это красные гонят Юденича. А вот без стихов... Тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал, должно быть. А на небе тучи... тучи... А это просто так... девчонка с наганом. Комсомолка, наверное. Видишь, губы сжала, а глаза веселые. Они теперь повзростали. У мамы подруга есть, Комкова Клавдюшка, тоже там была... Так ей теперь уже тридцать шесть, что ли... Э-э, брат! погоди, погоди! – рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня, потом опять в альбом, потом схватил со столика зеркало. – А это кто?

Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем молоденького паренька в такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура, в руке он держал трубу.

– Как кто? Сигналист! Тут так и написано.

– Это ты! – подвигая мне зеркало, обрадовался Славка. – Ну, посмотри, до чего похоже! Я еще когда тебя в первый раз увидел – на кого, думаю, он так похож? Ну, конечно, ты! Вот нос... вот и уши немного оттопырены. Возьми! – сказал он, доставая из гнезда открытку. – У меня таких две, на твое счастье. Бери, бери да радуйся!

Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник.

Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи, и под их широкой тенью суетливо бегали маленькие желтые цыплята.

– Славка, – осторожно опросил я, – а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?

– Вылечат! – щурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка. – Ну, куда, дурак? Чего кричишь? – Он схватил заблудившегося цыпленка и бережно сунул его в лопухи. – Туда иди. Вон твоя компания. – Он отряхнул руки, прищелкнул языком и добавил: – Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

– Кто мы?

– Ну, мы... все...

– Кто все? Ты, папа, мама?

– Мы, люди, – упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза. – Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?

Я отвернулся. Я вынул из кармана окладной нож. Это был хороший кривой нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится.

– Возьми, – сказал я. – Дарю на память. Да бери, бери! Ты мне сигналиста подарил, и я взял!

– Но то – пустяк, – возразил Славка. – У меня есть еще, а у тебя другого ножа нет!

– Все равно бери! – твердо сказал я. – Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно.

– Хорошо, я возьму, – согласился Славка. – Спасибо. Только сигналист пусть в счет не идет. Но у меня есть карманный фонарь с тремя огнями – белый, красный и зеленый. И ты его возьмешь тоже... – Он подумал. – Только вот что: он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезет меня к ней в деревню, а сам в тот же день вернется обратно. Я его передам отцу, отец отдаст бабушке, а она – тебе. Дай честное слово, что ты зайдешь и возьмешь!

Я дал.

– Так ты уезжаешь? – пожалел я. – Далеко? Надолго?

– Надолго, до конца лета, к маме. Но это не очень далеко. Отсюда пароходом вверх по Десне километров семьдесят, а там от пристани километров десять лесом. Ну, пойдем к бабке на кухню.

– Бабушка, – сказал Славка, тыча ей под нос блестящий кривой нож. – Вот, мне подарили. Хорош ножик? Острый!

– Выкинь, Славушка! – посоветовала старуха. – Куда тебе такой страшный? Еще зарежешься.

– Ты уж старая, – обиделся Славка, – и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, не даешь? Значит, сама видишь, что нож хороший! Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Ну, помнишь, я еще тебя около курятника напугал? И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него, запомнишь?

– Да запомню, запомню, – ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха. – Вы тут стойте, не уходите, я сейчас вас кормить буду.

– Только не меня! – испугался я. – Это его... я уже кормленный...

– Ладно, ладно! – отскакивая к двери, согласился Славка, и уже у самого порога он громко закричал: – Только я гречневой каши есть не буду-у-у!

– Врешь, врешь! Все будешь, – ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартуком, жалобно добавила: – Кабы тебя, милый мой, с ероплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает «не буду»!

Славка проводил меня до калитки, и тут мы с ним попрощались, потому что в следующие два дня он должен

был принимать в клинике какие-то ванны и на площадку прийти не обещался.

Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу.

Дяди дома не было. Я сел за стол у распахнутого окошка, отвинтил крышку дядиной походной чернильницы, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.

Это оказалось вовсе не таким трудным, как говорил мне дядя.

Например, через полчаса уже получилось:

*Из Одессы капитан
Уплывает в океан.
На борту стоят матросы,
Лихо курят папирасы.
На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица!
Потому что, налетая,
Всем покоя не давая,
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.*

Выходило совсем неплохо. Я уже хотел было продолжать описание дальнейшей судьбы отважного корабля и опечаленных разлукой девиц, как меня позвала старуха.

С досадой высунулся я через окно, раздвинул ветви орешника и вежливо спросил, что ей надо.

Она приказала мне слазить в погреб и поставить для дяди на холод кринку простокваши.

Я покривился, однако тотчас же вышел и полез.

Вернувшись, я попробовал было продолжать свои стихи, но, увы, – вероятно, оттого, что в сыром, темном погребе я стукнулся лбом о подпорку, – вдохновение исчезло, и ничего у меня дальше не получалось.

Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился новому моему таланту.

Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди, под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка.

Пачку эту я развернул, достал несколько листиков и стал переписывать. Только что успел я дойти до половины, как опять меня позвала старуха. Я высунулся через окошко и теперь уже довольно грубо спросил, что ей от меня надо. Она приказала мне лезть в погреб и достать пяток яиц, потому что ей надо ставить тесто для блинчиков, которых, конечно, дядя захочет поесть вместе с простоквашей.

Я плюнул. Выскочил. Полез. Долго возился, отыскивая впотьмах корзинку, и, вернувшись, твердо решил больше на старухин зов не откликаться. Сел за стол. Что такое? Листка с моими стихами на столе не было. Удивленный и даже рассерженный, заглянул под стол, под кровать... Распахнул дверь коридора. Нету!

И я решил, что, должно быть, в мое отсутствие в комнату заскочили два наших сумасшедших котенка и, прыгая, кувыркаясь, как-нибудь уволокли листок за окно, в сад. Вздохнув, я взялся переписывать наново. Дописал до половины, загляделся на скачущего по подоконнику воробья и задумался.

«Вот, — думал я, — клюнет, подпрыгнет, посмотрит, опять клюнет, опять посмотрит... Ну, что, дурак, смотришь? Что ты в нашей человеческой жизни понимаешь? Ну хочешь? Слушай!»

Я потянулся к листку со стихами и, просто говоря, обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, как сухой белый лед, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

Крепкая рука опустилась мне на плечо, и, едва не слетев со стула, я увидел незаметно подкравшегося ко мне дядю.

— Ты что же это, негодяй, делаешь? — тихо и злобно спросил он. — Это что у тебя такое?

Я вскочил, растерянный и обозленный, потому что никак не мог понять, почему это мои стихи могли привести дядю в такую ярость.

— Ты где взял бумагу?

— Там, — и я ткнул пальцем на кровать.

— «Там, там»! А кто тебе, дряни такой, туда позволил лазить?

Тут он схватил листки, в том числе и те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац, в папку.

Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.

— Что вам от меня надо? — крикнул я. — Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем — ничего не знаю! Вам жалко трех листочков бумаги, а когда в вагонах... так

чужого вам не жалко! Что я вас, ограбил, обокрал? Ну, за что вы на меня сейчас набросились?

Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву...

Очевидно, дяде и самому вскоре стало неловко.

– Послушай, друг мой, – услышал я над собой его голос. – Конечно, я погорячился, и бумаги мне не жалко. Но скажи, пожалуйста... – тут голос его опять стал раздраженным, – что означают все эти твои фокусы?

Я недоуменно обернулся и увидел, что дядя тычет себе пальцем куда-то в живот.

– Но, дядя, – пробормотал я, – честное слово... я больше ничего...

– Хорошо «ничего»! Я пошел утром переменить брюки, смотрю – и на подтяжках, да и внизу, – ни одной пуговицы! Что это все значит?

– Но, дядя, – пожал я плечами, – для чего мне ваши брючные пуговицы? Ведь это же не деньги, не бумага и даже не конфеты. А так... дрянь! Мне и слушать-то вас прямо-таки непонятно.

– Гм, непонятно?! А мне, думаешь, понятно? Что же, по-твоему, они сами отсохли? Да кабы одна, две, а то все начисто!

– Это старуха срезала, – подумав немного, сказал я. – Это ее рук дело. Она, дядя, всегда придет к вам в комнату, меня выгонит, а сама все что-то роется, роется... Недавно я сам видел, как она какую-то вашу коробочку себе в карман сунула. Я даже хотел было сказать вам, да забыл.

– Какую еще коробочку? – встревожился дядя. – У меня, кажется, никакой коробочки... Ах, цветок бездумный и

безмозглый! – спохватился дядя. – Это она у меня мыльный порошок для бритья вытянула. А я-то искал, искал, перерыл всю комнату! Глупа, глупа! Я, конечно, понимаю: повороты судьбы, преклонные годы... Но ты когда увидишь ее у нас в комнате, то гони в шею.

– Нет, дядя, – отказался я. – Я ее не буду гнать в шею. Я ее и сам-то боюсь. То она меня зовет Антипкой, то Степкой, а чуть что – замахивается палкой. Вы лучше ей сами скажите. Да вон она возле клумбы цветы нюхает! Хотите, я вам ее сейчас кликну?

– Постой! Постой! – остановил меня дядя. – Я лучше потом... Надоело! Ты теперь расскажи, что ты у Славки делал.

Я рассказал дяде, как провел время у Славки, как он подарил мне сигналиста, и пожалел, что через три дня Славку отец увезет к матери.

Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.

– Ты хороший мальчик, – похвалил меня дядя. – С первой же минуты, как только я тебя увидел, я сразу понял: «Вот хороший, умный мальчик. И я постараюсь сделать из него настоящего человека». Ге! Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Начальник мичманской школы – мой друг. Помощник по учебной части – тоже. Там тебе будет хорошо. Да, хорошо. Конечно, многое... то есть, гм... кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным, но все, что я делаю, это только во имя... и вообще для блага... Помнишь, как у Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь...»

– Дядя, – задумчиво спросил я, – а вы не изобретатель?

– Тсс... – приложив палец к губам и хитро подмигнув мне, тихо ответил дядя. – Об этом пока не будем... ни слова!

Дядя стал ласков и добр. Он дал мне пятнадцать рублей, чтобы я их, на что хочу, истратил. Похлопал по правому плечу, потом по левому, легонько ткнул кулаком в бок и, сославшись на неотложные дела, тотчас же ушел.

Прошло три дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось – в парк он больше не приходил.

Бегая днем по городу, я остановился у витрины писчебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.

Вот она и Одесса! Рядом города – Херсон, Николаев, Тирасполь, слева – захваченная румынами страна Бессарабия, справа – цветущий и знойный Крым, а внизу, далеко – до Кавказа, до Турции, до Болгарии – раскинулось Черное море...

*...И волны бушуют вдали...
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от здешней земли.*

Нетерпение жгло меня и мучило.

Я заскочил в лавку и купил компас.

Кто его знает, когда еще он должен был мне пригодиться. Но когда в руках компас – тогда все моря, океаны, бухты, проливы, заливы, гавани получают свою форму-очертания.

Вышел и остановился у витрины опять.

А вот он и север! Кольский полуостров. Белое море. Угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут, на канале,

работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки.

Сорока... Сорока! Вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял. И если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином не торгуют, то я бы подумал, что писал он письмо немного выпивши.

Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за «хвосты» по математике.

Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причем писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть после этого чем похвалиться.

В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь еще не прошла и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропащего.

И это меня тогда удивило, потому что я был не слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорей так: что жизнь еще только начинается. Кроме того, никогда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот я считал его и умным и хорошим, но только если бы он не растрачивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как лучше!

И я решил, что, как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так — я верил сейчас крепко.

Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зовет:

– Мальчик, пойдика сюда!

Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе.

«Г 0-48-64!» – вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурок к моей открытой шее.

Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.

«Нет, – с ужасом подумал я, – бежать поздно! Вот она и расплата!»

– Мальчик! – повторил милиционер. – Что же ты стал? Подходи быстрее.

Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел.

– Да, – сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе.

– Да! Я вас слушаю!..

– Мальчик, – сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с желтого огня на зеленый, – будь добр перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.

Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял.

Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу, и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.

Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

– Так будь же все проклято! – гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. – Будь ты проклята, – бормотал я, – такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все. Как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

Так стоял я, вздрагивая; слезы катились, падали на осыпанные известкой сандалии, и мне становилось легче.

Кто-то тронул меня за руку.

– Мальчик, – участливо спросила меня молодая незнакомая женщина, – ты о чем плачешь? Тебя обидели?

– Нет, – вытирая слезы, ответил я, – я сам себя обидел.

Она улыбнулась и взяла меня за руку:

– Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?

Я замотал головой, сквозь слезы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу.

Кто его знает почему, мне казалось, что счастье мое было уже недалеко...

И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидал у нас в саду проклятого старика Якова.

Он сидел спиной ко мне, и они о чем-то оживленно разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями.

Я скользнул за кусты и боком, боком, вокруг холма с развалинами беседки, вышел к крылечку и прокрался наверх.

Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка. Поперхнулся. Зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем еще недавно. Полотенце было сырое – не просохло. На подоконнике валялся только один окурок, а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялась дядина кепка и мятая газета. Вот и все! Нет, не все. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черемухи я видел, что оба друга все еще разговаривают. Я открыл портфель.

Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл: орден Трудового Знамени, орден Красной Звезды, значок МОПР, значок члена Крым-ЦИК, иголка, катушка ниток, пузырек с валерьяновыми каплями. Еще носки, носки... А это?

И я осторожно вытащил из уголка портфеля черный браунинг.

Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да!.. Вот она, выщербленная рукоятка. Выдвинул обойму. Так и есть: шесть патронов и одного нет.

Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку.

«Что же делать? А что делается сейчас дома? Плевать там, конечно, на сломанный замок, на проданную горжетку! Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентинину мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут

потерянные деньги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продается и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее».

Кошкой отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был не Яков и не дядя – они все еще сидели в саду.

Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине.

Вошла старуха.

Лицо ее показалось мне что-то чересчур веселым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой – свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой. Потом взяла с тумбочки дядино зеркало. Посмотрела в него, улыбнулась. Потом, очевидно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула. Подумала. Сняла со стены полотенце и плевков с пола вытерла. «Ах ты, старая карга! – рассердился я. – А я-то этим полотенцем лицо вытираю!»

Потом старуха примерила белую кепку. Пошарила у дяди в карманах. Достала целую пригоршню мелочи. Отобрала одну монетку – я не разглядел, не то гривенник, не то две копейки, – спрятала себе в карман. Прислушалась. Взяла портфель. Порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова. Подержала ее, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и легкой, пританцовывающей походкой вышла из комнаты.

Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул

портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад.

Очутившись позади холма, я взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился. Вылез через дыру. Протыкнул кругом вдоль забора и остановился перед калиткой.

Тут я перевел дух, вытер лицо, достал из кармана компас и, громко напевая: «По военной дороге шел в борьбе и тревоге...», — распахнул калитку.

Дядя и старик Яков сразу же обернулись.

Как бы удивленный тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова.

Подошел, поздоровался и показал компас.

— Дядя, — сказал я, — посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?

— Моряк! Лаперузо! Дитя капитана Гранта! — похвалил меня дядя, очевидно довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит — без усов, без диагоналевой гимнастерки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе. — Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу: он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу.

Это было что-то новое. Но я не показал виду и молча кивнул головой.

– Ты должен быть терпелив, – сказал дядя. – Терпение – свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане... Впрочем, расскажу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?

– Домой торопился, – объяснил я. – Думал, как бы не опоздать к обеду.

– Нас сегодня старик Яков угощает, – сообщил дядя. – Не правда ли, добряк, ты сегодня тряхнешь бумажником? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдем в комнату. Там он с дороги отряхнется, почистится, и тогда двинем к ресторану.

Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света.

...Не прошло и трех минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним, без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков.

– Сергей! – закричал он. – Не видел ли ты здесь старуху?

– А она, дядечка, на заднем двореке голубей кормит. Вот, слышите, как она их зовет? «Гули, гули»!

– «Гули, гули»! – хрипло зарычал старик Яков. – Я вот ей покажу «гули, гули»!

– Только ласково! Только ласково! – предупредил на ходу дядя. – Тогда мы сейчас же... Мы это разом...

Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскочивших к ней мужчин.

– Только тише! Только ласково! – оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться еще от самой калитки.

– Добрый день, хорошая погода! – торопливо заговорил

дядя. – Птица-голубь – дар божий. Послушайте, мамаша, это вы нам сейчас принесли в комнату разные... цветочки, василечки, лютики?

– Для своих друзей, – начала было старуха, – для хороших людей... Ай-ай!.. Что он на меня так смотрит?

– Отдай добром, дура! – заорал вдруг старик Яков. – Не то тебе хуже будет!

– Только ласково! Только ласково! – загремел на Якова дядя. – Послушайте, дорогая: отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что вам оно? Вы женщина благоразумная (молчи, Яков!), лета ваши преклонные... Ну, что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу... Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено... Да затвори, Яков, калитку! Кого еще там черт несет?!

Но затворять было уже поздно: в проходе стоял бородастый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и коленопреклоненного дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чем дело.

– Мама, отдайте! – строго сказал ее сын. – Зачем вы это сделали?

– Но на память! – жалобно завопила старуха. – Я только хотела на добрую, дорогую память!

– На память! – взбесился тогда не вытерпевший дядя. – Хватайте ее! Берите!.. Вон он лежит у нее в кармане!

– Нате! Подавитесь! – вдруг совершенно спокойным и злым голосом сказала старуха и бросила на траву красную резиновую подвязку.

– Это моя подвязка! – торжественно сказал старик Яков. – Сам на днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!

Старуха швырнула ему под ноги две копейки и вывернула карман. Больше в карманах у нее ничего не было.

Два часа бились трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись... Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой.

До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного. И тогда, охрипшие, обозленные, дядя и Яков пошли одеваться.

Старик Яков переменял взмокшую рубаху. С удивлением глядел я на его могучие плечи; у него было волосатое загорелое туловище, и, как железные шары, перекатывались и играли под кожей мускулы.

«Да, этот кривоногий дуб еще пошумит, — подумал я. — А ведь когда он оденется, согнется, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка!»

Перед тем как нам уже уходить на пристань, подошел старухин сын и сообщил, что в уборной в яме плавает вторая красная подвязка.

Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же, по злобе, утопила и браунинг...

Но делать было нечего! Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому темному делу посторонних никто не захотел.

Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своем и, конечно, молчал.

На речной вокзал мы пришли рано. Только еще объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу.

Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову.

Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.

– Ба! – удивленно воскликнул он. – Посмотри-ка! А вот идет твой друг Славка!

– Разве тебе ехать в эту сторону? – бросаясь к Славке, спросил я.

– Я же тебе говорил, что вверх, – ответил Славка. – Ну-ка, посмотри, вода течет откуда?.. А ты куда? До Чернигова?

– Нет, Славка! Мы только провожаем одного знакомого.

– Жаль! А то вдвоем прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный... восьмикратный.

– Глядите, – остановил нас дядя. – Вон на воде какая комедия!

Крохотный, сердитый пароходишко, черный от дыма, отчаянно колотил по воде колесами и тянул за собой огромную, груженную лесом баржу.

Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда, сквозь щель меж занавесок, выглядывали его противные выпученные глаза.

«Сидишь, сыч, а свету боишься», – подумал я и потащил Славку на другое место.

Пароход дал второй гудок.

Дядя пошел к Якову, а мы попрощались со Славкой.

– Так не забудь зайти за фонарем, – напомнил он. – Отец вернется завтра обязательно.

– Ладно, зайду! Прощай, Славка! Будь счастлив!

– И ты тоже! Гей, папа! Я здесь! – крикнул он и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу.

Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер и, где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца.

Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, положил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечевкой и украдкой от дяди вышел на улицу.

Тут я спросил у прохожего, где здесь в Киеве «стол находок».

В Москве из такого «стола» Валентина получила однажды позабытый в трамвае сверток с кружевами.

«Киев, – думал я, – город тоже большой, следовательно, и тут люди теряют всякого добра немало».

Мне объяснили дорогу.

Я рассчитывал, что, зайдя в этот «стол находок», я суну в окошечко сверток. «Вот, – скажу, – посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда». И сейчас же удалюсь прочь. Пусть они как там хотят, так и разбираются.

Но первое, что мне не понравилось, – это то, что «стол» оказался при управлении милиции.

Поколебавшись, я все же вошел. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было.

Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров.

В очереди передо мной стояли двое.

– Итак, – спрашивал милиционер востроносового и рыжеусого человека, – ваше имя – Павло Федоров Павлюченко. Адрес: Большая Красноармейская, сорок. Означенная калоша, номер четырнадцать, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер сорок шесть. Так ли я записал?

– Так точно, – ответил рыжеусый. – Я как был вчера выпивши, то, значит, зашел сегодня, чтобы опять... этого самого...

– Это к факту не относится, – перебил его милиционер. – Получайте квиток и расписывайтесь.

– Это я распишусь – отчего же! Гляжу я... Мать честная! Лежит она, самая калоша... сияет. Я искал, искал – другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы еще пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу! Может, и потерял ее свой же брат, труженик.

– Одна! – сурово заметил милиционер. – Кабы и пара, все равно снести надо. Этакое глупое у вас разумение... Значит, сюда только и тащи, что самому не надо? Подходи следующий.

– Я человек честный, – пряча квитанцию, бормотал рыжеусый. – Мне не то что две... три нашел, и то снес бы. Да кака така нога номер четырнадцатый? Вон у меня нога... в самый раз... аккуратная. А это что же? На столбы обувка?..

Пошатываясь, он пошел к выходу, а вслед за ним проскользнул и я.

«Нет, – думал я, – если из-за одной калоши тут столько расспросов, то с моей находкой скоро мне не отвертеться».

Опечаленный вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумать что-то другое.

К вечеру я побежал на окраину, к Славкиной бабке.

– Не приезжал отец! – сказала она. – И то три раза на управления звонили да два раза с завода... Ну вот, слышите? Опять звонят. – И, отодвинув шипящую сковородку, она вперевалку пошла к телефону.

– Чистая напасть! – вздохнула она вернувшись. – Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу... Так не дадут дня человеку побыть с женой да с матерью! Завтра приходи, милый! Да куда ж ты?.. Скушай пирожка, котлетку! Я и то наготовила, а есть некому.

Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался.

По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошел поближе и прочел, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приема во все учебные заведения. И цена всему этому делу полтинник.

Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу города Одессы. За ответом велели приходить через полчаса.

В ожидании я пошел шататься по соседним улочкам, заглядывая в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна.

Наконец-то полчаса прошли! Помчался к киоску. Схватил протянутую мне бумажку.

...Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было.

Я зашатался. Горе мое было так велико, что я не мог даже плакать и, вероятно, целый час просидел на каменной ступеньке какой-то сырой подворотни. И мне тогда хотелось, чтобы дядю этого убило громом или пусть бы он оступился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе

было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обогреживало и не согревало.

Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда. И тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей сто или двести и уйду куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход. А может быть, спрячусь тайком в трюме, в открытом море матросы ведь не выбросят... Впрочем, чего жалеть? Может быть, и выбросят... Вздор! Мысли путались.

Пришел домой и сразу лег спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку:

– Ты чего кричишь? Ляжь, как надо, а то ишь разбросался! И надо тебе целый день по солнцу шататься!

Я повернулся и точно опять куда-то провалился.

Проснулся. Солнце. Зелень. Голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки – невкусно.

Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и неосторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашел. Очевидно, дядя носил их с собой.

Вышел и задумчиво побрел куда-то. Щеки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду.

Устал наконец и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладело мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. Поле, луг, речка. Тиль-тиль, тир-люли! И я опять вспоминаю: отец и я. Он поет:

*Между небом и землей
Жаворонок вьется...*

«Папа, – говорю ему я, – это замечательная песня. Но это же, право, не солдатская!» – «Как не солдатская? – и он хмурится. – Ну, вот весна, пахнет разогретой землей. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет через шинель теплое солнышко. Вот залегла цепь... Боя еще нет. А он сверху: тиль-тиль, тирлюли, тирлюли!.. Спокойно кругом, тихо... И вот тебе кажется: я лежу с винтовкой... А ведь кто-нибудь вспомнит и про меня и вздохнет украдкой. Как же не солдатская? Ну что? Теперь понял?» – «Да, да! Понял!»

Кто-то быстро тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурился снова.

Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо мое загорело, лоб влажен; он же был чем-то расстроен и не узнал меня.

– Мальчик, – спросил он, показывая на калитку, – ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?

Молча качнул я головой.

– Э! Да ты, я вижу, братец, совсем спишь! – с досадой сказал он и, крикнув что-то шоферу, вскочил в машину и уехал.

Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома и что человек этот только что стучался в их запертую калитку.

Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номером дома. Потом, скоро, издалека напишу я Славке письмо.

Что-то вокруг странно все, дико и непонятно.

Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес.

Нашел! Стоп! Карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью.

Это был клочок, который дала мне в парке при прощании Нина. На нем был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти!

«Г 0-48-64»

Так, значит, это искала меня не милиция! Но кто же? Зачем? Но, может быть, я ошибся, и в газете телефон записан совсем не этот? Надо было проверить. Скорей! Сейчас же!

Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина.

Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина.

— Машина? — тихо переспросила она, и губы ее задержались. — Ах, что мне машина! Я и сама уже все знаю.

Я взглянул на нее и ужаснулся: глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину и сейчас он в больнице лежит при смерти.

Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. И, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду.

Дома на столе я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу.

По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от «больной бабушки» старик Яков вернулся что-то очень скоро.

– Убийцы! – прошептал я помертвевшими губами. – Вы сбросите меня под колеса поезда, и плыви тогда капитан в далекую Индию... Так вот зачем я был вам нужен!

«Пойди познакомься, – вспомнил я разговор в парке, – он мальчик, кажется, хороший». Бандиты, – с ужасом понял я, – а может быть, и шпионы!

Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что, против своей воли, сажусь на пол.

Кое-как бухнулся в кровать. Дотянулся до графина. Жадно пил.

«Г 0-48-64»

Вынул газету. Да, номер тот же самый! Лег. Лежал. Сон – не сон. Полудрема.

«Эх, дурак я, дурак! Так вот и такие бывают шпионы, добрые!.. „Скушай колбасы, булку“... „Кругом аромат, цветы, природа“. А праздник – веселое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии?.. Не для вас же, чтобы вы сдохли, плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев!..»

Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил.

– Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре.

– Но то в Москве, а это Киев, – ответил мне удивленный голос. – Даю вам междугородную.

Опять голос:

– Слушает междугородная!

– Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре, – все тем же усталым и настойчивым голосом попросил я.

– Москва занята, – певуче ответил телефон. – Наш лимит еще тридцать минут. На очереди три разговора. Если останется время, я вас вызову! Повторите номер.

Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку.

Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

Опять звонок. Длинный-длинный. Опомнился и сразу к телефону.

Голос. Через три минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте: в вашем распоряжении остается пять минут.

Стало легче.

И вдруг – на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло! Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.

Голос дяди. А мальчишки все нет. Вот проклятый мальчишка!

Яков. Черт с ним! Надо бы торопиться.

Дядя (ругательство). Нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст.

Яков (ругательство). Вот еще бестолковый дьявол! *(Ругательство, еще и еще ругательство.)* Звонок по телефону. Я замер.

Яков. Не подходи!

Дядя. Нет, почему же? *(В трубку.)* Да! *(Удивленно.)* Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. *(Трубка повешена.)* Черт его знает что: «Сейчас с вами будет говорить Москва»!

Опять звонок.

Дядя. Да нет же, не вызывали! Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам говорю, что весь день сижу в комнате и никто не подходил к телефону. Как вы смеете говорить, что я хулиганю?.. (*Трубка брошена. Торопливо.*) Это что-то не то! Это, это... Давай собирайся, Яков!

«Они сейчас уйдут! – понял я. – Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.

«Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут? – строго спросил меня кто-то изнутри. – А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик! – повторил мне тот же голос. – Выпрямляйся, пока не поздно».

– Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку, – виновато прошептал я.

Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо – за сырыми, холодными камнями.

Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухе... Она из окошка показывает им язык. Остановились... Пошли.

Они не хотят идти почему-то через калитку – через улицу, и направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки, через дыру забора, выйти на глухую тропку.

Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне

горящий самолет, и, как брошенный камень, оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой – Славка.

Я открыл глаза и потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик! – уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. – Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился.

Как будто бы легла поперек песчаной дороги глубокая пропасть – разом остановились оба изумленных друга.

Но это длилось только секунду. И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть!

С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился.

Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером! И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло.

Но, даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни

внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы.

Гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра.

И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю.

Гром пошел по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. А могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду! (Много-много, целую большую плавучую льдину!) Распахните окна! (Широко-широко, так чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши!) И быстро приготовьте шприц! Теперь спокойней!...»

Гром стих. Тучи стали. И ветер прорвался наконец к задыхавшемуся горлу...

Сколько времени все это продолжалось, я, конечно, тогда не знал.

Когда я очнулся, то видел сначала над собой только белый потолок, и я думал: «Вот потолок – белый».

Потом, не поворачивая головы, искоса через пролет окна видел краешек голубого неба и думал: «Вот небо – голубое».

Потом надо мной стоял человек в халате, из-под которого виднелись военные петлицы, и я думал: «Вот военный человек в халате».

И обо всем я думал только так, а больше никак не думал.

Но, должно быть, продолжалось это немало времени,

потому что, проснувшись однажды утром, я увидел на солнечном подоконнике, возле букета синих васильков, полное блюдо ярко-красной спелой малины.

И я удивился, смутно припоминая, что еще недавно в каком-то саду (в каком?) малина была крошечная и совсем зеленая.

Я облизал губы и тихонько высвободил плечо из-под легкого покрывала.

И это первое, вероятно, осмысленное мое движение не прошло незамеченным. Тотчас же передо мной стала девушка в халате и спросила:

– Ну что? Хочешь малины?

Я кивнул головой. Она взяла блюдечко, села на край постели и осторожно стала опускать мне в рот по одной ягодке.

– Я где? – спросил я. – Это какой город?

– Это не город. Это Ирпень! – И так как я не понял, она быстро повторила: – Это Ирпень – дачное такое место недалеко от Киева.

– Ах, от Киева?

И я все вспомнил.

Прошла еще неделя. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь целыми днями сидел я в тени под липами.

Пробитое пулей горло заживало. Но разговаривать мог я еще только вполголоса.

Два раза приходил ко мне человек в военной форме. И тут же, в саду, вели мы с ним неторопливый разговор.

Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал.

Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка.

– Юрка?.. Это был мелкий мошенник.

– А тот... артист?.. Ну, что сошел с поезда в Серпухове?

– Это был крупный наводчик-вор.

– А старик Яков?

– Он был не старик, а просто старый бандит.

– А он... Ну, который дядя?

– Шпион, – коротко ответил военный.

– Чей?

Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце.

– Ну, вот видишь? Так со ступеньки на ступеньку, и вот наконец до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?

Это меня задело.

– Добрался! Так кто же такой, по-вашему, я?

– Когда – теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы!.. А раньше был ты перед ними круглый дурак. Но не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки и не таких, как ты, бывало, обрабатывали.

Он вытащил из папки фотоснимок:

– Не узнаешь?

Еще бы! Вот она, церковь, скамья. Вот он, – ишь ты как улыбается, – дядя. А вот он выпучил глаза – старик Яков.

– Так вы еще в Москве догадались достать кассеты у Валентины из ящика и проявить их?

– Да, мы давно обо всем догадались. Но вас разыскать нелегко было.

Теперь он вытянул листок бумаги и, хитро глянув на меня, продекламировал:

*На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.*

— Это ты сочинил?

— Да, — сознался я. — Но скажите, что это за листы? И еще скажите: что это были за склянки... и почему так часто пахло лекарством?

— Мальчик, — ответил он, — ты не должен у меня ничего спрашивать! Отвечать я тебе не могу и не стану.

— Хорошо, — согласился я. — Но я уже и сам догадываюсь: это, наверно, был какой-нибудь секретный состав для бумаги!

— А это догадывайся сам, сколько тебе угодно.

— Ладно, — сказал я. — Я ничего не буду спрашивать. Только одно: Славкин отец умер?

— Жив, жив! — охотно ответил он. — Я и позабыл, что он тебе велел кланяться.

— За что? — удивился я.

— За что? Гм... гм... — Он посмотрел на часы. — Ну, прощай, поправляйся! Больше я не приду. Да, — он остановился и улыбнулся. — Нет, — и он опять улыбнулся. — Нет, нет! Скоро все сам узнаешь.

...У ног моих лежал маленький, поросший лилиями пруд. Тени птиц, пролетавших над садом, бесшумно скользили по его темной поверхности. Как кораблик, гонимый ветром, бежал неведомо куда сточенный червем или сжнутый птахой и рано сорвавшийся с дерева листок. Слабо просвечивали со дна зеленовато-прозрачные водоросли.

Тут я мог сидеть часами и был спокоен. Но стоило мне поднять голову – и когда передо мной раскидывались широкие желтеющие поля, когда за полями, на горизонте, голубели деревеньки, леса, рощи, когда я видел, что мир широк, огромен и мне еще непонятен, тогда казалось, что в этом маленьком саду мне не хватит воздуха. Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тогда охватывала меня необъяснимая тоска.

Вдруг примчался ко мне Славка. Я его узнал, еще когда он сходил с легковой машины.

В замешательстве, как бы ища опоры, я оглянулся.

Но с первых же слов он меня перебил, замахал руками и засмеялся.

– Я все знаю! Я больше тебя знаю! Ты лежишь, а я на воле. Папа тебе шлет привет! Это он мне дал свою машину. Но ты уж совсем не такой худой и бледный, как говорил Герчаков.

– Кто?

– Герчаков! Ну, майор из НКВД, который с тобой разговаривал. Он заходил к нам часто. Ты знаешь, у него несчастье: пошел он на Днепр купаться – бултых в воду! А часы-секундомер с руки не снял. У него часы хорошие – еще в двадцать четвертом ему на работе подарили. Они и стали. Отнес – починили. Опять стали. Так он чуть не плачет. Это, говорит, я все распутывал ваши дела, заработался... Вот тебе и прыгнул!.. Послушай! Вот я тебе привезу фонарик. Мое слово твердо.

– Славка, – настойчиво спросил я, – зачем они твоего отца убить хотели?

Славка задумался.

– Видишь ли, когда вы... – тут Славка покраснел и быстро поправился, – то есть когда они обокрали в вагоне папиного помощника, то ничего нужного в сумке они, конечно, не нашли... Ну, они рассердились...

– Славка, – еще упрямей повторил я, – ну, не нашли, но зачем же все-таки они хотели *убить* твоего отца?

– Видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной военной машиной... Ну, а им этого не хочется. Нет, нет! Дальше ты меня лучше не спрашивай! Я тоже однажды спросил у отца: что за машина? Вот он посадил меня с собой рядом, взял карандаш и говорил, говорил, объяснял, объяснял... Вот тут винт, тут ручка, тут шарниры, здесь шарикоподшипники. При вращении развивается огромная центробежная сила. А здесь такой металлический сосуд... Я все слушал, слушал – да вдруг как закричу: «Папка! Что ты все врешь? Это же ты мне объясняешь, как устроен молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» Тогда он хохотал, хохотал, а потом и я захохотал. Так вот, с той поры я уж его и сам ни о чем не спрашиваю. Нельзя! – вздохнул Славка. – Не наше пока это дело.

– Их посадили? – угрюмо спросил я.

– Кого «их»?

– Ну, этих, который дядя – и Яков.

– Но ты же... ты же убил Якова, – пробормотал Славка и, по-видимому, сам испугался, не сказал ли он мне лишнего.

– Разве?

– Ну да! – быстро затараторил Славка, увидев, что я даже не вздрогнул, а не то чтобы упасть в обморок. – Ты встал, и ты выстрелил. Но дом-то ведь был уже окружен и

от калитки и от забора – их уже выследили. Тебе бы еще подождать две-три минуты, так их все равно бы захватили!

– Вон что! Значит, выходит, что и стрелял-то я напрасно!

– Ничего не выходит! – вступился Славка. – Ты-то ведь этого не знал. Нет, нет! Все выходит, что очень даже не напрасно. Да! – И Славка, смущенно пожав плечами, протянул мне завернутый в салфетку узелок, от которого еще за пять шагов пахло теплыми плюшками да ватрушками. – Это тебе бабка прислала. Я не брал. Я отказывался: «На что ему? Там и так кормят». Так разве она слушает! «Да ты бери, бери! Так с салфеткой и бери». Подумаешь, салфетка! Знамя, что ли?

Мы распрощались. Все еще чуть прихрамывая, он быстро добежал до машины и махнул мне рукой.

...Славка уехал. Долго сидел я. И улыбался, перебирая в памяти весь наш разговор. Но глаза поднять от земли к широкому горизонту боялся. Знал, что все равно налетит сразу, навалится и задавит тоска.

Как-то я сидел на террасе и задумчиво глядел, как крупный мохнатый шмель, срываясь и неуклюже падая, упрямо пытается пролететь сквозь светлое оконное стекло. И было необъяснимо, непонятно, зачем столько бешеных усилий затрачивает он на эту совершенно бесплодную затею, в то время, когда совсем рядом вторая половина окна широко распахнута настежь.

Мимо меня, как-то чудно глянув и торопливей, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька.

Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька; она была взволнована.

– Ну, вот и хорошо! Ну, вот и хорошо! – шепнула она, не вытерпев. – Вот и за тобой, милый, из дому приехали.

Как из дому?.. Валентина? Вот это новость!

Я запахнул халат и вышел на крыльцо.

Резкий крик вырвался у меня из еще не окрепшего горла. Я кинулся вперед и тут же зашатался, поперхнулся, ухватился за перила. Кашель душил меня, в горле резало. Я затопал ногами, замотал головой и опустился на ступеньки.

По песчаной дорожке шел доктор, а рядом с ним – мой отец. Мне сунули ко рту чашку воды со льдом, с валерьянкой, с мятой; тогда наконец кашель стих.

– Ну можно ли так кричать? – укорил меня доктор. – Ты бы вскрикнул шепотом, потихоньку... Горло-то у тебя еще слабое.

Вот мы и рядом. Я лежу. Лоб мой влажен. Я еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, я еще ничему не верю.

И я ему говорю:

– Это ты?

– Да, я!

Голос его. Его лицо. На висках, как паутина, легкая седина. Черная гимнастерка, галифе, сапоги. Да, это он!

И я осторожно спрашиваю:

– Но ведь тебя...

Он сразу понимает, потому что, улыбнувшись – вот так, по-своему, как никто, а только он – правым уголком рта, – отвечает:

– Да! Я был виноват! Я оступился. Но я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили...

– И теперь ты...

– И теперь я совсем свободен.

– И тебя выпустили так задолго раньше срока? – бормочу я.

– Я взрывал землю, – настойчиво повторяет отец. – Верно! Я старый командир, сапер. Я был на германской с четырнадцатого и на гражданской с восемнадцатого. Верно! Ну, так за эти два года я забурил, заложил и взорвал земли больше, чем за все те восемь. (Вот, я вижу, он опять улыбается, шире, шире. Сейчас, конечно, дотронется рукой до подбородка. Есть!) – И доканчивает: – Но и она мне, земля, кое-что вдолбила в голову крепко!

Я смотрю на его левую руку: большого пальца до половины нет. Смотрю на голову: слева, повыше виска, шрам. Раньше его не было. Я спрашиваю:

– Это что?

Он треплет меня по плечу:

– Это вода шла на нас в атаку, а мы динамитом заставили ее свернуть в сторону.

– И ты был...

– А я был бригадиром подрывной бригады.

...Вот и все! Нет, не все. Теперь мой черед. Теперь должен говорить я. Все вспоминать и объяснять, издавека, с самого начала.

Но отец сразу же меня перебивает:

– Ты уж молчи! Я все сам знаю.

Счастье! Вот оно, большое человеческое счастье, когда ничего не нужно объяснять, говорить, оправдываться и когда люди уже сами все знают и все понимают.

Я с благодарностью сжимаю его руку, и мне хочется ее

поцеловать. Но он тихонько ее выдергивает и крепко жмет мою.

Больше об этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

В висках постукивает. И вдруг налетает догадка, и я почти кричу:

– Папа! А где ты теперь живешь?..

– У Платона Половцева. Он пока уступил мне одну комнату. А дальше будет видно. Теперь мы не пропадем.

– Г 0-48-64! Так это ты меня искал? Так вот он откуда загадочный московский телефон!

– Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю.

Я отталкиваю его руку и поднимаю с подушки голову:

– Тыпусти, папа. Я встану. Мне хорошо!

Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом.

Широки поля. Мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело. Я толкаю отца локтем и, чтобы он меня расслышал, громко кричу:

– Папа, а все-таки «Жаворонок» – это не солдатская песня!

Он, конечно, сейчас же хмурится:

– А какая же?

– Да так! Просто человеческая.

– Ну и что же, человеческая! А солдат не человек, что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет для него ничего святей знамен Красной Армии, и поэтому все, что ни есть на свете хорошего, это у него – солдатское.

А может быть, он и прав!

Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. Все и во всем будут равны. Но Красная Армия останется еще надолго. И только когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко – человеческие.

Мы подлетаем к Москве в сумерки. С волнением вглядываюсь я в смутные очертания этого могучего города. Уже целыми пачками вспыхивают огни.

И вдруг мне захотелось отсюда, сверху, найти тот огонек от фонаря шахты, что светил ночами в окна нашей несчастливой квартиры, где живет сейчас Валентина и откуда родилось и пошло за нами наше горе.

Я говорю об этом отцу. Он склоняется к окошку.

Но что ни мгновение, огней зажигается все больше и больше. Они вспыхивают от края до края прямыми аллеями, кривыми линиями, широкими кольцами. И вот уже они забушевали внизу, точно пламя. Их много, целые миллионы! А навстречу тьме они рвались новыми и новыми тысячами.

И отыскать среди них какой-то один маленький фонарик было невозможно... да и не нужно!

Самолет опустился на землю, взявшись за руки, они вышли и остановились, щурясь на свету прожектора.

И те люди, что их встречали, увидели и поняли, что два человека эти – отец и сын – крепко и нерушимо дружны теперь навеки. На усталые лица их легла печать спокойного мужества. И, конечно, если бы не яркий свет прожектора,

то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто.

И тогда те люди, что их встречали, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

– Здравствуйте!

ПАТРОНЫ

При отступлении испуганные лошади опрокинули в придорожную канаву разбитый ящик с патронами. В спешке никто их не подобрал. И только через неделю, срезая для козы траву, наткнулся на них Гришка.

Он вытряхнул козий корм. Навалил в сумку много патронных пачек, принёс домой и похвалился:

– Вот, мама! Нашёл! Блестящие, новенькие. Я сейчас побегу, принесу ещё кучу.

Но мать быстро закрыла огонь в печке и на Гришку закричала:

– Умный ты, Гришка, или полоумный? Тащи сейчас же этот страх и утопи в пруду или в речке. Быстро, или я деда позову!

Вздохнул Гришка: как тут будешь спорить? Взвалил сумку на плечо и понёс из хаты.

Но патроны в речку не кинул. Оставил себе три пачки, остальные свалил в кустах, за огородом, накрыл соломой и засыпал сухими листьями.

Утром дед Семён вошёл в хату, бросил топор, сел на лавку, распахнул окно, закурил, задымил и сказал:

– Беда, Ганна! Сдаётся мне, что либо махновцы, либо

казаки опять близко. Стою я у колодца и слышу, как за речкой громко да тяжело бомба раза два на лугах грохнула.

Тогда мать кинулась в чулан, проворно собрала одежду, что получше: платок с бахромой, платье, серые дедовы шаровары, розовую Гришкину рубаху. Связала всё в узел и спрятала в хлеве, под сухим свиным корытом.

Но махновцы были тут ни при чём.

Вернулся Гришка с речки только к вечеру. Принёс он одного карасика, двух ершей да плотичку. Хмуро повесил эту рыбу на гвоздь, чтобы не сожрала кошка, и, не похвалившись уловом и даже не спросив обедать, боком-боком направился было спать на сеновал к деду.

Но мать сразу заметила, что рука у него обмотана тряпкой, глаза виноватые, а лицо унылое. И в тревоге спросила:

– Это что у тебя с рукой, Гришка? Опять патроны?

– Нет, у костра обжёг, когда пёк картошку. Ты мне смажь да завяжи покрепче, мама.

Тогда мать уверенно сказала:

– Ой, врёшь, Гришка!

Но руку ему салом смазала, приложила свежий лопух и чистым лоскутом завязала.

Потом она вышла и села у крылечка.

Большая кругом лежала земля. Большая ходила по дорогам война. Вот тут-то, на войне, и стояла серая с белой трубой хата, где жила мать и её сын Гришка.

...На другой вечер пронёсся по улице топот, стук и гром.

Просунулась в дверь винтовка, за ней бородатый казак. Стукнул он прикладом об пол и приказал:

– А подать сюда хорошей еды и самого холодного молока крынку!

Испугался Гришка, вынул патрон из кармана и незаметно кинул его за окошко. Да вот беда! Упал патрон прямо другому казаку под ноги. Поднял казак патрон, отнёс в хату и показал его старшому.

Отодвинул пустую крынку старшой. Расстегнул ворот, распустил пояс и объявил:

– Не иначе, как здесь оружейный склад. Обыщите вы все сараи и погреба, да сундуки тоже. А кто тут есть в доме хозяин – посадите под замок в амбар.

И посадили старого деда Семёна в амбар.

Вышла во двор Гришкина мать, заплакала, заругала Гришку:

– Чтоб ты пропал со своими патронами! Беги, расскажи про беду дяде Егору.

– Плохи дела! – сказал Гришке дядя Егор. – Надо выручать старика, а как – не знаю. Пойди узнай, много ли казаков и думают ли они остановиться на ночёвку, а я подожду тебя у речки.

Пошёл Гришка считать казаков. Но казаки не стоят на месте, а взад-вперёд по селу шмыгают. И очень просто одного казака за двоих сосчитать можно. И стал тогда Гришка считать по дворам казачьих коней. Насчитал двадцать три, хотел бежать к дяде Егору – вдруг за кустами раздался выстрел.

Тут выбегает казак, ведёт под уздцы коня и кричит:

– Сюда! сюда! Здесь красные близко.

– Что ты городишь, баранья голова? – спросил старшой. – Это наш конь.

– Нет, это их конь, – отвечал казак. – Сейчас я сбил с этого коня одного партизана.

Пока они дивились, выбегает ещё казак – сапоги в руках, волосы мокрые – и давай ругаться:

– Ах, такие-сякие, кто моего жеребца увёл?

– Да разве же это твой?

– А то чей же? Или у вас глаза ослепли?

Собрались тогда все казаки в кучу и стали разбирать: как же оно такое вышло?

...А вышло вот как. Привязал казак коня, а сам кустами по круче полез в речке купаться. А в кустах дядя Егор сидел и ждал Гришку. Увидел Егор коня без хозяина. «Дай, – думает, – вскочу и помчусь за помощью в лес, к партизанам». Только вскочил на коня, вдруг – хлоп! – ударил сбоку выстрел. Слетел под обрыв дядя Егор и задал скорей ходу назад, в деревню. Пуля только ремень порвала.

Пробрался дядя Егор к амбару и слышит, как дед Семён через стенку часового ругает. И так он его стыдит – и жуликом зовёт, и разбойником бранит. Рассердился часовой, прислонил винтовку к стене, а сам по лестнице забрался к чердаку и давай тоже деда ругать через окошко.

Вылез тогда дядя Егор, открыл затвор и все пять патронов из казачьей винтовки вынул. «Сейчас, – думает он, – ты слезешь, и я тебя из-за угла тихо возьму, голубчика».

И только отпрыгнул дядя Егор за угол, как опять наткнулся на другого казака.

– Ты что здесь прыгаешь? – спросил казак. – Или ты не знаешь приказа по домам сидеть, а по задворкам не шляться?

Отвёл он Егора к старшему, и тот приказал:

– А запирайте этого прыгуна к старику в соседи.

Заперли и дядю Егора в амбар.

Не нашёл Гришка Егора у реки. Когда вернулся, уже совсем темнело.

– Чтоб ты провалился со своими патронами! – ещё горше заплакала мать. – Посадили теперь под замок и дядю Егора.

И стало тогда Гришке так жалко деда Семёна и дядю Егора, что потекли по его щекам сначала две слезы, потом ещё четыре. Но вздохнул он, перестал плакать и молча скрылся.

Подполз он от огорода к амбару. Лежит в крапиве и тихонько шепчет:

– Дядя Егор, дед Семён! Вы разгребайте руками под брёвнами дыру, а я отсюда лопатой копать буду.

Но казак, что за плетнём дверь караулил, уши, как волк, расставил и шум услышал.

– Стой! – крикнул он. – Кто идёт?

Гришка – бежать.

Хлопнул часовой раз, хлопнул курком два, а выстрела-то и нету.

Прибежал старшой и стал ругаться:

– Ты зачем, баранья голова, на посту с незаряженной винтовкой ходишь?

– Неправда! – заорал казак. – Только что заложил я в коробку четыре патрона, пятый загнал в ствол и свернул предохранитель. Вот она, в ногах лежит, от патронов пустая обойма.

Поднял старшой обойму. Подошли тут ещё казаки, сбились кучей и стали думать: «Как же оно так вышло?»

Сидела мать у окна и горько плакала. Вдруг просунулась в окно, вся в репьях, лохматая Гришкина голова.

– Ты откуда? – воскликнула мать.

– Дай спички!

– Зачем?

– Дай! – настойчиво повторил Гришка и, схватив с подоконника коробок, скрылся.

И вовремя. Вошёл из сеней казак, оглянулся и спросил:

– Ты с кем это, баба, сейчас разговаривала?

– Да так, сама с собой, – отвечала мать, испугавшаяся за Гришку.

Удивился казак и позвал старшего. Удивился старшой и сказал:

– Чудны дела, казаки! Люди сами с собой разговаривают. Убитые исчезают. Заряженные винтовки не стреляют.

И тогда покосились казаки на тёмные окна. И каждый подумал: «А не лучше ли отсюда на ночь убраться к своему полку поближе»? Но тут грянул в темноте выстрел. И пошёл огонь, пошла канонада.

– Красные!

– Окружают!

Повскакали казаки в сёдла, и только окна зазвенели от конского топота.

А когда всё стихло, осторожно просунулась в хату голова Гришки:

– Никого, мама?

– Никого, Гришка.

– Пойдём открывать амбар, мама?

– погоди, Гришка. Пусть отопрут сами товарищи.

– Какие товарищи?

– Красные! Каких ждали!

– Никого, мама, на дворе нету, – хмуро сказал Гришка.
– Это я за огородом патроны разложил, завалил сеном да и зажёг спичкой. Вот тут-то они у меня и загрохотали!

Ничего не сказала мать. Вытерла слёзы. Зажгла фонарь. Взяла топор. И пошли они с Гришкой сбивать замок с амбара.

НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ

I

Из травы выглянула курчавая белокурая голова, два ярко-синих глаза, и послышался сердитый шёпот:

– Валька... Валька... да заползай же ты, идол, справа! Заползай сзади, а то он у-чу-ет.

Густые лопухи зашевелились, и по их колыхавшимся верхушкам можно было догадаться, что кто-то осторожно ползёт по земле.

Вдруг белокурая голова охотника опять вынырнула из травы. Свистнула пущенная стрела и, глухо стукнувшись о доски гнилого забора, упала.

Большой, жирный кот испуганно рванулся на крышу покривившейся бани и исчез в окне чердака.

– Ду-урак... Эх, ты! – негодуя, проговорил охотник поднимающемуся с земли товарищу. – Я же тебе говорил – заползай. Там бы сзади как удобно, а теперь на-ко, выкуси... Когда его опять уследишь.

– Заползал бы сам, Яшка. Там крапива, я и то два раза обжёгся.

– Крапива! Когда на охоте, то тут не до крапивы. Тебе бы ещё половик подослать.

– А раз она жжётся!

– Так ты перетерпи. Почему же я-то терплю... Хочешь, я сейчас голой рукой её сорву и не сморгну даже? Вру, думаешь?

Яшка вытер влажную руку, выдернул большой крапивный куст и, неестественно широко вылупив глаза, спросил, торжествуя:

– Ну что, сморгнул? Эх ты, нюня.

– Я не нюня вовсе, – обиженно ответил Валька. – Я тоже могу, только не хочу.

– А ты захоти... Ну-ка, слабо захотеть?

Веснушчатое курносое лицо Вальки покраснело; не принять вызова он теперь не мог.

Он подошёл к крапиве, заколебался было, но, почувствовав на себе насмешливый взгляд товарища, рывком выдернул большую, старую крапивину. Губы его задрожали, глаза заслезились; однако, силясь вызвать улыбку, он сказал, немного заикаясь:

– И я тоже не сморгнул.

– Верно! – по-чистому согласился Яшка. – Раз не сморгнул, значит, не сморгнул. Только я всё-таки посерёдке хватал, а ты под корешок, а под корешком у ей жало слабже. Ну, да и то ладно! Знаешь что? Пойдём давай во двор, там девчонки играют, а мы им сполох устроим.

– А мать дома?

– Нет. Она на станцию молоко продавать пошла. Никого дома нету.

Во дворе возле забора домовитые и стрекотливые, как

сороки, две девочки накрыли сломанный стул и табурет старым одеялом и, высунувшись из своего шалаша, приветливо зазывали двух других девчонок:

– Заходите, пожалуйста, в гости! У нас сегодня пироги с вареньем. Заходите, пожалуйста!

Но едва только гости чинно направились на зов, как хозяйки шалаша испуганно переглянулись:

– Мальчишки идут!

Яшка и Валька приближались медленно, спокойно, ничем не выдавая на этот раз своих истинных намерений.

– Играете? – спросил Яшка.

– У-ухо-дите! Чего вы лезете? Мы к вам не лезем, – плаксиво сказала Нюрка, Яшкина сестрёнка.

– Отчего же нам уходить? – ещё мягче спросил Яшка. – Мы посмотрим, да и пойдём дальше. Это что у вас такое? – И он ткнул пальцем в одеяло.

– Это наш дом, – ответила Нюрка, несколько озадаченная таким необычным мирным подходом.

– До-ом? А разве дома из одеялов строят? Дома строят из брёвен или из кирпича. Вы бы потаскали кирпичей с «Графского» и построили крепкий, а этот чуть толкнёшь – он и рассыплется.

И Яшка потрогал ногою табуретку, чем вызвал немалую панику у обитателей шалаша.

– Ну ладно. А где же у вас пирог?

– Вот тут, – тревожно следя за каждым движением Яшки, ответила Нюрка.

– Вот дуры-то! Всё у них не по-людски. Дом из одеяла, а пироги из глины. А ну-ка съешь один пирог, ну-ка, кусни. А... не хочешь? Людей такой дрянью угощаешь, а сама не

хочешь... Валька, давай мы все ихние пироги им в рот запихаем. Сами напекли, пускай и жрут.

– Я-а-а-шка! – безнадёжно-тоскливо в один голос затянули девчонки. – Я-а-шка... у-ходи, ху-ли-и-га-ан.

– А... вы ещё ругаться! Валька, в атаку на это бандитское гнездо!

Только-только угроза разгрома и расправы вплотную нависла над мирными обитателями шалаша, как вдруг Яшка почувствовал, что кто-то крепко взял его сзади за вихор.

Девчонки, точно по команде, перестали выть. Яшка обернулся и увидел Валькины пятки, исчезающие за забором, да рассерженное лицо матери, вернувшейся с вокзала.

– Марш домой! – крикнула мать, давая ему шлепка. – Ишь, разбойник, и игры-то у него разбойные... Смотри-ка, какой Петлюра выискался! Вот погоди, придёт отец – он тебе покажет, как атаманствовать!

II

Отец у Яшки старый – уже пятьдесят четыре года стукнуло. Служит он сторожем в совете, а раньше садовником у графа был.

В революцию граф с семьёй убежал. Усадьбу старинную мужики сгоряча разграбили. Невдомёк было, видно, что усадьба-то пригодиться может. В суматохе кто-то то ли нарочно, то ли нечаянно запалил её. И выгорело у каменной усадьбы всё деревянное нутро. Одни только стены сейчас торчат, да и те во многих местах пообвалились. А от

оранжерей и помину не осталось. Стёкла в гражданскую войну от орудийной канонады полопались, а дерево сгнило.

Раньше хоть мимо дорога была, но с тех пор как построили новый мост через Зелёную речку, совсем усадьба в стороне осталась. И стоит она на опушке, над оврагом, как надмогильный памятник старому режиму.

Отец Яшки, Нефёдыч, вернулся сегодня вовсе добрым, потому что получка была. А в получку каждый человек, конечно, добрый, и потому, когда мать начала жаловаться на Яшку, что нет с ним сладу, отец ответил примирительно:

– Ничего, осенью в школу опять пойдёт, тогда за учёным дурь из головы вылетит.

– До осени-то ещё долго. Он и вовсе избалуется. Тебе-то что, а у меня он на глазах.

Яшка сидел молча, уткнув голову в тарелку, и не оправдывался.

Это отмалчивание ещё больше рассердило мать, и она, бухая на стол горшок с кашей и свининой, продолжала:

– Этак из мальчишки добра не выйдет. Тоже пошли деточки... Я сегодня с вокзала иду, смотрю – в стоге сена, возле тропки, что-то ворочается. Уж не наш ли поросюк забежал?... Подошла, глянула, да так и обмерла. Высовывается оттуда рожа, чё-ёрная, ло-охма-тая, вся как есть в саже. Во рту сигарка, а в руке рогуля с резиной, а в резине камушек. Мальчишка лет тринадцати, а страшный – сил нету. Я назад, а он как засвищет, да этак засвищет, что аж в ушах зазвенело.

При этих словах Яшка насторожился, а Нефёдыч аккуратно сложил газету и сказал:

– В совете у нас про это самое разговор был. Говорят, объявился у нас в местечке какой-то беспризорный. И зачем его к нам занесло – уму непостижимо. Местечко у нас маленькое, стороннее, от главной линии только ветка. У нас рассуждали – что не изловить ли его? Так опять – куда ты его денешь? В суд – нельзя, пока за ним проступков никаких не замечено. Беспризорного дома у нас нет, а в город отправлять – возня. Секретарь говорил, что, должно быть, беспризорный и сам скоро убежит, потому что у нас ему неинтересно: ни публики на вокзале, ни толпы на улице – кошелёк спереть из кармана и то не у кого.

Яшка, ошеломлённый услышанным, забыл про кашу и прилип к табуретке. Потом, сообразив, что, вероятно, он пока является единственным обладателем подслушанного сообщения, заёрзал, бросил недоеденную тарелку и, невзирая на грозный окрик матери, понёсся на двор, срочно поделиться с Валькой важной новостью.

Он бросился к забору Валькиного сада и чуть не лбом столкнулся с перелезающим навстречу Валькой.

– А я, брат, чего знаю! – сказал, переводя дух, Яшка.

– Нет, ты слушай лучше, что я знаю.

– Про что ты можешь знать! Ты знаешь про неинтересное, а я про интересное.

– Нет уж, я – то про самое интересное знаю.

– Знаю я, про какое интересное ты знаешь. Наверное, про то, кто нашу ныртку на проток перекинул? Так это что, а я вот знаю!

– Ничего ты не знаешь. А ну давай об заклад биться: если ты знаешь интересней, я тебе две стрелы с напайками дам, а если я интересней, то ты мне... ножик.

– Ишь ты какой ловкий!... Ножик-то почти новый, у него только одно лезвие сломано, а от второго ещё больше полполовины осталось... Хочешь, я тебе патрон дам?

– На что он мне? У меня своих три.

– Так у тебя же пустые, а я нестреляный дам; его ежели в лесу в костёр бросить, так он как ухнет.

– Ну ладно. Чур – так! Говори. А то ты увидишь, что моя берёт, и скажешь, что про это же самое знаешь, чтобы не отдавать.

– Так тогда как же?

Оба мальчугана постояли, задумавшись, потом Яшка прищёлкнул языком и сказал:

– А вот как! На тебе гвоздь и нацарапай им на заборе про что у тебя, а потом в другом месте нацарапаю я, тут уже будет без обмана.

Оба долго пыхтели, вычёркивая кособокие буквы. Через минуту оба хохотали.

– Да у нас про одно и то же. Только у меня написано «про беспризорного», а у тебя «про беспризорного налётчика». Почему же, однако, он налётчик?

– А уж обязательно налётчик, – снижая голос, ответил Валька. – Они все такие – у них в кармане либо финский нож, либо гиря на ремне. А то чем же они питаться станут!

– А может, попросят где, – сомневаясь в словах товарища, сказал Яшка, – либо яблок по садам накрадут, вот и жрут.

– Ну уж и «попросят»! Скажешь тоже... Да кто же таким страшным подаст? Нет уж, ты поверь мне, что налётчик. Симка Петухов его сегодня повстречал. Симка говорит, что как выскочит тот из ямы возле кирпичных

сараев и кричит: «Выкладывай всё, что есть», а сам махает гирей, а гиря тяжёлая – десять фунтов.

– Ну уж и десять?

– Ей-богу, десять. Симка еле утёк. Он бы, говорит, вступил с ним в сражение, да был без оружия, палки – и той под рукой не было.

– А может, он врёт, Симка-то? Что с него грабить? Я сам видел в окно, как он мимо пробежал. На нём одни штаны только до колен, а рубахи и той не было.

Последний довод смутил несколько Вальку, но, не желая сдаваться, он ответил уклончиво:

– Уж не знаю, чего, а только налётчики всегда такими словами разговор начинают, это у них уже такая привычка.

– Валька! – сказал, немного подумав, Яшка. – А как же теперь... мальчишки? Поди-ка, все струхнут.

– Обязательно струхнут. Чуть вечер, поди, и за ворота выйти побоятся.

– А ты?

– Я-то... – Валька горделиво усмехнулся. – Я что! Я и сам... я вот сегодня ножик перочинный отточу да на бечёвке под рубахой к поясу привяжу. Так и буду ходить, как черкес. Пусть только попробует сунуться!

– А я налобок возьму, которым в ямки играют. Он крепкий, дубовый. Приходи завтра пораньше утром под окошко и крикни меня. Да только не ори, как вчера, во всю глотку, так, что мать даже с постели вскочила – думала, говорит, что пожар или сполох какой.

– Не... я тихонько.

– Валька... – спросил Яшка, перед тем как уйти. – А отчего они чёрные такие?... Как мать говорит, хуже чёрта.

– Оттого, что они под мостами либо в котлах ночуют.

– А зачем же в котлах? – ещё больше удивился Яшка. – Какой же есть интерес в котле ночевать?

– Какой? – Валька задумался. – А такой, что ежели ты его в постель положишь, то он и глаз закрыть не может, а обязательно, чтобы в котле. Это уж у них такая природа.

III

В последующую неделю были немалые толки и пересуды среди мальчишек местечка. Беспризорный этот, по-видимому, и на самом деле оказался настоящим разбойником.

Например, в ночь с субботы на воскресенье оказался целиком очищенным от яблок сад тётки Пелагеи. В поповском доме неизвестно откуда залетевшим камнем вдребезги разбито стекло. А что ещё хуже – пропал у Сычихи козёл. То есть были обысканы все закоулки, все пустыри, а козла нет и нет...

Яшка всё понимал. Ну, яблоки, скажем, про запас. В стекло камнем – просто для озорства. Ну, а козёл на что? Ни шкуры с него, ни мяса не жрут.

– Жру-у-ут! – с увлечением подтверждал Валька. – Простые люди не жрут, а они все как есть жрут. Такая у них природа.

– Что ты мне забубнил, – рассердился Яшка, – природа да природа! По-твоему, может, и сырьё жрут.

– И сырьё и всякое! – ещё с большим азартом принялся уверять Валька. – Мне Симка рассказывал, что когда был он в городе – такое видел! Идёт торговка с корзиной, а

беспризорники налетели... раз... раз, и не осталось от неё ничего.

– От торговли-то?

– Да не от торговли, а от корзины, с калачами там или с пирогами.

– Так ведь это пирог – пирог, он вкусный, а то козёл – тьфу!

Валька оглянулся, подошёл к товарищу поближе и сказал таинственным шёпотом:

– Яшка! А Стёпка-то за нами выслеживает. Честное слово. Я пошёл к «Графскому». Вдруг как ровно дёрнуло меня обернуться. Я присмотрелся. Гляжу, Стёпкина голова из-за кустов торчит и пристально этак за мною выглядывает. Я нарочно взял да и свернул логом к пустырю, а оттуда домой.

– Ну-у! – И у Яшки даже голос осёкся от волнения. – А может, он просто нечаянно?

– Ну нет, не нечаянно. Этак прямо смотрит и смотрит. А я гляжу – рядом куст колыхнулся... должно быть, там ещё кто-нибудь из ихней партии сидел.

– Так ты, значит, там не был?

– Нет!

– А как же он там, голодный?

– Ничего, ему хлеба в прошлый раз много принесли и воды тоже. Жив будет до завтра. А завтра пойдём либо рано утром, либо к вечеру попозже, когда от мальчишек незаметней. Ух, как осторожно надо действовать, а то накроют! Нас двое, а их четверо. Кабы нам хоть кого третьего к себе придружить.

– Кого придружить? Ты его сегодня придружи, а он

назавтра всё ихним и выболтает. А тогда что? Тогда убьют его непременно.

– Убьют обязательно.

Возвращаясь домой, Яшка за огородами натолкнулся на своего закоренелого врага, Стёпку.

Встреча была неожиданная для обоих. Но противники заметили один другого ещё издалека, и поэтому, не роняя своего достоинства, свернуть в сторону было невозможно.

Сблизившись на три шага, враги остановились и молча, внимательно осмотрели один другого. У Стёпки была палка – следовательно, преимущества были на его стороне. Осмотревшись, Стёпка презрительно и мастерски сплюнул на траву. Яшка не менее презрительно засвистел.

– Ты чего свистишь?

– А ты чего расплевался?

– Я вот тебе свистну! Вы зачем на нашего кота со стрелами охотитесь?

– А пусть в чужой сад не лезет. Когда наш Волк к вам во двор забег, вы зачем в него кирпичами кидали?

– А вы куда Волка девали? Вы врёте, что его отравил кто-то. Вы сами его куда-то спрятали, потому что мы на него в суд за задушенных кур подали. Только вы нас не проведёте... Погодите, мы до вас скоро докопаемся!

– Четверо-то на двоих нашлись!

– Эх, и трусы! «Четверо»! Ваську тоже сосчитали, когда ему только девять лет.

– Что же, что девять. Он вот какой толстый, как боров... да и все-то вы свиньи.

Последнее замечание показалось настолько оскорби-

тельным, что Стёпка схватил с земли глиняный ком и со всего размаху запустил его в Яшку.

И если кровавому поединку не суждено было совершиться, и если Яшка не пал на поле битвы от руки лучше вооружённого врага, то только потому, что этот последний вдруг дико вскрикнул и без оглядки бросился бежать.

Предполагая, что тот струсил, Яшка издал воинственный клич и хотел было преследовать неприятеля, как вдруг услышал позади себя негромкий смех.

Он обернулся и тотчас же понял действительную причину поспешного исчезновения Стёпки.

Возле куста бузины стоял одетый в лохмотья чёрный невысокий мальчуган, в котором Яшка без труда угадал грозу всех мальчишек местечка, героя последних событий — беспризорного налётчика.

IV

И тотчас же Яшка понял, что он погиб окончательно и бесповоротно. Он хотел бежать, но ноги не слушались его. Он хотел закричать, но понял, что это бесполезно, потому что вокруг никого не было. Тогда, решившись отчаянно защищаться, он стал в оборонительную позу.

Мальчуган в лохмотьях продолжал смеяться, и этот смех сбил ещё больше с толку Яшку.

— Ты чего? — спросил он, с трудом ворочая языком.

— Ничего, — отвечал тот. — Что это вы, как петухи, — друг на друга налетели?

Мальчуган раздвинул кусты и очутился рядом с Яшкой.

«Сейчас гирю вынет», — с ужасом подумал тот и сделал шаг назад.

Однако, вместо того чтобы напасть на Яшку, беспризорный бухнулся на траву и, хлопая рукой по земле, сказал:
– Чего же ты столбом встал? Садись.

Яшка сел. Беспризорный засунул руку в карман и, к величайшему изумлению Яшки, вынул оттуда маленького живого воробья и поднёс его ко рту.

– Сожрёшь? – негодуя, воскликнул Яшка.

Беспризорный вопросительно поднял на Яшку маленькие ярко-зелёные глаза, подышал теплом на воробья и ответил:

– Разве ж воробьев жрут? Воробьев не жрут и галок тоже не жрут. Голубь – тут другой разговор. Голубя ежели в угольях спечь – вку-усно! Я их из рогатки бью.

Он сунул воробья за пазуху рваной бабьей кацавейки и, протягивая Яшке недокуренную сигарку, предложил:

– На, докури.

Машинально Яшка взял окурок и, не зная, куда его девать, спросил несмело:

– А козла ты зачем съел?

– Кого?

– Козла... Сычинного. У нас ребята говорят, что ты его упёр на жратву.

Беспризорный хлопнул себя руками по бокам и звонко расхохотался. И пока он хохотал, оцепенение начало сходиться с Яшки, и беспризорный представился ему в совершенно другом свете. Яшка рассмеялся и сам, потом подскочил и затряс кистью руки, потому что догоревший окурок больно ожёг ему пальцы.

Успокоившись, подвинулись друг к другу ближе.

– Тебя как звать? – спросил беспризорный.

– Меня Яшкой. А тебя?

– А меня Дергачом.

– Почему Дергачом?

– А почему тебя Яшкой?

– Вот ещё скажешь тоже. Яков – такой святой был, и именины справляют. А такого святого, чтобы... Дергач, не должно бы быть...

– А мне и наплевать, что не должно.

– И мне, – немного подумав, признался Яшка. – Только ежели при матери этак скажешь, так она за ухо. Отец, тот ничего, он и сам страсть как святых не любит – якобы дармоеды все. А мать – у-уу! Про что другое, а про это и не заикнись. Я один раз масла из лампадки отлил – Волку лапу зашибленную смазать, так что было-то...

– Били? – участливо спросил Дергач.

– Нет! Только за волосы оттрепали да в чулан заперли. – И задорно он добавил: – А зато я, пока в чулане сидел, назло со всех крынок сливки спил... А ты, Дергач, зачем к нам пришёл? – перескочил вдруг Яшка.

– Значит, нужно было, – ответил тот и глубоко вздохнул.

Этот тяжёлый, горький вздох, за которым, казалось, спрятано было что-то большое, невысказанное, почему-то точно теплом обдал Яшку.

– Давай дружить, Дергач? – неожиданно для самого себя искренне предложил Яшка. – Я тебя с Валькой сведу – с моим товарищем. Хороший... только врёт много. А потом... – Тут Яшка поколебался. – Потом мы тебе интересную вещь скажем. И как весело будет жить, Дергач.

Дергач ничего не ответил. Он лежал, подставив лицо

отблескам багрового, угасающего горизонта. И Яшке показалось, что Дергач чем-то не по-детски глубоко опечален.

Однако, заметив на себе пристальный взгляд Яшки, Дергач быстро повернулся и сказал, вставая:

– Достань завтра у отца махорки... и принеси сюда, а то у меня вся повышла... Я буду ждать здесь же об эту пору.

И, не прощаясь, он раздвинул кусты и исчез, оставив Яшку размышлять о странной встрече и странном новом товарище.

V

Дома тихо. Потрескивают угли в самоваре. Яшка строгаёт деревянную дощечку. Нефёдыч углубился в чтение. Из-за развёрнутого листа газеты виден его красный лоб, отсыревший после пятого стакана чая.

Нюрка мастерит кукольную шляпу. Мать возится на кухне.

– Не пойму, – слышится её голос. – Никак не пойму, куда девались из сеней полчугуна вчерашнего борща. Чугун на месте, а борща нет. Анка! Ты поросюку не выливали?

– Нет, мам!

– Ну так, должно быть, этот идол опрокинул.

«Этот идол», то есть Яшка, сидит и пыхтит, обглаживая дощечку, и делает вид, что разговор его не касается.

– Тебе, что ли, говорят? Ты опрокинул? – сердито повторяет мать.

Яшка, нехотя и не отрываясь от работы, отвечает:

– Кабы я, мам, опрокинул, так всё бы на полу было, а раз пол сухой, значит, и не опрокидывал.

– А пёс вас разберёт! – ещё больше раздражается мать. – Тот не брал, этот не опрокидывал, что же он, высох, что ли? Отец! Да брось ты свою газету! Кто же, выходит, взял-то?

Нефёдыч не торопясь складывает газету и, очевидно расслышав только конец фразы, отвечает невпопад:

– Действительно... И кто бы мог подумать. Опять они взяли, да как ловко, что и не подкопаешься.

– Да кто они-то? Кому же это прокислый суп понадобился?

– Да не суп... какой суп? – растерянно оглядываясь и с досадой отвечает Нефёдыч. – Я говорю, консерваторы опять власть взяли.

Убедившись в том, что ни от кого толку не добьёшься, мать плюнула и принялась греметь посудой. А Нефёдыч, почувствовавший желание поговорить, продолжал:

– И казалось бы, что отошло их время. Ан нет, вывёртываются ещё. Скажем, вон, наш граф. Имение у него по-сожгли, сам где-то по заграницам шатается. А всё, поди-ка, мечтает, как бы старое вернуть. Да ещё бы и не мечтать! Возьмём хотя бы имение – чем там ему не жизнь была? Картинка – что внутри, то и снаружи. Одни оранжереи чего стоили. И чего там только не было – и орхидеи, и тюльпаны, и розы, и земляника к рождеству... Пальма даже была огромная, больше двух сажен. Специально с Кавказа, из-под Батума, выписали. Я говорю ему: «Ваше сиятельство, куда же мы такую махину денем – это всю оранжерею ломать придётся!» А он отвечает: «Ничего, ты её

прямо в грунт посади, а каждый год к холодам возле неё специальную постройку из стекла делай, а к весне опять разбирать будем». Ну и разбирали. Красивая пальма была. Мне тогда за уход граф двадцать пять целковых подарил... как раз в мае.

— Вот ещё спятил старый. Да разве же у нас свадьба в мае была? Свадьбу как раз после троицы сыграли.

— Уж не знаю, после троицы или после чего, а только в мае мы тогда как раз левкой высаживали.

— Что ты мне говоришь! — раздражаясь внезапно, как и всегда, говорит мать. — Посмотри в метрики, за божницей лежат.

— Мне смотреть нечего. Я и так помню. Ещё тогда старший барчук только что из кадетского корпуса на каникулы приехал и фотограф снимал его под пальмой. У меня и сейчас где-то карточка эта сохранилась... Яшка, я показывал тебе эту карточку?

— Сто раз видел, — отвечает Яшка.

Мать, негодуя, всплескивает руками и лезет за метриками в божницу.

Она долго не может найти нужную ей бумагу. За это время пыл её несколько остывает, ибо, прикинув в уме, она начинает припоминать, что троица в том году, когда была свадьба, как будто бы и в самом деле была ранняя и приходилась на май. Но тут её внимание отвлекает другое обстоятельство.

— Анка! — слышится опять её голос. — Ты не убирала из-за божницы венчальные свечи?

— Нет, мам!

— Отец! Уж ты, конечно, не трогал свечей?

– Двадцать пять лет не трогал, – покорно подтверждает Нефёдыч. – Как раз со дня самой свадьбы не трогал.

– А я их на прошлой неделе ещё видела. Куда же они девались? Наверно, опять Яшка куда-нибудь засунул.

Яшка, поскольку вопрос не обращен прямо к нему, продолжает молча сопеть над доской.

– Яшка! Ты, паршивец этакий, должно быть, извёл свечи?

Яшка кончает работу, кладёт нож на стол и отвечает серьёзно, но в то же время чуть лукаво поглядывая на мать:

– У нас, мам, по наказу Ленина электричество провели, так что мне при нём и без ваших свечей светло.

– Так куда же они делись-то? Вот ещё чудные дела! Борща никто не выливал, свечей никто не брал, а ничего на месте нету. Что ты тут с ними будешь делать!

VI

Ранним утром, когда ещё в доме все спали, из окошка высунулись белокурые вихры Яшки. Увидав Вальку, нетерпеливо ждавшего возле забора, Яшка спрыгнул на влажную траву, и оба мальчугана исчезли в малиннике. Через минуту они вынырнули оттуда, причём Яшка осторожно нёс большой глиняный горшок, завязанный в грязную тряпицу.

Выбравшись за огороды, ребята быстро помчались по тропке, ведущей мимо кустов и оврагов к развалинам «Графского».

По пути Яшка рассказывал про вчерашнюю встречу.

– И вовсе он без гири, а в кармане у него воробей... и козлов они не жрут, а всё это мальчишки со страха брешут. А сегодня мы вдвоём к нему пойдем. Ежели он с нами сдружится, он нас от Стёпкиной компании застоит. Он сильный, и ему всё нипочём. А потом, он ежели и вздует кого, то на него некому пожаловаться, а на нас чуть что – и к матери.

– А почему он беспризорный? Так, для своего интереса, или домашних у него никого нет?

– Не знаю уж! Не спрашивал ещё, только вряд ли, чтобы для интереса: у беспризорных-то ведь жизнь тяжёлая. Я вот вырасту, выучусь, на завод пойду или ещё куда служить, а он куда пойдёт? Некуда ему вовсе будет идти.

Роща встретила мальчуганов утренним шумом, задорным гомоном пересвистывающихся птиц и тёплым парным запахом высыхающей травы.

Вот и развалины – молчаливые, величественные. В провалах тёмных окон пустота. Старые стены пахнут плесенью. У главного входа навалена огромная куча щебня от рухнувшей колонны. Кое-где по изгрызенным ветрами и дождями карнизам пробивались поросли молодого кустарника.

Нырнув в трещину каменной ограды и пробравшись через чащу бурьяна и полыни, доходившей им до плеч, ребята остановились перед сплошной завесой буйно росшего одичалого плюща. Посторонний глаз не разглядел бы здесь никакого прохода, но ребята быстро и уверенно взобрались на полусгнивший ствол сваленной липы, раздвинули листву, и перед ними открылось отверстие окна, выходящего из узкой, похожей на колодец комнаты без крыши.

Поднявшись по лесенке, они очутились уже в большой комнате второго этажа, из окон которой можно было видеть кусок Зелёной речки и тропку, ведущую в местечко.

Отсюда они попали на балкон, прямо перешли на крышу, дальше через слуховое окно вниз. Здесь было совсем темно, потому что комната эта раньше служила, очевидно, кладовой и железные ставни с заржавленными засовами крепко запирали окна.

Яшка где-то пошарил рукою. Достал огарок позолоченной венчальной свечи с бантом и зажёл его.

В углу показалась железная дверца. Добравшись до неё, Валька дёрнул за скобу.

Ржавые петли горько заплакали, заскрипели, и ребята очутились в большом полуподвале с узенькими окнами, выходящими на поверхность заплывшего водорослями пруда.

И тотчас же в приветствие мальчуганам раздался из угла задорный, весёлый визг.

– Волк, Волчоночек, Волчонок! – закричали ребята, бросаясь к привязанной за ошейник собаке. – Соскучился... проголодался. Гляди-ка, весь, как есть до корки, хлеб съел, и воды в корытце нисколечко.

Волк, повизгивая, помахивал хвостом, пока его развязывали. Потом запрыгал возле горшка, ухитрился лизнуть Яшкину щёку и чуть не сшиб с ног Вальку, упёршись ему лапами в спину.

– Да погоди же ты, дурень... дай горшок-то развязать... Ну, на – лопай.

Собака стремительно запустила морду в прокислый борщ и с жадностью принялась лакать.

Подвал был сухой и просторный. В углу лежала большая охапка завядшей травы.

Здесь находилось тайное убежище ребяташек, спрятавших сюда преступного душителя чужих кур – собаку Волка.

Поджидая, пока Волк насытится, ребята завалились на охапку травы и принялись обсуждать положение.

– Еду трудно доставать, – сказал Яшка. – Ух, как трудно! Мать и то вчера борща хватилась. А Волк-то всё растёт... Гляди-ка, он уже почти всё слопал. Ну где на него напасёшься!

– У меня тоже, – уныло поддакнул Валька. – Мать увидела один раз, как я корки тащу, давай ругаться. Только не догадалась она – зачем. Думала, что кривому развозчику на пареные груши менять. Что же теперь делать? А на волю выпустить ещё нельзя?

– Нет, пока ещё нельзя. Скоро суд будет насчёт Стёпкиных кур. Мамку вызывают, а меня в свидетели.

– В тюрьму могут засадить?

– Ну, уж в тюрьму? Деньги, скажут, за кур давайте. А где ж их возмёшь, денег-то. И на что только им деньги, они и так богатые, на базаре-то вон какая лавка.

Волк подошёл, облизываясь, и лёг рядом, положив большую ушастую голову на Яншины колени. Полежали молча.

– Яшка, – спросил Валька, – и зачем, по-твоему, этакий домина?

– Какой?

– Да огромный. Его ежели весь обойти... ну, скажем, в каждую комнату хотя заглянуть, и то полдня надо. А для

чего графам такие дома были? Ведь тут раньше штук сто комнат было?

– Ну, не сто, а что шестьдесят – так это и мой батька говорил. У графов каждая комната для особого. В одной спят, в другой едят, третья для гостей, в четвёртой для танцев.

– И для всего по отдельной?

– Для всего. Они не могут так жить, чтобы, например, комната и кухня. Мне батька говорил, что у них для рыб и то отдельная комната была. Напускают в этакый огромный чан рыб, а потом сидят и удочками ловят.

– Эх, ты! И больших вылавливают?

– Каких напускают, таких и вылавливают, хоть по пуду.

Валька сладостно зажмурился, представляя себе вытаскиваемого пудового карася, потом спросил:

– А видел ты когда-нибудь, Яшка, живых графов?

– Нет, – сознался Яшка. – Мне всего три года было, как их всех начисто извели. А на карточке видел. У батьки есть. На ней пальма – дерево такое, а возле неё графёнок стоит, так постарше меня, и в погонах, как белые, кадетом называется. А хлюпкий такой. Ежели такому кто дал бы по загривку, он и в штаны навалил бы.

– А кто бы дал?

– Да ну хоть я.

– Ты... – Тут Валька с уважением посмотрел на Яшку. – Ты вон какой здоровый. А если я дал бы, тогда навалил бы?

– Ты... – Яшка, в свою очередь, окинул взглядом щуплую фигурку своего товарища, подумал и ответил: – Всё равно навалил бы. Батька говорит, что никогда графам насупротив простого народа не устоять.

– А какой на пальме фрукт растёт? Вкусный?

– Не ел. Должно быть, уж вкусный, ежели уж на пальме. Это ведь тебе не яблоня, она тыщу рублей стоит.

Валька зажмурился, облизывая губы:

– Вот бы укусить, Яшка! Хотя мале-енечко... а то этак всю жизнь проживёшь, и не укусишь ни разу.

– Я укушу. Я вырасту, в комсомольцы запишусь, а от-туда в матросы. А матросы по разным странам ездят и всё видят, и всякие с ними приключения бывают. Ты любишь, Валька, приключения?

– Люблю. Только чтобы живым оставаться, а то бывают приключения, от которых и помереть можно.

– А я всякие люблю. Я страсть как героев люблю! Вон безрукий Панфил-будёновец орден имеет. Как станет про прошлое рассказывать, аж дух захватывает.

– А как, Яшка, героем сделаться?

– Панфил говорит, что для этого нужно гнать нещадно белых и не отступаться перед ними.

– А ежели красных гнать?

– А ежели красных, так, значит, ты сам белый, и я вот тебя так тресну по котелку, тогда не будешь трепаться.

Валька испуганно замигал глазами:

– Так я же нарочно. Разве же я за белых? Спроси хоть у Мишки-пионера.

– Мне в школьном отряде не больно понравилось, – сказал немного погодя Яшка. – Вот в других отрядах хоть на лето в лагеря уходят, в лес. А в школьном девчонок больше. И всё стихи там учат, про школу да про ученье. Я походил, походил да и перестал. Какие же могут быть летом стихи! Летом рыбу ловить надо, или змея пускать, или гулять подальше.

– А меня в школьный отряд вовсе не приняли. Серёжка Кучников нажаловался на меня, будто бы я у Семёнихи груши пообтряс. Ябеда такой выискался, а сам когда в прошлом году нечаянно у Гавриловых снежком окно разбил, то и не сознался, а на Шурку подумали, – его мать и выдрала. Тоже этак разве хорошо делать?

– Ничего! Вот к зиме лесопилка опять заработает, и тамошний отряд и запишемся. Там весёлые ребята. Там ежели и подерутся иногда, то ничего. Ну подрались – помирились. Разве без этого мальчишкам можно? А в школьном отряде – чуть что, сразу обсу-ужда-ают!

Яшка сердито плюнул и поднялся:

– Идти надо. Ты посиди ещё, а я наверх – Волку за водой сбегаяю.

Вернулся Яшка минут через десять. Лицо его было озабоченно.

– Гляди-ка, – сказал он, протягивая ладонь.

– Ну, чего глядеть-то? Окурок...

– А как он в верхнюю комнату попал?

– Так, может, это давнишний, – неуверенно предположил Валька. – Может, это ещё от старого режима остался.

– Ну нет, не от старого. Вон на нём написано «2-я гос-фабрика».

– Тогда, значит, это Стёпкины ребята поверху уже шныряли. Я знаю, у них Серёжка Смирнов тайком курит.

– Конечно, они, – согласился Яшка. Но тут он посмотрел на окурок, по которому золотом было вытиснено «Высший сорт», покачал головою и сказал: – А только с чего бы это Серёжка Смирнов закурил вдруг такие дорогие папиросы?

Мальчуганы посмотрели, недоумевая, друг на друга. Потом крепко привязали Волка, наказали ему молчать. И, быстро выбравшись, побежали домой.

Дергач затянулся дымом сигарки, свёрнутой из махорки, принесенной Яшкой, и, тыкая пальцем на Вальку, спросил:

– Так это он тебе набрехал, что я козла съел? Скажет тоже! Козёл-то ещё и сейчас в овраге лежит – ногу он себе сломал. Я ему ещё клочок травы сунул, чтобы не издох с голоду.

– Дергач, – спросил после некоторого колебания Яшка, – а где ты живёшь?

Дергач усмехнулся:

– Сам при себе живу. Где на ночь приткнусь, там наутро и проснусь.

– А у тебя родные есть?

– Есть, да далеко лезть.

Яшка, сбитый с толку такой манерой отвечать, сказал укоризненно:

– И зачем ты, Дергач, огрызаешься! Мы ведь тебе не допрос делаем, а ежели спрашиваю я, то по дружбе.

Дергач все ещё недоверчиво посмотрел исподлобья на ребят и ответил уклончиво:

– А кто вас знает, по дружбе ли или ещё почему. Я как-то в Ростове под мостом жил. Подсел ко мне какой-то хлюст. Этаким же, как и я, рвань рванью. Колбасой угостил, папироску дал. Ну, то да сё, и начал про мою жизнь расспрашивать. Я ему сдуру возьми да и расскажи. И как от отца с матерью в голодные годы потерялся, и какой я губернии, какой местности, чем живу. Даже про случай, как

мясную лавку обокрали, и то рассказал. Дня этак через три подходит ко мне сам Хрящ да как хлоп по шее! А сам газету мне в лицо тычет. «Ты, говорит, чего это язык распустил?!» А я грамоту знаю. Посмотрел я в газету и ахнул. Мать честная! Всё до слова, что я говорил, в газете напечатано – и кличка, и имя, и откуда родом, и, главное, про мясную лавку. Здорово тогда избил меня за это Хрящ.

– Мы не напечатаем в газету, – испуганно отталкивая от себя такое обвинение, заговорил Валька. – Мы даже ни строки не напечатаем. Я даже не видел никогда, как это печатают, и он не видел тоже.

Дергач лежал на спине и о чем-то думал. Так, по крайней мере, решил Яшка, потому что, когда человек лежит, уставившись глазами в звёздное небо, он не может, чтобы на думать.

– Дергач, – спросил неожиданно Яшка, – а кто он тебе?

– Какой «он»?

– Хрящ.

При упоминании этого имени Дергач весь как-то дернулся, быстро повернулся и спросил, недоумевая и озлобленно:

– Какой ещё Хрящ?

– Да ты же сам только что про него говорил.

– А-а... разве говорил? – опять повёртываясь на спину, рассеянно проговорил Дергач. – Так... человек один... У-ух, и человек! – Тут Дергач приподнялся, облокотившись на локти, лицо его перекосилось, и, отшвыривая окурок, он добавил едко: – У-ух, и негодяй... ух, и бандит!

– Настоящий? – широко раскрывая удивлённо-любопытные глаза, спросил Валька и добавил с не-

скрываемым сожалением: – А я вот ничего не видел – ни графа живого, ни бандита настоящего.

Дергач презрительно пожал плечами:

– А я и графа видел.

– Живого?

– Конечно, не дохлого.

Валька, как и всегда в моменты возбуждения, зажмурил глаза и, проникшись невольным уважением к оборванцу, сказал с плохо скрываемой завистью:

– И счастливый же ты, Дергач, что всё видел.

Дергач посмотрел на Вальку удивлённо, пожалуй, даже сердито:

– Ух, кабы тебе такое счастье, завыл бы ты тогда, как перед волком корова! Нет, уж не приведись никому такого счастья... Эх, кабы мне... – Тут Дергач махнул рукою и замолчал.

И опять Яшке показалось, что на душе у Дергача есть какое-то большое, невысказанное горе. И, не зная, собственно, к чему, он положил руку на плечо Дергачу и сказал:

– Ничего, Дергач! Может быть, как-нибудь всё и обойдётся.

Дергач отшатнулся было, но, встретившись глазами с серьёзно-дружеским взглядом мальчугана, склонил слегка голову и ответил как-то приглушённо:

– Хорошо бы, если всё обошлось, да только не знаю.

И с этого вечера между Яшкой и Дергачом протянулась нить необъяснимо крепкой дружбы.

VIII

Идея Дергача была прямо-таки гениальна. Посвященный в тайну мальчуганов и их затруднения с доставкой продовольствия Волку, он быстро нашёл выход.

На рассвете можно было видеть Яшку и Вальку в саду, возле старой бани. Они торопливо выносили оттуда большой чугунный котёл, в котором мать разводила обыкновенно щёлок для стирки белья.

То обстоятельство, что котёл этот ребята потащили не через двор, а перевалили его прямо через забор к огородам, показывало, что всё это делается без ведома домашних.

Выбравшись на тропинку, мальчуганы подхватили котёл за ручки и поспешно скрылись в кустах.

Если бы проследить их дальнейший путь, то можно бы было видеть их пробегающими мимо мусорной свалки и исчезающими в провале глубокого пустынного оврага. Здесь было тихо и безветренно, только жужжанье неуклюжих шмелей да неумолкаемый рокот весёлых кузнечиков заполняли утреннюю тишину.

Ребята остановились передохнуть.

— Ну и ловко же мы справились! Надо ведь было такую машину вытащить. А к вечеру мы опять обратно стащим, и всё будет шито-крыто.

— Вечером-то труднее будет, Яшка, народу больше.

— Ничего, справимся как-нибудь! Ну, пойдём.

Они свернули в одно из бесчисленных ответвлений русла оврага и вскоре увидали дымок костра и Дергача, деловито хозяйничавшего возле огня.

Дергач держал в руке нож и пучком сырой травы об-

тирал окровавленное лезвие. Рядом лежала только что содрванная козлиная шкура и разрезанная на части туша.

– А я уж думал, что вы не придёте, – сказал приблизившимся ребятам Дергач. – Смотрите-ка, как я мясо разделал. Тут теперь Волку на неделю хватит. Надо проварить только покрепче да соли больше бухнуть, чтобы не испортилось. Ну, давайте за работу, живо!

Дергач распоряжался умело и уверенно. Валька был командирован собрать хворост. Яшка камнем вбивал стойки для котла, а сам Дергач обчищал от сучьев перекладину.

– Ребята! – возбуждённо говорил Валька, бросая на землю огромную кучу хвороста. – А внизу ящериц сколько! Огромные есть, давайте потом наловим.

– Можно потом наловить, а сейчас давай подбрасывай, распаливай огонь.

Пламя, яростно пожирая сухую листву подброшенных веток, высоко взметнулось и полыхнуло теплом на лица мальчуганов, и без того раскрасневшиеся.

В котёл, наполненный водою из соседнего ручья, наклали куски мяса и высыпали чуть не целый фунт соли.

– Так... готово теперь. С неё Волк так разжиреет, что скоро с телёнка станет.

Завалились все на траву. Солнце высушило уже росу. Пахло мятой, полыньёю и мёдом.

Лежали сначала молча. Высоко в небе звенели беспечные, счастливые жаворонки да где-то далеко в стороне мычало выгнанное на луга стадо.

– Валька! – лениво сказал, не поворачивая головы, Яшка. – Я нашёл карточку-то... Ну, какую! С пальмой, которую я тебе показать обещал.

– А ну дай.

Валька приподнялся, рассматривая выцветшую фотографию, и лицо его приняло несколько разочарованное выражение:

– Ну уж! Этакую пальму-то я в трактире видал через окошко, только не знал, что пальмой называется. А граф-то так себе, какой-то вертлявый, только нос вперёд крючком выдался да подбородок четырёхугольный.

– Это у них в семье все такие. Батька говорил, что у всего ихнего рода этакие носы, как у ястребов, так уж по наследству пошло.

– А ну дай, я посмотрю! – отозвался Дергач, гревшийся на солнце.

Он поднёс фотографическую карточку к глазам и в ту же секунду слегка вскрикнул и быстро перевернулся.

– Змей! – испуганно вскрикивая, взвизгнул Валька. Яшка подпрыгнул тоже.

Но Дергач не шевельнулся, схватил фотографию обеими руками и жадно впился в неё глазами.

– Где змей? Чего ты врёшь, дурак? – рассердился на Вальку Яшка. – Я вот тебе дам затрещину, чтобы знал, как спугивать.

Валька виновато заморгал глазами:

– Так разве же это я! Это же Дергач... чего он как ужаленный вертанулся.

Яшка с удивлением посмотрел на Дергача. Лицо того было взволнованно и глаза блестели.

– Кто это? – спросил Дергач, показывая на карточку.

– Это... это граф здешний... то есть сын графов. Их в революцию разгромили. А где Волка-то мы прячем – это ихняя усадьба была.

– Вон оно что! – пробормотал Дергач, засовывая карточку в карман. И, отвечая на Яшкин вопросительный взгляд, добавил: – Потом отдам!... А ну-ка, чего мы закатились! Огонь чуть не погас. Давай хворосту.

Долго – почти весь день – возились в овраге ребятишки. Собирали сучья, играли в колышек, поймали внизу четырёх ящериц и завязали их занятно в тряпицу.

Только что окончили варить козлятину, как Валька, разыскавший поверху дикую малину, кубарем скатился вниз.

– Ребята, – прошептал он взволнованно, – по тропке из леса Стёпка, Мишка и Петька идут... должно быть, за грибами ходили. Вот бы накрыть их!

– Нет, – ответил Яшка, переваривая в себе желание отколотить своих заклятых врагов. – Ежели мы вдвоём выскочим, то они набьют нас, потому что их больше. А ежели с Дергачом, тогда они узнают и всем расскажут, что мы с ним заодно.

– Дай я один пойду, – задорно предложил Дергач, и, схватив палку, он, как ящерица, начал пробираться наверх.

Валька и Яшка забрались к краю оврага и, чуть высунув головы, приготовились наблюдать, а на крайний случай, уже невзирая ни на что, прийти на помощь товарищу.

Дергач остановился за кустом у тропки и стал караулить. Едва Стёпкина компания приблизилась, Дергач вышел и, чуть расставив ноги, загородил им дорогу.

Столь неожиданное появление опасного противника заставило остолбенеть мальчишек. Но, сообразив тотчас же, что их трое, а он один, они решили защищаться.

– Бросай корзину! – крикнул Дергач вызывающе. Вме-

сто ответа Стёпка поставил корзину и наклонился за камнем; остальные двое сделали то же.

– А, так вы вот как! – рассерженно крикнул Дергач, и, оглушительно засвистев, он бросился с поднятой палкой на врагов.

– Кровь! – в ужасе крикнул вдруг кто-то, разглядев красные руки Дергача.

И, вероятно, предположив, что страшный Дергач только что совершил кровавую расправу над каким-либо путником, все трое, не дожидаясь, пока и их постигнет та же участь, в панике бросились бежать, преследуемые издевательским свистом Дергача.

– Видал, – восхищённо завопил Валька, – как он один на троих! Ой! Ой! Как хорошо, Яшка, что мы сдружились с Дергачом! – И Валька вне себя от восторга принялся кататься по траве.

Дергач спустился к костру, молча бросил захваченную корзину и опять лёг.

– Как это ты их здорово! – сказал Яшка, подсаживаясь рядом.

Дергач слегка улыбнулся, махнул рукой, как бы говоря, что не стоит о таком пустяке разговаривать, и опять, вынув фотографию, принялся её рассматривать. Яшка высыпал грибы на траву, а старую корзинку кинул в огонь.

– Зачем ты?

– Нельзя же с ихней корзиной домой возвращаться, узнать могут. А грибы мы потом ссыпем в опростанный котёл и домой стащим, а там в свои лукошки пересыпем. А если матери станут ругаться: где пропадали? – мы скажем, что за грибами ходили. Грибы-то во какие... белые, берёзовиков вовсе мало.

Совсем уже вечерело, когда Дергач, нанизав куски мяса на бечеву, отправился снести продовольствие в «Графское», а ребята, подхватив котёл, потащились к дому.

Они благополучно миновали тропку, никого не встретили на огородах и уже в саду столкнулись с поливавшей грядки Яшкиной матерью.

— Это вы что же, идолы, делаете? Это вас куда с котлом носило? — грозно приближаясь, спросила она.

Валька, как и всегда в таких случаях, стремительно дал ходу, а Яшка так оторопел, что только и нашёлся ответить:

— Мы, мам, за грибами... мы, смотри, каких белых...

— Это с котлом-то за грибами? — остолбенела мать. — Да ты чего врёшь-то!

Получив затрещину, Яшка взвыл не столько от боли, сколько по обычаю, и улепетнул во двор.

Мать подошла к котлу, заглянула в него и, увидав большую грудку грибов, пришла в ещё большее недоумение:

— Батюшки вы мои! Да что же это такое? Я думала, он врёт, что за грибами... а он на самом деле... — И она беспомощно развела руками. — А только... только где же это видано, чтобы по лесу с двухпудовым котлом за грибами ходили... Да уж они, не дай бог, не сошли ли и на самом деле с ума?

IX

В этот вечер Яшку из дома больше не выпустили. Валька покрутился было возле его окна, посвистел. Но оттуда вдруг выглянуло рассерженное лицо Яшкиной матери и послышался её суровый голос:

– Я вот тебе посвищу! Я тебе посвищу, поросёнок этакий! Я вот тебе сейчас ведро с помоями на голову выплесну!

Валька шаром откатился подальше и решил, что Яшку заперли либо засадили за арифметику и придётся одному бежать ныртку перекидывать.

Он захватил с собою «кошку», то есть якорь из гвоздей, подвешенный к тонкой бечеве, и понёсся к речке.

Солнце уже скрылось. Над почерневшей рекою раскинулись облачка тёплого пара. Валька спустился к старой искорёженной раките, раскинувшейся возле поросшего осокой берега, взял конец бечевы в левую руку, правой раскачал «кошку» и, наметив место, быстро выбросил её вперёд.

Вода булькнула. Испуганно бултыхнулись с берега встревоженные лягушки.

Валька потянул конец бечевы – бечева не натягивалась.

– Не зацепило! – догадался он и перебросил «кошку» чуть правее.

– Ага... теперь есть!

Сердце его затрепетало, как птица, запутавшаяся ночью в кустах, когда неуклюжие прутья ныртки показались над поверхностью воды.

– Эх, кабы щука... либо налим фунта на три.

Он выхватил ныртку, поднял её к глазам и, не обращая внимания на струйки воды, стекавшие ему на штаны, принялся рассматривать улов:

– Две плотвы... три ерша, три сайги и два рака.

Валька вздохнул разочарованно, нанизал рыбёшек на кукан. Раков выбросил в реку, ныртку перекинул на другое место и, свернув «кошку», выбрался наверх.

Была уже ночь. Красной дугою выглядывал из-за леса край огромной луны. И, озарённые её слабым сиянием, развалины графской усадьбы казались теперь снова величественным, крепко спящим замком.

Но что это? Валька подпрыгнул, точно зацепил ногой за корягу, и выронил кукан. Одно из окон спящего замка озарилось изнутри слабым светом.

«Что за штука? — подумал Валька. — Кто это там?... Ага! Да это, конечно, Дергач зажжёт свечу. Но чего он там бродит? Как он, дурак, понять не может, что отсюда могут увидеть мальчишки и заинтересоваться!»

Валька наклонился, отыскивая оброненный кукан. Когда он поднял голову, то света в окошке уже не было.

И на Вальку напало сомнение, что не лунный ли отблеск на случайно сохранившемся осколке стекла принял он за огонь.

«Надо будет завтра спросить Дергача, — решил он. — Ежели он не зажигал огня, то, значит, мне показалось».

Х

С утра Яшку нарядили в новые штаны, праздничную рубаху, и из сундука мать достала пахнувший нафталином картуз.

— Мам... а картуз-то зачем? — запротестовал было Яшка. — Сейчас не осень и не зима, и так жарко.

— Помалкивай! — оборвала его мать. — Хочешь, чтобы судья посмотрел на тебя и сказал бы: у, какой хулиган, весь растрёпанный! Да рожу-то получше умой. Да если спрашивать тебя чего будут, то отвечай скромно да носом не шмыгай.

В суде они встретили Стёпкину мать – лавочницу, разряженную в старомодную плюшевую кофту, и Степку, до того зачёсанного назад, что, казалось, глаза его даже по лбу подались.

Матери расселись молча, не поздоровавшись. Стёпка же ухитрился показать Яшке язык, на что тот повернул ему в ответ аккуратно сложенную фигу.

Началось разбирательство этого запутаннейшего дела по встречным искам о возмещении убытков.

Первый – о стоимости трёх кур, задушенных собакой, носящей кличку «Волк». Второй – о стоимости двух утят и куска вареного мяса, похищенных котом, носящим кличку «Косой». Сначала ничего не возможно было понять. Выходило как будто бы так, что кур никто не душил, а мяса никто не утаскивал. Потом вдруг оказалось, что куры сами виноваты, ибо забрели на чужую территорию и разрывали грядки с рассадой.

А утят сожрал и мясо стащил не «Косой» кот, что Стёпкин, а «Бесхвостый» Сычихин, который давно уже имел репутацию подозрительной личности, занимающейся тёмными делами. Однако бойкая Сычиха тотчас же клятвенно присягнула в том, что «Бесхвостый» вовсе не её кот, а живёт он на чердаке её бани самовольно, сам заботясь о своём пропитании, и никакой ответственности за него она нести не может.

– Свидетель Яков Бабушкин, – спросил судья, Егор Семёнович, добрый старик со смеющимися глазами, – ответьте мне на вопрос: были ли вы во дворе, когда собака Волк бросилась на соседских кур?

– Был, – отвечает Яшка.

– Что вы делали?

– Мы... – Яшка заминается.

– Отвечайте... не бойтесь, – подбадривает судья.

– Мы с Валькой пуляли из рогуль.

– Из чего-о?

– Из рогуль, – смущаясь, продолжает Яшка. – Палка такая с резиной, в неё камень заложешь, а он как треснет!

– Куда треснет? – удивляется судья.

– А куда нацелиться, туда и треснет, – объясняет Яшка и окончательно сбивается, услышав гул сдержанного хохота.

– Так!... И что же вы сделали, когда увидели, что собака Волк душит соседних кур?

– Так они, товарищ судья, сами лезли к нам на грядки...

– Я не про то! Вы ответьте, что вы сделали, когда увидели, что собака душит кур?

– Мы... так мы когда подошли, то уже Волк убежал.

– А куры были уже дохлые?

– А кто их знает... может, и не дохлые... может, они просто с перепугу обмерли.

– Садитесь... Свидетель Степан Сурков. Верно ли, что ваши куры забрели на чужой огород?

– Они не сами забрели, их нарочек зерном подманили.

– Почему же вы думаете, что подманили?

– Обязательно подманили. А то чего же они на чужой двор пойдут? Что у них, своего нет, что ли?

– Когда вы подобрали кур, то они были уже дохлые?

– Вовсе дохлые... а у одной даже полноги не хватало. Мать как понесла их на базар продавать, то тех двух ничего, а эту третью насилу...

Тут Степан, почувствовав вдруг тычок в бок со стороны сидевшей рядом матери, внезапно умолкает.

Но уже поздно, и судья спрашивает строго и удивлённо:
– Так, значит, вы... дохлых кур продали на базаре?

Стёпкина мать чувствует, какую оплошность допустил её сын, и пробует вывернуться:

– Врёт он, товарищ судья! Куры только помяты были, а вовсе ещё живые; я их, конечно, зарезала и продала.

– Та-ак! – растягивая слова и хитро сощуриваясь, говорит судья. – Значит, вы утверждаете, что зарезали своих живых кур и продали их на базаре... Но позвольте: о чем же тогда может быть иск?

Зал дружно смеётся, а Яшка чуть не взвизгивает от удовольствия. Яшка наверняка знает, что Волк задушил кур, но после того как Стёпка сболтнул, что их продали на базаре, Стёпкиной матери никак невозможно утверждать, что она продала дохлых кур.

– Ух! – кричит он, через некоторое время выходя из суда. – Наша взяла.

А позади разозлённая лавочница говорит тихонько Стёпке:

– погоди, вот домой придём, я тебя выдеру, покажу я тебе, как языком брехать! – И, поворачиваясь к Яшкиной матери, она кричит сердито: – А вы скажите своему сорванцу, чтобы он не безобразничал! Утром отворяю кладовку, да так и обмерла – по всему полу ящеры шмыгают. Знаю я, кто это с огорода через окошко напускал.

Но Яшка дёргает мать за подол и говорит ей убедительно:

– Не верь, мам! Что я, змеиный укротитель, что ли? Я и сам всех ящеров и змеев хуже смерти боюсь.

В предыдущий вечер Дергач, захватив нанизанную на бечёвку козлятину, пустился бежать к «Графскому».

В подвале стоял уже полумрак. Дергач зажёл свечу и, кинув кусок мяса всегда голодному Волку, улёгся на охапку сена и опять вынул фотографию.

– Так вот он кто! – прошептал Дергач. – А я думал, что это только кличка у него... В эполетах... А теперь до чего дошёл человек... Так, значит, это его вся усадьба была...

Дергач сунул карточку в карман и, уложив с собою тёплого, плотно закусившего Волка, закрыл глаза.

Под сводами каменного подвала стояла мёртвая тишина. Слышно было даже, как колотится равномерно сердце Волка да шуршит под окном на пруду тростник.

Дергач уснул. Спал он крепко, но беспокойно. Во сне он видел пальму, а под пальмой Яшку.

«Иди сюда», – звал Яшка. И вдруг Дергач увидал, что это вовсе не Яшка, а сам грозный налётчик Хрящ стоит и манит его пальцем: «А ну, пойди сюда, пойди сюда... А почему ты захотел быть домушником, а зачем ты бросил стремя?»

Дергач хотел крикнуть, но не мог; хотел бежать, но трава заклеила ноги; он рванулся и... открыл глаза.

Волк стоял рядом. Видно было, как зеленоватыми огоньками горели его глаза. Дергач погладил собаку и почувствовал, что каждый мускул её напряжён.

– Ты чего? – спросил Дергач шёпотом и, прислушиваясь, уловил где-то далеко вверху еле слышный шорох.

«Это совы гоняются за летучими мышами, – подумал

он. — Кто сюда ночью придёт. Ложись, Волк, ложись... Никого нет. Мы одни».

И, крепко обняв собаку, он полежал ещё немного с открытыми глазами, потом уснул и больше не просыпался до рассвета.

ХII

Дергач ответил Вальке, что никакого света он в верхних комнатах не зажигал. Но при этом он так смутился и нахмурился, что это не ускользнуло от глаз мальчуганов.

— Я думаю податься завтра отсюда, — совершенно неожиданно заявил он.

— Куда податься? Зачем, Дергач? Разве тебе здесь с нами плохо?

Дергач помолчал... Видно было, что он колеблется и хочет что-то сказать ребятам.

— Все туда же, — вздохнув, проговорил он. — Дом свой разыскивать. У меня ведь и отец и мать где-то есть. Как был голод, так я потерялся от них возле Одессы, а теперь и не знаю, где они. Думаю в Сибирь, в город Барнаул, пробраться, там где-то у меня тётка есть — она уж наверно адрес родителей знает. Да вся беда только в том, что я фамилии её не знаю, а знаю, что зовут её Марьей. Да в лицо немного помню.

— Трудно найти без фамилии, Дергач.

— Трудно, — подтвердил Валька. — Во, возьмём хоть у нас три соседских дома, а и то в них четыре Марьи, ежели не считать даже Маньку Куркину, которой один год, да коз, которых Машками зовут. А как твоего отца фамилия, Дергач?

– Елкин Павел, а меня Митькой раньше звали. Это уже когда я в беспризорники поневоле попал, то там мне кличку дали.

– А почему, Дергач, ты так вдруг собрался уходить?
Дергач опять нахмурился.

– А потому... – сказал он после некоторого раздумья, – что очутился я здесь, убегая от Хряща. Мы на главной линии, на ветке с ним нечаянно столкнулись. Он там был с одним ещё, а теперь по некоторым приметам думаю я, что не сюда ли они направлялись тоже.

– Ну и тебе-то что? Что тебе Хрящ, начальник, что ли?

– Хрящ-то? – И Дергач насмешливо посмотрел на Яшку, как бы удивляясь нелепости такого вопроса. – Хрящ ежели поймают меня, то обязательно убьёт.

– Да за что же убьёт? Разве есть такой закон ему, чтобы убивать?

– У них есть закон.

– У кого – у них?

– У настоящих налётчиков. Я со стремя убежал, на которое они меня поставили... А у них так заведено, что кто со стремя самовольно уйдёт, того обязательно убивать, как за измену.

– Что же это за стремя?

– Как бы тебе сказать... Ну, караул... или наблюдатель, которого выставляют возле дома для сигнала, пока грабят. Вот меня Хрящ и поставил, а я убежал нарочно... из-за этого двое тогда сгорели...

– Пожар был?

– Да не пожар... Сгорели – это, значит, попались и в тюрьму сели... Да чего вы стоите, рты поразинув?

– Чудно больно, Дергач, – робко ответил Валька. – И рассказ такой страшный, и слова какие-то непонятные...

– С собаками будешь жить – сам насобачишься. И до чего вредный этот Хрящ! Сколько он ребят смутил, сколько из-за него в исправительных колониях сидят! Эх, и надоела мне эта собачья жизнь! Всё равно, ежели хоть не найду своего дома, ото всех сил буду стараться куда-нибудь пристроиться – к сапожнику в ученики либо в подшивалки, – уж где-нибудь, а приткнусь. Да чего тут говорить? – кончил Дергач и тряхнул лохматой головой. – Трудно хоть, но если захочешь, то всё-таки на хороший путь вывернешься... Кончим про это разговаривать, побежим лучше на речку пиявок ловить; у Козьего заброда есть страшные; потом купаться будем, а то чего про горе раздумывать...

Дома мать сказала Яшке:

– А тебя тут отец всё разыскивал. Фотографию какую-то, говорит, не брал ли ты.

– Какую ещё фотографию?

– Да спроси у него самого. Он в амбаре чего-то роется.

«Вот ещё новая напасть, – подумал Яшка. – И на что она ему понадобилась?»

Из амбара вышел отец. Он был засыпан пылью и держал в руках кипу каких-то пожелтевших бумаг.

– Яшенька, – сказал он ласково, – не видал ли ты где карточку с пальмой?

– Видал где-то!

– А ты пойди, принеси мне её...

– Хорошо! – сказал Яшка и направился было в комнаты, но, по дороге вспомнив, что карточка осталась у Дер-

гача в кармане, он вернулся. – Да я не помню уже, папаня, где я её видел. И зачем она тебе вдруг понадобилась?

– Нужна, милый! А ты вспомни обязательно. Ежели вспомнишь и принесёшь, я тебе полтинник подарю.

– По-олти-инник? – расцвёл даже Яшка. – А не обманешь?

– Обязательно сразу же подарю.

Яшка исчез, теряясь в догадках, с чего это отец решил так расщедриться. Раньше бывало, гривенник в воскресенье не всегда выпросишь, а тут вдруг сразу целый полтинник.

Он выскочил и засвистал Вальку.

– Валька! Ты не знаешь, где Дергач?

– Должно быть, у Волка ночует. А что?

– Побежим, Валька, в «Графское», он мне беда как нужен. Карточку у него взять. Отец обещал, если я принесу, дать полтинник.

– Темно уже, Яшка. Пока добежим, и вовсе ночь наступит.

– Ну что же, что ночь, – а зато полтинник. Мы завтра бы селитры да бертолетовой соли купили – ракету сделаем.

– Ну, побежим, – только чтобы одним духом. У меня мать в баню кстати ушла.

Понеслись. Яшка бежал ровным, размеренным шагом, как настоящий бегун-спортсмен. Валька же не мог и тут обойтись без выкрутас. Он то учащал, то уменьшал шаг, попутно подражал то фырчанью мотора, то пыхтенью локомотива.

Вот и поворот над речкою.

– А ну, поддай пару... Ту-туу!...

И вдруг Валька-паровоз на полном ходу дал тормоз; остановился как вкопанный и Яшка.

Валька изумлённо посмотрел на Яшку, Яшка на Вальку, потом оба повернули головы в сторону развалин «Графского». Сомнений не могло быть никаких: в угловой комнате второго этажа горел огонь.

— Ого! — проговорил Яшка, выходя из оцепенения. — Это что же ещё такое?

— Я же говорил! Я говорил, что Дергач зажигал огонь. Ты видел, как он смутился, когда я его спросил про огонь?

— Да чего же ему поверху шататься? Что он там затеял? Знаешь что, давай подкрадёмся и подглядим, чего ещё он там выдумал.

— Боязно что-то подглядывать, Яшка.

— Вот ещё, чего боязно! Чай, он с нами заодно. Да и карточка-то тоже нужна. Полтинники тоже не каждый день обещают. Сегодня батька пообещал, а на завтра возьмёт и раздумает.

И оба мальчугана припустились опять по тропке.

Уж какой странный и причудливый ночью замок! Огромные липы спокойными вершинами чуть-чуть не касаются луны. Серый камень развалин не везде отличишь от ночного тумана. А чёрный заросший пруд, в котором отражаются звёзды, кажется глубокой пропастью со светлячками, рассыпанными по дну.

Как странно всё ночью, как будто бы все вещи передвинулись со своих мест. Все приходится разыскивать сначала. И старая липа лежит как будто бы не там, где лежала, и заросшее плющом окно не на месте.

— Залезай, Валька.

– А ты?

– И я сейчас, только ботинки сниму, чтобы не скрипели.

Тихонько ступая босыми ногами по холодной каменной лесенке, Яшка начал пробираться наверх, намереваясь узнать, что именно делает там в такую позднюю пору Дергач.

Он почти добрался до верхней ступеньки, как Валька неосторожно ступил на какую-то доску, которая предательски громко скрипнула.

И тотчас же, к несказанному ужасу мальчуганов, глухой бас, никак не могший принадлежать Дергачу, сказал:

– А как будто бы внизу что-то зашумело? И другой голос, тягучий и резкий, ответил:

– Некому тут шуметь. Кто сюда ночью полезет!

– Надо всё-таки загородить окно, – продолжал первый. – Сходи вниз, я там рогожу видел, а то может увидеть кто-нибудь свет со стороны речки.

При этих словах мальчуганы ещё больше перепугались, так как вниз нужно было спускаться мимо них. Они хотели уже было напролом кинуться к окну, но второй голос ответил:

– Обойдётся на сегодня и так. У меня свечки нету запасной вниз идти.

Тогда медленно ребята начали пятиться назад.

Они выбрались к окну и, выскочив на землю, во весь дух бросились бежать, оставив даже неподобранными Яншины спрятанные ботинки.

ХІІІ

Добежав до огородов, ребятишки, не обсуждая всего случившегося, условились встретиться завтра пораньше и разбежались по домам.

Яшка нырнул под одеяло и, укрывшись с головой, притворился уснувшим.

Вошёл отец и спросил у матери:

– Спит уже Яшка-то? Не нашёл, видно, фотографию. Эх, и жаль, ежели не найдёт!

– Да на что она тебе? – отозвалась из-под одеяла засыпавшая уже мать.

– Вот в том-то и дело, что есть на что. Фотография заваль завалью, ей пятак цена, а мне за неё пятёрку посулили. Сижу я, газету читаю в сторожке. Подходит ко мне какой-то неизвестный человек. Я сразу угадал, что приезжий. Поздоровался он и спрашивает: «Вы будете Максим Нефёдович Бабушкин?» – «Я», – говорю. «Очень приятно! Хотелось бы мне с вами поговорить. Ежели вы не заняты, то, может быть, зашли бы вы со мной в соседнюю чайную, «Золотое дно», а там за бутылкой пива я изложил бы вам суть дела». А я как раз домой собирался уже. «Что же, – говорю, – можно и зайти. Погодите, я только каретник на замок запиру». Зашли мы в чайную, подали нам пару пива, и приступил он к делу. Оказывается, приехал он с товарищем из города от какого-то общества по изучению русской старины. То есть изучают они разные старые постройки, усадьбы и церкви. Какой архитектор сработал, в каком году да в каком стиле. И вот заинтересовались они и графским именем. Я объяснил ему, что хотя и много лет служил у

графа садовником, но усадьба сама лет за сто ещё до меня построена была, так что насчёт архитектора сказать ничего не могу. Вот что касается оранжерей и парка, – это всё было под моим наблюдением. Стал он тогда меня расспрашивать, какие растения выращивали да какие цветы. Я отвечаю ему и упомянул к слову про пальму. Он не верит: «Не может в таком климате на воле пальма произрастать». – «Как, – говорю, – не может? Я врать не буду – у меня и по сию пору фотография с неё сохранилась». Как заблестели у него глаза... «Продайте нам эту фотографию, – предлагает он мне, – мы вам за неё рублей пять дадим. Вам она ни для чего, а нам для коллекции». Я так и ахнул – за всякую дрянь да пять рублей! Ну, думаю, верно уж, что не знаешь, где человеку удача выпадет. И пообещался ему принести... Да вот только нигде найти не могу.

– Дураки люди, – сказала, зевая, мать. – Денег им давать, что ли, некуда? В прошлом годе тоже художник какой-то с Сычихи портрет рисовать взялся, да ещё по целковому за день ей платил. Ну взял бы хоть председателю жену срисовал или ещё кого поприглядней, а то Сычиху – да на неё и без портрета смотреть оторопь берёт!... А ты поищи всё-таки карточку-то, пятёрки под забором не валяются. Вон Яшке к осени пальтишко справлять придётся, из старого-то он вовсе вырос.

«Ээх, и ду-ураки мы! – подумал Яшка, осторожно высовываясь из-под одеяла. – Эх, и трусы! И чего испугались? Мирные люди усадьбу обследуют. Да ещё добрые какие, отцу пять рублей обещались. Нам бы вместо чем бежать, надо бы наверх к ним выбратся. Может быть, пособили бы в чем-нибудь – глядишь, по двухгривенному заработали, а

мы бежать. И чего только ночью от страха не померещится!»

Яшка натянул покрепче одеяло и услышал, как отец повернул выключатель, выключая свет.

Яшка повернулся на бок и закрыл глаза. Так он пролежал минут десять. Сладкая дрёма начала охватывать его, и его мысли начинали смешиваться, мелькнул уже кусочек какого-то сна, как вдруг он услышал, что что-то тихонько стукнулось об пол, точно обвалился с потолка маленький кусочек штукатурки. Через минуту опять что-то стукнуло.

«Должно быть, Васька-кот в темноте балует», – подумал Яшка и спустил руку к полу, отыскивая что-либо, чем можно бы отпугнуть кота. И в ту же минуту он почувствовал, что прямо к нему на одеяло упал небольшой, с горошину, камешек.

«Кто-то через окно кидается. Уже не Валька ли... Но зачем же это он так поздно?...»

Яшка высунулся в окно. Возле чёрного забора он еле разглядел прячущегося в тени Вальку. Яшка махнул ему рукой, что должно было означать: «Уходи, выйти не могу, отец с матерью только что легли». Однако Валька упрямо замотал головой и продолжал подавать сигнал, вызывая Яшку.

«Вот, пёс тебя заberi! – подумал обеспокоенный Яшка. – Что у него могло этакое случиться, чтобы вызывать в полночь?»

Он осторожно натянул штаны и прислушался. Сестрёнка Нюрка крепко спала. В соседней комнате похрапывал отец, но мать ещё ворочалась с боку на бок.

Яшка бесшумно взобрался на подоконник, нащупал

рукою уступ и тихонько спустился на выемку фундамента. По выемке он добрался до угла и только здесь уже спрыгнул в мягкую землю клубничных грядок.

– Ты чего? – напустился он на Вальку. – Разве я велел тебе по ночам будить?

Вместо ответа Валька взволнованно приложил пальцы к губам и потащил Яшку за рукав.

– Так чего же ты? – нетерпеливо переспросил Яшка, останавливаясь возле бани и не понимая возбуждённого состояния Вальки. И тотчас же понял всё или, вернее, ничего не понял – у стены бани он увидел привязанного, откуда-то взявшегося Волка.

– Я только хотел ложиться спать, вышел оправиться, – рассказывал Валька, – смотрю, бежит во весь мах собака – и прямо ко мне. Я подумал, что бешеная, да со страха прямо на забор скакнул. И вижу вдруг, что это Волк.

– Да зачем же его Дергач выпустил?

– Не знаю.

– Вот ещё новая напасть... Гляди-ка, да Волк-то весь мокрый, он в воде где-то был... Что же с ним делать сейчас?

– Давай привяжем его пока в баню... А утром назад сведём. Он, может быть, вырвался у Дергача.

Привязали собаку в бане... Ещё раз условились встретиться пораньше утром и опять расстались.

Яшка тем же путём начал пробираться домой. Уже возле самого окна он обернулся, и ему показалось, что верхушка сиреневого куста, росшего в саду возле бани, как-то неестественно сильно вздрогнула, точно её качнули снизу. Необъяснимое беспокойство овладело отчего-то

мальчуганом. Он забрался в комнату, сам не зная зачем запер окно на задвижку и долго не мог уснуть, раздумывая о случившемся.

Должно быть, потом он заснул очень крепко, потому что проснулся как-то вдруг, рывком, от сильного шума и лая.

– Яшка, – кричала мать, – Яшка, да проснись же ты, дьявол!

Яшка вскочил, ничего не соображая.

Лай всё усиливался. Это уже был не простой лай собаки на проходящего путника, а отчаянная тревога, переходящая в остервенелый визг.

Нефёдыч, схватив со стены охотничью берданку, поспешно выбежал во двор.

Через полминуты лай сразу оборвался, и почти тотчас же раздался грохот выстрела.

Яшка не помня себя выскочил во двор. Навстречу ему попало несколько человек соседей. Кто-то говорил:

– В баню пробрался какой-то человек. Должно быть, вор. Он ранил ножом собаку. Нефёдыч выстрелил, да мимо.

– А зачем же он пробрался в баню? Зачем он напал на собаку?

– Уж не знаю зачем, это вы у него спросите. «Ну и ночка! – подумал ошалелый Яшка, бросаясь к бане. – Ну и ночка сегодня, нечего сказать».

XIV

Ударом ножа Волк был неопасно ранен в верхнюю часть шеи. Отец с матерью учинили Яшке строжайший

допрос о том, каким образом «отравленная» собака очутилась в бане.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Яшка чистосердечно сознался, что Волк был спрятан им до поры до времени, и умолчал о том, где именно скрывался Волк. И так как иск к Волку не был утверждён судьёй, а кроме того, собака показала себя настоящим героем, оберегая в прошедшую ночь дом от неизвестного злоумышленника, то Волку была объявлена амнистия.

Встретившись с Валькой, который был осведомлён уже обо всём случившемся, Яшка потащил его в сад и там, остановившись в укромном местечке, сунул руку в карман.

– Смотри, Валька! Вчера мы ночью не разглядели, а сегодня утром я нашёл это, привязанное к ошейнику Волка.

И Валька увидел обрывок картины – нижнюю часть фотографии с пальмой. На оборотной стороне были, очевидно, вычерчены какие-то буквы, но разобрать их было невозможно, потому что кровь, стекавшая с шеи раненого Волка, запачкала всю эту сторону карточки.

– Как она попала на шею Волка?

– Дергач привязал! Он что-то хотел написать нам... Может быть, с ним случилось какое несчастье. Может, камень какой упал со стены и придавил его или ногу он в темноте свихнул себе.

– А почему только половина карточки?

Ничего не решив толком, ребята направились к «Графскому», чтобы на месте расспросить обо всём Дергача.

Возле поросшей плющом стены Яшка оставил Вальку разыскивать оставленные вчера ботинки, а сам полез наверх.

В тёмной кладовой он зажёл спичку, и сразу же ему бросились в глаза окурки. Он поднял один. Это был такой же самый окуроч, какой он нашёл несколько дней тому назад в верхней комнате.

«Это исследователи-учёные были уже и здесь», – подумал он. Спичка потухла. Он зажёл вторую и дёрнул дверь, ведущую в полуподвал, – в подвале никого не было. Тогда Яшка выбрался обратно и засвистел условным сигналом. Гулкое эхо десятками фальшивых пересвистов ответило ему, но Дергач не отвечал.

Стало ясным, что Дергач исчез.

XV

Прошло два дня. Ребятишки построили Волку крепкую конуру, посадили его на цепь, и Волк официально вступил в должность сторожа Яшкиного дома.

О Дергаче не было ни слуха.

– Подался куда-нибудь дальше, – говорил Валька. – Помнишь, он в последние дни всё заговаривал об этом. Они ведь такие: кусоч хлеба за пазуху – и пошёл куда глаза глядят.

– А почему же он не попрощался с нами?... И что он писал на обратной стороне фотографии?

Яшка вынул обрывок картины, повертел его и, решив, что здесь ничего всё равно не разберёшь, выкинул карточку на траву.

– Пойдём купаться, Валька.

Через десять минут после того, как ребятишки убежали, из калитки сада вышел Нефёдыч. В руках он держал кривой садовый нож, которым обреза́л сухие ветви, и лопату.

Во дворе он остановился как раз возле того места, где недавно разговаривали ребята, и стал завёртывать сигарку. Взгляд его упал нечаянно на карточку, валявшуюся на траве.

– Ишь, ребята опять насорили, – проворчал он, поднимая обрывок. Он повертел находку в руках, вынул очки и, присмотревшись к поднятому клочку, развёл руками: – Ах ты, дьяволята вы этакие! Я-то ищу, ищу фотографию, по два раза на дню человек за ней навевывается, а они разорвали её. Пропала теперь моя пятёрка... Кому понадобится этакий обрывок? – Он сунул карточку в карман и, тяжело вздохнув, пошёл домой.

Когда Яшка и Валька возвращались домой к обеду, то, ещё не дойдя до ворот, услышали лай Волка и крик отца.

– Да замолкни же ты, окаянный, ишь как разъярился!... Проходите, проходите. Не бойтесь, он на цепи.

Калитка распахнулась, и навстречу ребятам вышел какой-то незнакомый человек. Невысокий, слегка сутулый, с неровным рядом мелких зубов, оскалившихся в довольную улыбку. Правая рука его была перевязана бинтом.

Он искоса посмотрел на мальчуганов и круто повернул на противоположную сторону тротуара.

Во дворе Яшка столкнулся с отцом, державшим в руке новенькую хрустевшую бумажку.

Яшка быстро посмотрел на траву возле забора. Брошенного им обрывка фотографии не было.

После обеда он прошёл в сад, лёг и задумался. И чем больше он думал, тем назойливее привязывалась к нему мысль, что все события последних дней не случайны, а имеют меж собою крепкую связь и что связывающим зве-

ном всего случившегося и есть эта самая фотографическая карточка.

XVI

Как раз в это время отец Яшки получил отпуск и собрался с матерью погостить на три дня в город, к старшей замужней дочери.

Похозяйствовать в дом на это время пригласили тётку Дарью. Но тётка Дарья была уже стара, к тому же чрезмерно толста и немного глуховата, и поэтому мать ещё с утра принялась накачивать Яшку:

— Да смотри, чтобы ложиться рано и двери не позабывать запирать... Да к Нюрке не приставай, а то приеду — взбучку задам. Да ежели я замечу, что ты, как в прошлый раз, шкаф с вареньем гвоздём открывал, то тогда лучше заранее беги из дома. — И так далее. Сначала перечислялись возможные Яшкины преступления, затем шел перечень наказаний, кои воспоследуют за этими преступлениями.

Яшка на всё отвечал коротко:

— Да нет, мам. Да что ты привязалась? Ты бы ещё загодя по шее мне натрескала... Сказал, что не буду, — значит, и не буду.

Но едва только скрылась повозка, увозившая на станцию родителей, как Яшка ураганом помчался в сад, высвистывая всегда готового появиться Вальку. И вдвоём они начали гоготать и скакать по траве, как молодые жеребята, выпущенные на волю.

— Я теперь хозяин в доме! — гордо заявил Яшка. — У, как весело, когда отец с матерью изредка уезжают! Уж мы с тобою за эти дни выдумаем что-нибудь весёлое.

– Давай, Яшка, змея пускать... с трещоткой сделаем.

– А с трещоткой милиционер не велит, потому что лошади пугаются. Да и без трещотки не велит, чтобы телефонные провода не путать.

– А мы в поле побежим, подальше.

Работа закипела вовсю; достали стакан муки, заварили клейстер. Яшка принёс отцовскую газету и мочалу, выдернутую из половика, а Валька – дранки.

Когда Яшка налаживал уже «пута», то есть три ниточки, сводящиеся у центра, на глаза ему попалось интересное объявление. Там было написано:

«Родители мальчика Дмитрия Ёлкина убедительно просят написавшего о нём заметку в ростовской газете «Молот» сообщить сыну наш адрес: Саратовская губ., совхоз «Красный пахарь»».

– Мать честная, да ведь это же Дергача разыскивают! – ахнул Яшка. – Помнишь, он говорил нам, что про него кто-то в газете написал.

– А Дергач-то ничего и не знает. Может, никогда и не узнает вовсе – разве же ему попадётся газета?

– И куда он провалился! Нет чтобы подождать... Жалко всё-таки, Валька, Дергача. Он хоть и беспризорный, а хороший был. Он за нас заступался. Волку козла сварил... Мне рогатку наладил. И вот ушёл... А как бы он рад был, Валька!

Окончив змей, ребята дали ему подсохнуть, потом захватили с собой Волка и побежали в поле запускать.

Но, несмотря на то что змей ровно пошёл вверх и весело

загудел трещоткой, распугивая звенящих жаворонков, настроение у ребят упало. Было жалко Дергача и обидно за то, что так неожиданно и нелепо ушёл он от своего счастья. В Сибирь собрался, какую-то тётку разыскивать. А где ещё её без фамилии разыщешь? А тут до Саратовской губернии далеко ли?

Змей, неожиданно козырнув, быстро пошёл книзу. Яшка что было мочи пустился бежать, натягивая нитку, но ничего не помогло. Змей ещё раз козырнул и камнем упал куда-то на деревья позади «Графского».

Стали стягивать клубок ниток, но нитки вскоре оборвались. «Эх, не задала бы мать! — подумал Яшка. — Клубок-то ведь у неё на время без спросу взял. Придётся идти змей разыскивать».

Побежали. Змей сидел высоко в ветвях одного из деревьев рощи, которая начиналась от «Графского» и примыкала к мрачному Кудимовскому лесу. Яшка хотел уже было лезть на дерево, как внимание его было привлечено лаем Волка.

Заинтересованный, Яшка побежал на лай и увидел, что Волк прыгает в кустах возле узенькой тропки и, радостно помахивая хвостом, треплет зубами какой-то чёрный предмет.

Ребята вырвали у Волка его находку и переглянулись. Это было не что иное, как затрёпанная и перепачканная в саже фуражка Дергача.

— Валька, — сказал Яшка, немного подумав, — а может быть, Дергач вовсе и не убежал? Может, он просто испугался кого-нибудь и прячется где-нибудь здесь, по соседству? Я знаю, тут недалеко шалаш есть.

– А кого ему пугаться-то?

– Кого! Да хотя бы вот этих, что по усадьбе лазают.

– Так ты же сам говорил мне, что это учёные.

– Знаю, что говорил. Да вот что-то кажется мне теперь, Валька, что они, пожалуй, не совсем чтобы учёные, а какие-нибудь другие.

Между тем Волк, тихонько, радостно повизгивая, бегал по тропке, обнюхивая её и не переставая помахивать хвостом.

– Смотри, Волк-то как радуется. Честное слово, он Дергача след учуял. Знаешь что, Валька, побежим за Волком, он куда-нибудь нас приведет. Тут несколько даже шалашей есть, в которых на покосе ночуют. А сейчас не поздно. Солнце-то во как ещё высоко.

Валька заколебался, но, послушный всегда желаниям своего товарища, согласился.

– А ну, Волк! – И Яшка помахал перед его носом дергачовой фуражкой. – А ну, ищи!

Волк, высоко подпрыгнув, лизнул Яшку в лицо, как бы показывая, что понимает, чего от него хотят, уткнулся носом в землю, повертелся и, разом натянув бечёвку, протянутую от ошейника к Яшкиной руке, потащил мальчугана за собой.

– Ишь, как любит он Дергача.

– Ещё бы! Дергач одного мяса ему сколько скормил да спать с собой всегда клал.

Сколько времени продолжалось это быстрое продвижение по тропке, сказать трудно. Но, должно быть, немало, потому что деревья уже начали отбрасывать длинные тени, а ребята порядком вспотели, когда Волк неожиданно ос-

тановился, завертелся, обнюхивая землю, и решительно завернул прямо от тропки в лес.

Через полчаса Яшке определённо стало ясным, что в той стороне, куда рвётся Волк, нет ни одного места, где бы можно было укрыться Дергачу, кроме только... кроме только «охотничьего домика».

Постройка, известная под названием «охотничьего домика», находилась верстах в семи от «Графского». Выстроенный когда-то по прихоти графа вдали от проезжих дорог, на краю огромного болота, он оставался почти нетронутым и по сию пору. Правда, всё, что из него можно было унести, было расхищено за годы войны, но сам домик, сложенный из валявшихся в изобилии глыб серого камня, уцелел.

После революции кто-то из сожжённых крестьян хотел было приспособить домик под жильё, но место оказалось совсем неудобное: с одной стороны – камень, с другой – болота. Так и не вселился в домик никто, и зарос он сорной травой да сырым мхом.

Целые тучи мошкары носились меж деревьев. Солнце плохо прогревало сквозь густую листву влажную землю. Не заходили сюда и бабы за грибами, потому что росли здесь одни молочно-белые скрипицы да огненно-красные мухоморы.

И только ранней весной да к осени, когда разрешалась охота, можно было услышать глухое эхо выстрела одинокого охотника, промышляющего за утками. Да и то редко: своих охотников в местечке было мало, а до города отсюда далеко.

К этому-то домику Волк и потащил за собой ребят.

Немного не доходя до места, Яшка остановился и, передавая Вальке бечёвку от ошейника собаки, сказал:

– Останься здесь. Сядь вот за этим камнем да смотри, чтобы Волк не лаял. А я пойду вперёд и осторожно разведую. А то кто его знает, на кого ещё нарвёшься. В случае чего – назад стрекача пустим.

Валька съёжился. Видно было, что это приказание ему не по душе, но он знал, что Яшке возражать бесполезно, да, кроме того, и домик за поворотом, совсем рядом. Он пристроился между двух больших глыб и притянул к себе нетерпеливо рвущегося Волка.

Завернув за поросший кустарником холм, Яшка увидел крышу «охотничьего домика». Прячась за листву, он пробрался вплотную и прислушался.

Кроме жужжания комаров, кваканья лягушек да тоскливого писка какой-то болотной пичужки, он не услышал ни одного звука, который мог бы ему подсказать, что домик обитаем.

Тогда Яшка осторожно приблизился к крыльцу, недоумевая, что именно заставило Волка так настойчиво тянуть к этому месту. Он потянул ручку двери и очутился внутри домика. В первой комнате никого не было, но за то, что люди были здесь недавно, говорили очистки от колбасы, бутылка из-под вина и окурки, разбросанные по полу.

Он поднял окурок и опять без труда узнал всё тот же сорт папирос с золотыми буквами, которые он дважды находил в «Графском».

«Ого, – подумал он, – наши-то исследователи и здесь уже, кажется, успели побывать!» В соседней комнате лежала охапка сена. Тогда он заглянул в маленькую боковую

комнату. Здесь он сразу наткнулся на ящик с – какими-то инструментами и два неизвестных предмета, похожих не-много на снаряды.

«Что это всё может означать? – подумал Яшка. – Э, да лучше, пожалуй, будет убраться отсюда подальше, а то, чего доброго, подумают ещё, что я спереть что-либо прилез».

И он шмыгнул обратно к крыльцу.

XVII

А где же, в самом деле, был в это время Дергач?

Отправившись, как обычно, вечером в подвал «Графского», к Волку, он вскоре заснул. Проснулся он опять от лёгкого рычання собаки. На этот раз шум наверху был слышен совершенно отчётливо; он то усиливался, то стихал.

Наконец шаги послышались в соседней с подвалом кладовой. В узенькую щель железной двери просочился свет от зажжённой свечи. Кто-то зашаркал ногами по каменному полу, потом зашуршало брошенное на пол сено, и слышно было, как человек улёгся на охапку отдохнуть.

«Кого ещё это принесло сюда?» – подумал Дергач. И, потрепав Волка, чтобы тот молчал, Дергач, прокравшись к двери, заглянул в щель.

И хотя свеча тускло озаряла каменные своды кладовой, Дергач сразу узнал человека.

– «Граф», – прошептал он, чувствуя дрожь в коленях. – «Граф» вернулся к себе в своё поместье, но зачем? Чего ему здесь надо?» – Страшная мысль обожгла при этом Дергача...

Вот почему он видел графа и Хряща на станции главной линии. Они сами направлялись в местечко, а он, Дергач, не нашёл никакого места, куда убежать бы надёжнее, как сюда же, в местечко. Ясно, раз граф здесь, то Хрящ где-нибудь неподалёку.

Но что же делать сейчас? Волк еле сдерживается, чтобы не залаять, а граф и не собирается уходить. Может быть, он даже ночевать здесь останется? А на рассвете, если он заметит дверь, ведущую в подвал, и заглянет сюда? Тогда что? Тогда конец.

Планы бегства из этой ловушки один за другим промелькнули в голове Дергача. Нет... ничего не выходит. Тогда он достал фотографию, вытащил огрызок карандаша, завалявшийся среди прочей мелочи в кармане, и в темноте наугад написал:

«Яшка, я заперт... Хрящ здесь, в «Графском», скажи в милицию».

Дергач привязал фотографию к ошейнику, подтащил Волка к узенькому окну и просунул туда собачью голову.

Волк не заставил себя упрашивать...

Слышно было, как он бухнулся в воду и поплыл, направляясь к противоположному берегу.

Дергач забился в угол, свернулся и закидал себя сеном. «Всё-таки без собаки легче, – подумал он, а то она обязательно выдала бы лаем».

Несколькими минутами позже в соседнюю кладовую быстро вошёл ещё кто-то, и по голосу Дергач сразу узнал Хряща.

– Граф, – сказал он отрывисто, – что-то неладно... Здесь где-то легавые... Я иду мимо пруда, слышу – бултых

что-то от стенки. Гляжу, собака плывёт; я к ней... подождал, пока она станет выбираться... осветил ее фонарём – гляжу, у ней к шее какой-то пакет привязан... Я уже схватил револьвер, чтобы её ухлопать, но она как бешеная рванулась в кусты и исчезла... Постой... собака упала в воду от этой стены... Погоди-ка, а куда ведёт эта железная дверь?

При этих словах Дергач ещё больше съёжился и почти что остановил дыхание.

В соседней комнате о чём-то шёпотом совещались.

Потом вдруг дверь разом распахнулась. Сначала Дергач не разглядел никого. Но потом он увидел, что оба налётчика предусмотрительно улеглись на пол, очевидно, опасаясь, чтобы тотчас из раскрытой двери не бабахнул по ним выстрел. В руках у них были наганы.

– Нет никого, – сказал граф.

Однако Хрящ двумя прыжками очутился возле вороха сена, лежавшего в углу, и сильно пнул его ногою.

Злорадный крик вырвался у него, когда он увидел перед собою сжавшегося в комочек Дергача:

– А... – так ты вот где... так ты следишь за нами... донесение кому-то с собакой послал, в милицию, что ли?... Чья это была собака?...

И Хрящ со всего размаха ударил Дергача. Тот зашатался и, делая отчаянную попытку если не оправдаться, то выиграть время, ответил:

– Я не в милицию писал, а мальчишкам знакомым, чтобы они завтра не приходили сюда, потому что здесь есть кто-то чужой. Это их собака, они здесь её прятали.

– А... я знаю... кто такие... – процедил Хрящ, обра-

щаясь к графу. — Они на днях всё время вертелись тут, около усадьбы. Один из них сын того самого сторожа... Ну, знаешь какого... к которому я всё за фотографией хожу...

— Постой, — прервал его граф, — записка-то всё-таки может в милицию попасть... Чёрт знает, что в ней этот змеёныш написал. Её надо вернуть во что бы то ни стало... иначе всё дело может рухнуть... Собака, должно быть, до утра по двору бродить будет... Попробуй проберись во двор и убей её... и сорви написанное на ошейнике... Это ведь не шутка... Мы ещё ничего же не сделали...

Хрящ ударил ещё раз Дергача и сказал зло:

— Вот ещё, путайся теперь с собакой!... Своего дела мало, что ли... Ну ладно... Остайся здесь... Да свяжи руки этому гадёнышу... И смотри будь начеку... В случае чего... стукнешь, а сам туда подашься... там и встретимся.

И он исчез.

Вернулся Хрящ часа через полтора. Он был разозлён, и правая рука его была вся в крови.

— Проклятая собака! — сказал он. — Её заперли в баню... Я пробрался туда, ударил её ножом, но она, как остервенелая, впилась мне в руку... Тут содом поднялся, кто-то даже бабахнул мне вдогонку, да счастье моё, что мимо.

— А записка?

— Какая, к чёрту, записка! Там к ошейнику целая карточка подвешена была. Я рванул — половину сорвал, а половина там осталось. На, смотри...

Граф посмотрел на поданный ему обрывок и крикнул:

— Слушай, да ты знаешь, что это такое? Это-то и есть половина той самой фотографии, которая нам нужна; но только весь низ её, который нам больше всего нужен, ос-

тался там... Как она попала к тебе? – спросил он, рванув Дергача за плечо.

Дергач ответил.

– Эх, ты! – ядовито сказал граф Хрящу. – Побоялся собачьего укусу. Ну что бы тебе её всю сорвать! И всё дело было бы кончено... А теперь что... весь участок оранжерей перерывать, что ли...

– Эх, ты тоже хорош! – огрызнулся обозлённый Хрящ. – Ваше сиятельство! Хозяин усадьбы – и не может показать место, где пальма росла.

– Дурак! Да когда нас мужичьё из усадьбы выгнало, мне всего-то навсего двенадцать лет было.

– А чья же это рожа на карточке?

– Это старший брат мой. Я на него очень похож был. Да и вся наша семья схожа собой была, это у нас фамильные нос и подбородок... Ну, а что же теперь делать?

Хрящ подумал и сказал:

– Надо пока на всякий случай смотаться отсюда. Там переждём денёк, а тогда видно будет.

– А этого? – И граф мотнул головой, указывая на притаившегося в углу Дергача.

– Этого мы тоже с собой возьмём. Я его ещё сначала допрошу хорошенько, как и зачем он здесь очутился.

Налётчики быстро выбрались наружу, и, подталкиваемый пинками, Дергач пошёл по указываемой ему тропинке в лес.

Одна из веток зацепила его фуражку и бросила её на землю. Поднять её Дергач не мог, потому что руки его были крепко связаны.

XVIII

По инструментам, разбросанным на полу «охотничьего домика», в который был приведён Дергач, он понял, что налётчики прибыли сюда для какого-то серьёзного дела.

Его втолкнули в большую комнату, и он полетел в угол.

Опомнившись немного, Дергач начал осматриваться. Его сразу же изумило то, что окно, выходящее наружу, было распахнуто и не имело решёток. Он просунул туда голову, но ночь, чёрная, непроглядная, скрыла очертания всех предметов.

И сразу же Дергач задумал бежать. В полусгнившей раме вышибленного окна торчал небольшой осколок стекла.

Прислонившись к подоконнику, он начал перетирать связывавшую его верёвку об острый выступ, удивляясь в то же время, отчего это обыкновенно хитрый и предусмотрительный Хрящ сделал на этот раз такую оплошность и оставил его в помещении, из которого можно без особого труда убежать.

Между тем в соседней комнате шла перебранка.

– И дёрнул чёрт твоего папашу, – говорил Хрящ, – связаться с этой пальмой! Подумаешь, примета какая: сегодня была, а завтра сгнила. Ну, взял бы хоть как примету камень какой... ну, хоть если не камень, то солидное дерево – липу либо дуб, а то пальму! И как у него не хватило сообразить, что не станут без него мужики эту пальму, как он, на каждую зиму в стекло обстраивать и пропадёт она в первый же мороз!

– Да кто же знал-то, – возражал граф. – Кто же тогда

думал, что всё это надолго и всерьёз! Да не только отец, а никто из наших так не думал. Все рассчитывали, что продержится революция месяц... два... а там всё опять пойдёт по-старому. Ведь на белую армию как надеялись!

– Вот и пронадеялись. Не станете же весь сад перекапывать! Тут тебя враз на подозрение возьмут. Это всё надо быстро и незаметно – нашёл место, выкопал, вскрыл и улепётывай... Я вот думаю, нельзя ли старика садовника в усадьбу вызвать... Пусть прямо покажет место, где росла пальма.

– Опасно... догадаться может.

– Нам бы он только показал, а там... – Тут Хрящ присвистнул.

– Ну, а с этим что делать?

И Дергач понял, что вопрос поставлен о нём.

– С этим?... А вот давай закусим немного да отдохнём, а там я допрошу его, да и головой в болото... У меня с ним счёты старые. Все равно из него толку не выйдет. Вот тогда со стремя убежал, скотина.

«Дождидайся! – подумал Дергач, стряхивая с рук перерезанные верёвки. – Только ты меня и видел!»

Он осторожно взобрался на подоконник, собираясь прыгнуть вниз, как внезапно зашатался и судорожно вцепился руками за косяк рамы.

Небо чуть-чуть посерело, звёзды угасли, и при слабых вспышках предрассветной зарницы Дергач разглядел прямо под окном отвесный глубокий обрыв, внизу которого из-за густо разросшихся жёлтых кувшинок выглядывали проблески воды, покрывавшей кое-где вязкое, пахнущее гнилью болото.

И только теперь понял Дергач, почему его оставили без присмотра в комнате с распахнутым окном, и только теперь почувствовал весь ужас своего положения.

Но годы, проведённые в постоянной борьбе за существование, ночёвки под мостами, опасные путешествия под вагонами и всевозможные препятствия, которые приходилось преодолевать за годы бродяжничества, не прошли для Дергача бесследно. Дергач не хотел ещё сдаваться. Стоя на подоконнике, он начал осматриваться. И вот вверху, над окном, выходящим к обрыву, он заметил другое, маленькое окошко, ведущее на чердак. Но до него, даже став во весь рост, Дергач не смог бы дотянуться по крайней мере на полтора аршина.

«Эх, если и так и этак лететь в трясины, – подумал, горько сжав губы, Дергач, – если и так и этак пропадать, то лучше всё-таки попытаться».

План его состоял в том, чтобы распахнуть половинку наружной рамы до отказа, взобраться на верхнюю перекладину, ухватиться за выступ слухового окна и, пробравшись на чердак, бежать оттуда через выходную дверь.

В другом месте Дергач проделал бы это без особенного труда – он был цепок, лёгок и гибок, – но здесь всё дело было в том, что рама была очень ветха, слабо держалась на петлях и могла не выдержать тяжести мальчугана.

Всё же другого выхода не было.

Дергач распахнул окно до отказа и затолкал какую-то деревяшку между подоконником и нижней петлёй, чтобы окно не хлябало. Он заглянул вниз, и ему показалось, что чёрная пасть хищной трясины широко разинулась, ожидая момента, когда он сорвётся. Он отвёл глаза и больше не смотрел вниз.

Потом с осторожностью циркового гимнаста, взвешивающего малейшее движение, он ступил ногою на нижнюю перекладину. Сразу же раздался лёгкий, но зловещий хруст, и рама чуть-чуть осела. Тогда, цепляясь за выступы неровно сложенной стены, стараясь насколько возможно уменьшить этим свою тяжесть, он поднялся на среднюю перекладину. Опять что-то хрустнуло, и несколько винтов вылетело из петель. Дергач закачался и, впившись пальцами в стену, замер, ожидая, что вот-вот он полетит вместе с рамою вниз.

Теперь оставалось самое трудное, надо было занести ногу на верхнюю перекладину, разом оттолкнуться и ухватиться за выступ слухового окна, которое было уже почти рядом.

Ноги Дергача напряжились, пальцы, готовые мёртвой хваткой зацепиться за выступ, широко растопырились. «Ну, – подумал он, – пора!...»

И он рванулся с быстротою змеи, почувствовавшей, что кто-то наступил ей на хвост. Раздался сильный треск, и сорванная толчком рама начала медленно падать, выдёргивая своей тяжестью последние, еще не вылетевшие винты.

И Дергач, заползающий уже в слуховое окно, услышал, как она глухо плюхнулась в зачавкавшее болото.

Выбравшись на чердак, Дергач бросился к выходной двери. Но едва только он толкнул дверь, как понял, что она закрыта снаружи на засов и он опять взаперти.

Он лёг тогда на пыльную земляную настилку... кажется, впервые за все годы беспризорности почувствовал, что слёзы отчаяния вот-вот готовы брызнуть из его глаз.

Между тем треск сорвавшейся рамы встревожил налётчиков. Внизу послышались голоса.

– Он выбросился в окно, – говорил граф.

– Он думал, наверно, что выплывет. Ну, оттуда не выплывешь! Чувствуешь, какая поднялась вонь? Это растревоженный болотный газ поднимается...

– А как же теперь?

– Что «как же»? Потонул, туда ему и дорога. Я же и сам после допроса хотел его по этому же пути отправить.

XIX

Мало-помалу к Дергачу, понявшему, что налётчики его считают погибшим, начала возвращаться совсем было утраченная надежда на спасение.

С рассветом Хрящ и граф исчезли куда-то. Дергач, воспользовавшись их отсутствием, испробовал все способы вырваться из своей темницы, но дверь была крепко заперта снаружи и не подавалась нисколько. Разобрать же крышу было тоже нечем.

Прошёл ещё день. Дергач был голоден и измучен. За это время он съел только кусок хлеба, случайно оставшийся в кармане, да выпил две пригоршни воды, просачивавшейся через щель крыши во время ночного дождя.

На третий день налётчики вернулись. Они были чем-то радостно возбуждены.

– Главное, – рассказывал Хрящ, – старик показывает мне обрывок фотографии, а сам говорит: «Мальчишки изорвали, на траве только половину нашёл». Я так чуть не подскочил. «Всё равно, – говорю, – давайте хоть полови-

ну». И когда дал я ему обещанную пятёрку, так он чуть не обалдел от радости.

– Значит, сегодня!

– Сегодня. Лошадь я уже достал... мы его выюком нагрузим и перевезём сюда, затем ночью вскроем, и кончено.

Вскоре оба ушли.

«Сегодня они привезут что-то, вероятно, стальной ящик, и будут взламывать, – подумал Дергач, вспомнив про виденные им внизу инструменты. – А потом скроются... А я что? Неужели мне останется так пропасть с голоду?» И Дергач, совершенно обессиленный, лёг на землю и, прикорнув, как мышонок, к серой пыли, впал в какое-то полузабытьё.

Опомнился он уже к вечеру, когда услышал внизу шаги. «Вернулись», – подумал он.

Но шаги на этот раз были какие-то крадущиеся, неуверенные, точно кто-то посторонний тихонько, на цыпочках пробирается по комнатам.

Дергач подполз к двери и заглянул в щель. У входа никого не было видно. Он подождал. Опять послышались шаги, и кто-то вышел на крыльцо, осторожно озираясь и, по-видимому, собираясь бежать прочь.

– Яшка! – крикнул вдруг Дергач зашатавшись. – Яшка! Я здесь... здесь, заперт на чердаке...

Через минуту Яшка был уже около двери.

– Дергач, – ответил он взволнованно, – здесь отпереть нельзя... огромный замок висит и весь заржавленный...

Дергач походил на волчонка, только что запертого в клетку. Он дергал дверь, злился и кусал себе губы...

– Скорее надо, они сейчас вернуться должны... Что, не

выходит? Ну, достань тогда мне снизу верёвку, я по старой дороге спущусь, а ты меня в окно втянешь...

Яшка сбегал за верёвкой и просунул её Дергачу в щель двери... Верёвка туго пролезала, и пока Дергач продёргивал её, коротко рассказал Яшке про всё, что случилось.

— Ну, теперь... беги в боковую комнату и жди, как я начну спускаться... Постой!

Ребята вздрогнули... Где-то невдалеке заржала лошадь...

— Беги... — шепнул Дергач, — они возвращаются... Беги в милицию, скажи, что здесь взламывают ящик Хрящ и граф, бандиты... Скажи, что к рассвету будет уже поздно... Выручай, Яшка...

И Яшка, скатившись с лестницы, врезался в кусты, не останавливаясь, махнул рукой притаившемуся Вальке... И, невзирая на ветви деревьев, больно хлещущих лицо, перепуганные ребята побежали к местечку.

XX

Едва Дергач успел продернуть к себе через щель толстую верёвку, как к домику подошёл граф и Хрящ, державший узду навьюченной лошади.

Тяжело топая ногами, налётчики внесли небольшой квадратный предмет в комнаты, и по тому, как тяжело стукнулось что-то об пол, Дергач догадался, что это негосгораемый ящик.

Затем в продолжение всей ночи внизу была слышна возня, скрип и какое-то шипенье, похожее на шум разожжённого примуса.

Очевидно, дело подвигалось медленно, потому что несколько раз снизу доносились отчаянные ругательства.

Наступал рассвет, а помощь всё не приходила. И теперь уже Дергача не столько занимала мысль о том, скоро ли ему придётся выбраться, сколько сумеет ли прибыть вовремя милиция и захватить проклятого Хряща, прежде чем налётчики взломают ящик и скроются отсюда.

Радостные восклицания, раздавшиеся снизу, подсказали Дергачу, что наконец-то ящик вскрыт. Последовало несколько минут молчания и торопливой возни. Внизу, наверно, рассматривали содержимое ящика.

– Уф, жарко... Я взмок весь, – сказал Хрящ.

– У меня тоже язык чуть не растрескался... Пойди на ключ, принеси воды.

Но Хрящ, очевидно, по соображениям, казавшимся ему достаточно вескими, ответил:

– Вот ещё! Чего я один пойду... идём вместе... а потом сразу же, не теряя ни минуты, заберём всё и смоемся, а то лошади, наверно, хватились уже...

– Боишься, как бы я не забрал всё да убежал? – насмешливо спросил граф. – Ну ладно, пошли вдвоём пить.

В щель Дергач увидел, как они поспешно направились к опушке и исчезли в кустах. «Сейчас вернутся, заберут всё, что было в ящике, и исчезнут, – подумал Дергач. – И опять Хрящ будет на свободе, и опять вечно бойся и дрожи, как бы он не попался на твоём пути. Эх! Да чего же не идут наши-то!»

И внезапно дерзкая мысль пришла в голову Дергачу.

– А, Хрящ! – прошептал он. – Ты всегда только и знал, что бить да колотить меня, ты хотел сбросить меня в болото... погоди же, Хрящ! Мы с тобой сейчас расквитаемся.

Очевидно, какая-то горячка опьянила Дергача, потому что прежде он, трепетавший при одном упоминании имени Хряща, никогда бы не решился на такой рискованный поступок.

Он быстро спустил верёвку из слухового окна по отвесной стене... закрепил один конец за столб, поддерживавший крышу, и скользнул по верёвке вниз. Очутившись на подоконнике боковой комнатки, он спрыгнул и, выбежав в соседнюю комнату, крепко захлопнул тяжёлую дверь и задвинул её на железный засов.

«Попробуйте-ка, доберитесь сюда теперь!» – злорадно подумал он, оглядывая крепкие решётки выходящих к лесу окон.

Ему видны были налётчики, возвращающиеся обратно.

Он встал за дверью. На крыльце послышались шаги. Дверь вздрогнула. Вздрогнула ещё раз.

И тотчас же снаружи раздалось озлобленное и в то же время испуганное восклицание:

– Что за чёрт! Там кто-то заперся.

Тогда Дергач крикнул из-за двери с нескрываемым озлобленным торжеством:

– Хрящ... ты, собака, хотел бросить меня в болото! Кидайся теперь сам туда от злости! Я не отопру тебе, и ты не получишь ничего из того, что есть в стальном ящике.

Грохот выстрела, раздавшийся в ответ... и пуля, пронизавшая дверь, не смутили Дергача, ибо он предусмотрительно встал за каменный простенок.

– Открывай лучше, собачий сын! – заревели в один голос граф и Хрящ. – Открывай, иначе всё равно выломаем дверь!

В ответ на это Дергач захохотал как-то неестественно громко от возбуждения. Он знал наверняка, что налётчики не могут голыми руками выломать дверь, потому что все их инструменты остались в домике. Ему важно было выиграть время и задержать бандитов, пока не придёт помощь.

Вдруг он упал камнем на пол, потому что граф, прокравшись с другой стороны, просунул руку с револьвером в решётчатое окно.

Дергач подполз вплотную к стене. Рука графа корёжилась, стараясь изогнуться настолько, чтобы достать пулей Дергача.

Пуля пронизала пол на четверть от него. Граф через силу изогнул руку ещё и опять выстрелил. Пуля подвинулась к Дергачу ещё вершка на два. Но рука графа была не резиновая, и больше он не мог её изогнуть. Тогда граф отскочил от окошка и забежал за угол, очевидно надумав другой план.

Воспользовавшись этим моментом, Дергач шмыгнул в боковую комнатку, окно которой выходило на болото.

Здесь он был в сравнительной безопасности. — Но почему же наши не идут? — с беспокойством прошептал он. — Ведь очень-то долго я не смогу продержаться. Хрящ уж что-нибудь да выдумает... В том, что Хрящ уже что-то выдумал, он убедился через несколько минут, почувствовав запах гари.

Он высунулся в соседнюю комнату и увидел, что на полу горят клочки набросанного через решётку сена. Он хотел затоптать, но тотчас же отскочил, потому что пуля ударилась в каменную стену, недалеко от его головы.

«А ведь сожгут! — в страхе подумал Дергач. — Будут

бросать сено, пока не загорится пол. Но почему же не идут на помощь милиционеры?»

Очевидно, Хрящ хорошо знал, что делает. Среди аппаратов, привезённых налётчиками для взлома шкафа, находились горючие жидкости. Пламя, добравшись до них, забушевало сразу с удесятёренной силой, расплываясь по полу и распространяя тяжёлый, удушливый дым.

«Пропал! – подумал, задыхаясь, Дергач. – Пропал совсем». Дым лез в глаза, в нос, в горло. Голова Дергача закружилась, он зашатался и прислонился к стене.

«Пропал совсем...» – подумал он ещё раз, уже совсем теряя сознание.

Колени его подкосились, и – он упал, уже не услышав, как загрохотали по лесу выстрелы подоспевших и открывших огонь милиционеров.

XXI

Проснулся Дергач в больнице. И первое, на что он обратил внимание, – это на окружающую его белизну. Белые стены, белые подушки, белые кровати. Женщина в белом халате подошла к нему и сказала:

– Ну, вот и очнулся, милый! На-ко, выпей, вот этого.

И, слабо приподнимаясь на локте, Дергач спросил:

– А где Хрящ?

– Спи... спи... – отвечала ему белая женщина. – Будь спокоен.

Словно сквозь сон видел Дергач какого-то человека в очках, взявшего его за руку.

Было спокойно, тепло и тихо, а главное – всё кругом

такое белое, чистое. От чёрных лохмотьев и перепачканных сажей рук не осталось и следа.

– Спи! – ещё раз сказала ему женщина. – Скоро выздоровеешь и уже скоро теперь будешь дома.

И Дергач – маленький бродяга, только огромными усилиями воли выбившийся с пути налётчиков на твёрдую дорогу, – закрыл глаза, повторяя чуть слышным шёпотом: «Скоро дома».

Через день Яшка и Валька были на свидании у Дергача. Оба они были одеты в огромные халаты, причёсаны и умыты. Дергач улыбнулся им, кивнув худенькой, остриженной головой. Сначала все помолчали, не зная, как начать разговор в такой непривычной обстановке, потом Яшка сказал:

– Дергач! Выздоровливай скорей. Граф арестован, он оказался настоящим графом. Они вырыли под пальмой ящик, спрятанный старым графом перед тем, как бежать к белым. В ящике много всякого добра было, но из-за тебя всё успели захватить наши милиционеры. Ты выходи скорей, все мальчишки будут табунами за тобой теперь ходить, потому что ты герой!

– А Хрящ где?

– Хрящ убит, когда отстреливался.

– Дергач, – несмело сказал Валька, – а твоих домашних по объявлению разыскали. И тебе хлопочут пионеры билет. А Волк кланяется тебе тоже... Он очень любит тебя, Дергач.

Дергач вздохнул. По его умытому, бледному ещё лицу расплылась хорошая детская улыбка, и, закрывая глаза, он сказал радостно:

– И как хорошо становится жить...

БУМБАРАШ (ТАЛИСМАН)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Бумбараш солдатом воевал с Австрией и попал в плен. Вскоре война окончилась. Пленных разменяли, и поехал Бумбараш домой, в Россию. На десятые сутки, сидя на крыше товарного вагона, весело подкатил Бумбараш к родному краю.

Не был Бумбараш дома три года и теперь возвращался с подарками. Вез он полпуда сахара, три пачки светлого офицерского табаку и четыре новых полотнища от зеленой солдатской палатки.

Слез Бумбараш на знакомой станции. Кругом шум, гам, болтаются флаги. Бродят солдаты. Ведут арестованных матросы. Пыхтит кипятильник. Хрипит из агитбудки облезлый граммофон.

И, стоя на грязном перроне, улыбается какая-то девчонка в кожаной тужурке, с наганом у пояса и с красной повязкой на рукаве.

Мать честная! Гремит революция!

Очутившись на привокзальной площади, похожей теперь на цыганский табор, Бумбараш осмотрелся – нет ли среди всей этой прорвы земляков или знакомых.

Он переходил от костра к костру; заглядывал в шалаши, под груженные всяким барахлом телеги, и наконец за углом кирпичного сарая, возле мусорной ямы, он натолкнулся на старую дуру – нищенку Бабуниху.

Бабуниха сидела на груде битых кирпичей. В руках она держала кусок колбасы, на коленях у нее лежал большой ломоть белого хлеба.

«Эге! – подумал изголодавшийся Бумбараш. – Если здесь нищим подают колбасою, то жизнь у вас, вижу, не совсем плохая».

– Здравствуйте, бабуня, – сказал Бумбараш. – Дай бог на здоровье доброго аппетита! Что же вы глаза выпучили, или не признаете?

– Семен Бумбараш, – равнодушно ответила старуха. – Говорили – убит, ан живой. Что везешь? Подай, Семен, Христа ради... – И старуха протянула заграбастую руку к его сумке.

– Бог подаст, – отодвигая сумку, ответил Бумбараш. (Ишь ты, как колбасу в мешок тыркнула.) – Нету там ничего, бабуня. Сами знаете... что у солдата? Ремень, бритва, шило да мыло. Вы мне скажите, брат Василий жив ли?.. Здоров? Курнаковы как?.. Иван, Яков?.. Варвара как? Ну, Варька... Гордеева?

– А не подашь, так и бог с тобой, – все так же равнодушно ответила старуха. – Брат твой по тебе давно панихиду отслужил, а Варвара... Варька твоя в монастырь не пошла... Лежа-ал бы! – протяжно и сердито добавила старуха и ткнула пальцем Бумбарашу в грудь – А то нет!.. Поднялся!.. Беспокойный!

– Слушайте, бабуня, – вскидывая сумку, ответил озадаченный Бумбараш, – помнится мне, что дьячок вам однажды поломал уже ребра, когда вы слезали с чужого чердака. Но... бог с вами! Я добрый.

И, плюнув, Бумбараш отошел, будучи все же обеспокоен ее непонятными словами, ибо он уже давно замечал, что эта проклятая Бабуниха вовсе не так глупа, какой прикидывается.

...До села, до Михеева, оставалось еще двадцать три версты.

Попутчиков не было. Наоборот, оттуда, с запада, подъезжали к станции всё новые и новые подводы с беженцами.

Говорили, что банда полковника Тургачева и полторы сотни казаков идут напролом через Россошанск, чтобы соединиться с чехами.

Говорили о каком-то бешеном атамане Долгунце, который разбил Семикрутский спиртзавод, ограбил монастырь, взорвал зачем-то плотину, затопил каменоломни. Рубит головы направо и налево. И выдает себя за внука Стеньки Разина.

«Хоть за самого черта! – решил Бумбараш. – А сидеть и ждать мне здесь нечего».

Верст пять он прокатил на грузовой машине, которая помчалась в Россошанск забирать позабытые бочонки с бензином.

У опушки, на перекрестке, он выбросил сумку и выскочил сам.

Подпрыгивая на ухабах, отчаянная машина рванула дальше, а Бумбараш остался один перед тем самым веселым лесом, который с детства был им исхожен вдоль и поперек и который сейчас показался ему угрюмым и незнакомым.

Он прислушался. Где-то очень-очень далеко грохали орудия.

«А плевал я на красных, на белых и на зеленых!» – решил Бумбараш и, стараясь думать о том, что он скоро будет дома, зашагал по притихшей лесной дороге.

...Смеркалось, а Бумбараш прошел всего только полпути. Но он не беспокоился, так как знал, что уже неподалеку должна стоять изба кордонного сторожа.

Навстречу Бумбарашу мчалась подвода. Лошадь неслась галопом. Мужик правил. На возу сидели две бабы.

Бумбараш, выскочив из-за кустарника, закричал им, чтобы они остановились. Но тут та баба, что была помоложе – рыжеволосая, без платка, – вскинула ружье-двустволку и не раздумывая выстрелила.

Заряд дробы со свистом пронесся над головой Бумбараша. И Бумбараш с проклятием отскочил за ствол дерева.

«Это не наши! – решил он, когда телега скрылась за поворотом. – Нашей бабе куда!.. Вот проклятый характер! Это, наверно, с Мантуровских каменоломен. Ишь ты, чертовка!.. Стреляет!»

Сумка натерла плечо, он вспотел, устал и проголодался. Он поднял палку и свернул с дороги. Кордонная изба была рядом.

Миновав кустарник, он прошел через огород. Было тихо, и собаки не лаяли. Бумбараш кашлянул и постучал о деревянный сруб колодца. Никто не откликнулся.

Он подошел к крыльцу. Перед крыльцом валялась разбитая стеклянная лампа, и трава пахла теплым керосином. Дверь была распахнута настежь.

Откуда-то из-за сарая с жалобным визгом вылетел черный лохматый щенок и, кувыркаясь, подпрыгивая, кинулся Бумбарашу под ноги.

– Эх обрадовался! Эх завертелся! Да стой же ты, дурак! Ну, чего пляшешь?

Бумбараш вошел в избу. Изба была пуста. Видно было,

что покинули ее совсем недавно и что хозяева собирались наспех.

В углу валялась разорванная перина. По полу были разбросаны листы газет, книги; на столе лежала опрокинутая чернильница. Вся глиняная посуда в беспорядке была свалена в кучу. Печь была еще теплая, и на шестке стояла подернувшаяся салом миска со щами.

Бумбараш постоял, раздумывая, не лучше ли будет убраться отсюда подальше.

Он заглянул в окно. Ночь надвигалась быстро, и небо заложили тучи. Он отодвинул заслонку печки. Там торчала позабытая крынка топленого молока.

Тогда Бумбараш сбросил сумку и скинул шинель.

— Ну, ты, черный! — сказал он, подталкивая собачонку носком рыжего сапога. — Раз хозяев нет, будем хозяйничать сами.

Он вынул из сумки ковригу хлеба, достал крынку молока и поставил на стол миску со щами. Ложка у него была своя — серая, алюминиевая, вылитая из головки шрапнельного снаряда.

— Ну, ты, черный! — пробормотал он, кидая собачонке кусок размоченного в молоке хлеба. — Мы ни к кому не лезем, и к нам пусть никто не лезет тоже.

По крыше застучал дождь. Бумбараш захлопнул окно, запер на задвижку дверь. Лег на рваную перину. Положил сумку под голову. Накрылся шинелью и тотчас же уснул.

Черная собачонка вытащила из-под печки рваный башмак. Потрепала его зубами, поворчала, уронила коцергу, испугалась и притихла, свернувшись у Бумбараша в ногах.

...Вероятно, потому, что в избе было тепло и тихо, потому, что не мозолило бока жесткими досками вагонных нар и его не трясло, не дергало, не осыпало пылью и не обжигало искрами паровозных топок, спал Бумбараш очень крепко.

И, когда наконец его разбудил собачий лай и быстрый стук в окошко, он вскочил как ошалелый.

— Что надо? — заорал он таким голосом, как будто был здесь хозяином и его сон потревожил назойливый нищий или непрошенный бродяга.

— Командир здесь? — раздался из-за окна нетерпеливый скрипучий голос.

— Здесь! Как же! — злобно ответил Бумбараш. — Что надо?

— Бумагу возьми! — и чья-то рука протянулась к окошку.

— Какую еще бумагу?

— А черт вас знает, какую еще бумагу! Приказано передать — и все дело!

— Давай, чтоб ты провалился! — нехотя ответил Бумбараш и, просунув руку в фортку, получил измятый шершавый пакет. — Давай! Да проваливай!

— «Проваливай»! — передразнил его обиженный голос.

Потом затарахтела телега, и уже издалека Бумбараш услышал:

— Я вот скажу ему, что ты пьяный нарезался, лежишь и дрыхнешь. Я все расскажу!

Бумбараш повертел пакет. Но ни свечки, ни лампы в избе не было.

— Носит вас по ночам! Не дадут человеку и выспаться! — проворчал Бумбараш и цыкнул на собачонку, чтобы не гавкала.

Он зевнул, потянулся, по солдатской привычке сунул пакет за обшлаг рукава шинели и снова завалился спать. Долго ворочался он, но теперь ему не спалось.

В окошке уже брезжил рассвет, а вставать Бумбарашу не хотелось.

Он потянулся за махоркой, закурил, услышал, как под крышей застрекотали сороки. И вдруг, как-то разом, очнулся. Он вспомнил, что до родного села, до Михеева, осталось всего-навсего только десять коротких верст.

Он вскочил, сполоснул голову возле дождевой кадки и снял со стены осколок зеркала.

Лицо свое ему не понравилось. Нос был обветренный, красный, щеки шершавые и заросшие бурой щетиной. Кроме того, под левым глазом еще не разошелся синяк. Это кованым каблуком ему подсадил в темноте отпускной артиллерист, пробиравшийся через головы спящих к двери вагона.

– Морда такая, что волков пугать, – сознался Бумбараш. – А уезжал... провожали... Эх, не то было...

Он утешил себя тем, что придет домой, выкупается, побреется и наденет синие диагоналевые пиджак и брюки – те, что купил он, когда сватался к Вареньке, как раз перед войной.

По привычке Бумбараш пошарил главами, не осталось ли в покинутой избе чего-нибудь такого, что могло бы ему пригодиться. Забрал для раскурки лист газетной бумаги, вынул из кочерги палку и вышел на дорогу.

«Изба, – думал он, – раз. Жениться – два. Лошадь с братом поделить – три. А земля будет. Земли нынче много. Революция».

Занятый своими мыслями, он быстро отсчитывал версты, не обращая внимания на черную собачонку, которая бежала за ним следом, тыча носом в бахромчатую полу его пропахшей (дымом) шинели. Чему-то иногда улыбался. И что-то веселое бормотал.

Часа через два он вышел из лесу и остановился перед мельничной плотиной.

На кудрявых холмах, в дымке утреннего тумана, раскинулось село Михеево.

– Будьте здоровы! – приподымая серую папаху, поклонился Бумбараш. – Провожали – плакали. Не виделись долго. Чем-то теперь встретите?

С любопытством осматривал Бумбараш знакомые улицы.

Мост через ручей провалился. Против трактира – новый колодец. У Полуваловых перед избой раскинулся большой палисадник, а сарай и заборы новые... На месте Фенькиной избы осталась одна закопченная труба – значит, погорела.

Акации под церковной оградой, где часто сидел он когда-то с Варенькой, сплошной стеной раздалились вширь.

Бумбараш завернул за угол и (вытаращив глаза) остановился. Что такое? Вот он, пожарный сарай. Вот она, изба Курнаковых. Вот он и братнин дом со старой липой под окнами. Однако справа, рядом с братниным домом, ничего не было.

Перед самой войной Бумбараш затеял раздел и начал строиться. Он поставил пятистенный сруб и подвел его уже под крышу. Уходя в солдаты, Бумбараш наказал брату, чтобы тот забил окна, двери, сохранил гвозди, кирпич, стекла и присматривал, чтобы тес не растащили.

А сейчас не только тесу, но и самого сруба на месте не было. Да что там сруба – даже того места! Как провалилось! И все кругом было засажено картошкой.

Сердце вздрогнуло у Бумбараша, он покраснел и, не зная, что думать, прибавил шаг.

Он распахнул дверь в избу и столкнулся с женой брата – Серафимой. Серафима дико взвизгнула, уронила ведра и отскочила к окну.

– Семен! – пробормотала она. – Господи помилуй! Семен! – И она крепко вцепилась рукой в скалку для теста, точно собираясь оглоушить Бумбараша.

Бумбараш попятился к порогу и наткнулся на подоспевшего брата Василия.

– Что это? Постой! Куда прешь? – закричал Василий и схватил Бумбараша за плечи.

Бумбараш рванулся и отшвырнул Василия в угол.

– Чего кидаешься? – сердито спросил он. – Протри глаза тряпкой. Здравствуйте!

– Семен! Вон оно что! – пробормотал, откашливаясь, Василий. – А я, брат, тебя не того... Серафима! – заорал он на оцепеневшую бабу. – Уйми ребят... Что же ты стоишь, как колода! Не видишь, что брат Семен приехал!

– Так тебя разве не убили? – сморщив веснушчатое лицо, плаксивым голосом спросила Серафима и подошла к Бумбарашу обниматься.

– На полвершка промахнулись! – огрызнулся Бумбараш. – Одна орет, другой – за шиворот. Ты бы еще с топором выскочил!

– Нет, ты... не подумай! – сдерживая кашель и торопливо отыскивая что-то за зеркалом, оправдывался Васи-

лий. – Серафима, куда письмо задевали? Говорил я тебе – спрячь. Голову оторву, если пропало.

– В комодке оно. От ребят схоронила. А то недавно Мишка квитанцию на лампе сжег... У-у, проклятый! – выругалась она и треснула притихшего толстопузого мальчишку по затылку.

– Нет, ты не подумай, – торопился оправдываться Василий. – Тут не то что я... а кто хочешь!.. Мне староста... Как раз Гаврила Никитич, – сам письмо принес. Смотрю – печать казенная. «Что же, – спрашиваю я, – за письмо?» – «А то, что брат твой Семен, царство ему небесное, значит... на поле битвы...»

– Как так на поле битвы! – возмутился Бумбараш. – Быть этого не может...

– А вот и может! – протягивая Бумбарашу листок, сердито сказала Серафима. – Да ты полегче хватай! Бумага тонкая – гляди, изорвешь.

И точно: канцелярия 7-й роты 120-го Белгородского полка сообщала о том, что рядовой Семен Бумбараш в ночь на восемнадцатое мая убит и похоронен в братской могиле.

– Быть этого не может! – упрямо повторил Бумбараш. – Я – живой.

– Сами видим, что живой, – забирая письмо, всхлинула Серафима. – У меня, как я глянула, в глазах помутилось.

– Избу мою продали? – не глядя на брата, спросил Бумбараш. – Поспешили?

Василий кашлянул и молча развел руками.

– Чего же поспешили? – вступилась Серафима. – Раз убит, то жди не жди – все равно мертвый. Да и за что про-

дали! Нынче деньги какие? Солома. Гавриле Полуwalову и продали. Баню новую он ставил... сарай... Варька-то Гордеева за него замуж вышла. Поплакала, поплакала да и вышла.

Бумбараш быстро отвернулся к окошку и полез в карман за табаком.

— О чем плакала? — помолчав немного, хрипло спросил он сквозь зубы.

— Известно о чем! О тебе плакала... А когда панихиду справляли, так и вовсе ревмя редела.

— Так вы и панихиду по мне отмахали? Весело!

— А то как же, — обидчиво ответила Серафима. — Что мы — хуже людей, что ли? Порядок знаем.

— Вот он где у меня сидит, этот порядок! — показывая себе на шею, вздохнул Бумбараш. И, глянув на свои заплатанные штаны цвета навозной жижи, он спросил:

— Костюм мой... пиджак синий... брюки — надо думать, тоже продали?

— Зачем продали, — нехотя ответила Серафима. — Я его к пасхе Василию обкоротила. Да и то сказать... материал — дрянь. Одна слава, что диагональ, а раз постирала — он и вылинял. Говорила я тебе тогда: купи костюм серый, а ты — синий да синий. Вот тебе и синий!

Бумбараш достал пару белья, кусок мыла. Ребятишки с любопытством поглядывали на его сумку.

Он дал им по куску сахара, и они тотчас же молча один за другим повывлетали за дверь.

Бумбараш вышел во двор и мимоходом заглянул в сарай. Там вместо знакомого Бурого коня стояла понурая, вислоухая кобылка.

«А где Бурый?» – хотел было спросить он, но раздумал, махнул рукой и прямо через огороды пошел на спуск к речке.

Когда Бумбараш вернулся, то уже пыхтел самовар, шипела на сковородке жирная яичница, на столе в голубой миске подрагивал коровий студень и стояла большая пузатая бутылка с самогонкой.

Изба была прибрана. Серафима приоделась.

Умытые ребятишки весело болтали ногами, усевшись на кровати. И только тот самый Мишка, который сжег квитанцию, как замороженный стоял в углу и не спускал глаз с подвешенной на гвоздь Бумбарашевой сумки.

Вошел причесанный и подпоясанный Василий. Он держал нож и кусок посоленного свиного сала.

Как-никак, а брата нужно было встретить не хуже, чем у людей. И Серафима порядок знала.

В окошки уже заглядывали любопытные. В избу собирались соседи. А так как делить им с Бумбарашем было нечего, то все ему были рады. Да к тому же каждому было интересно, как же братья теперь будут рассчитываться.

– А я смотрю, кто это прет? Да прямо в сени, да прямо в избу, – торопилась рассказать Серафима. – «Господи, думаю, что за напасть!» Мы и панихиду отслужили, и поминки справили... Мишка недавно нашел где-то за комодом фотографию и спрашивает: «Маманька, кто это?» – «А это, говорю, твой покойный дядя Семен. Ты же, паршивец, весь портрет измуслякал и карандашом исчиркал!»

– Будет тебе крутиться! – сказал жене Василий и взялся за бутылку. – Как, значит, вернулся брат Семен в здравом

благополучии, то за это и выпьем. А тому писарю, что бумагу писал, башку расколотить мало. Замутил, запутал, бумаге цена копейка, а теперь сами видите – вот, раздвываясь как хочешь!

– Бумага казенная, – с беспокойством вставила Серафима. – На бумагу тоже зря валить нечего.

Самогон обжег Бумбарашу горло. Не пил он давно, и хмель быстро ударил ему в голову.

Он отвалил на блюде две полные пригоршни сахару и распечатал пачку светлого табаку.

Бабы охнули и зазвенели стаканами. Мужики крякнули и полезли в карманы за бумагой.

В избе стало шумно и дымно.

А тут еще распахнулась дверь, вошел поп с дьячком и прямо от порога рявкнул благодарственный молебен о благополучном Бумбараша возвращении.

– Варька Гордеева мимо окон в лавку пробежала... – раздвигая табуретки и освобождая священнику место, вполголоса сообщила Серафима. – Сама бежит, а глазами на окна зырк... зырк...

– А мне что? – не поворачиваясь, спросил Бумбараш и продолжал слушать рассказ деда Николая¹, который ездил на базар в Семикрутово и видел, как атаман Долгунец разгонял мужской монастырь.

– ...Выстроил, значит, Долгунец монахов в линию и командует: «По порядку номеров рассчитайся!» Они, конечно, монахи, к расчету непривычны, потому что не солдаты... а дело божье. К тому же оробели, стоят и не счи-

¹ отца Серафимы. — *Ред.*

таются... «Ах, вон что! Арихметику не знаете? Так я вас сейчас выучу! Васька, тащи сюда ведерко с дегтем!»

На что ему этот деготь нужен был – не знаю. Однако как только монахи услышали, ну, думают, уж конечно, не для чего-либо хорошего. Догадались, что с них надо, и стали выкликаться.

В аккурат сто двадцать человек вышло. Это окромя старых и убогих. Тех он еще раньше взашей гнать велел.

«Ну, говорит, Васька, вот тебе славное воинство. Дай ты им по берданке. Да чтобы за три дня они у тебя и штыком, и курком, и бонбою упражнялись. А на четвертый день ударим в бой!»

Те, конечно, как услышали такое, сразу и псалом царю Давиду затянули – и в ноги. Только двое вышли. Один росошанский – булочника Федотова сын. Морда – как тыква, сапогом волка зашибить может. Он еще, помнится, до монашества квашню с тестом пуда на три мировому судье на голову надел... А другой – тощий такой, лицо господское, видать – не из наших.

Долгунец велит: «А подайте им коней!» Гаврилка как сел, так и конь под ним аж придыхнул. А другой подобрал ряску да как скочит в седло, чуть только стремя коснулся.

Тогда Долгунец и говорит: «Васька, таких нам надо! Выдай им снаряжение, а рясы пусть не снимают... А вы, божьи молителю, – это он на остальных, – поднимайтесь да скачите отсюда куда глаза глядят. Кого на дороге встречу – трогать не буду. А если кого другой раз в монастыре застану – на колокольню загоню и велю прыгать... Васька, вынь часы, сядь у пулемета. И как пройдет три минуты пять секунд – дуй всю по тем, кто не ускачет».

А Васька – скаженный такой, проворный, как сатана, – часы вынул да шасть к пулемету.

Так что было-то! Как рванули табуном монахи. До часовни Николы Спаса одним духом домчали, а там за угол да врассыпную...

Монахов Бумбараш и сам недолголюбивал. И рассказ этот ему понравился. Однако он не мог понять, что же этому Долгунцу надо и за кого он воюет.

– Натуральный разбойник! – объяснил Бумбарашу священник. – Бога нет, совести нет. Белых ему не надо, на красных он в обиде. Разбойник, и повадки все разбойничьи. Заскочил в усадьбу к семикрутовскому управляющему. Обобрал всё дочиста, а самого-то с женою, с Дарьей Михайловной, в одном исподнем оставил и говорит: «Изгоняю вас, как господь Адама и Еву из рая. Идите и добывайте в поте лица хлеб свой насущный... Васька, стань у врат, как архангел, и проводи с честью». Васька, конечно, – тьфу, мерзость! – шинель крылами растопырил и машет, и машет и пляшет, а сам поет матерное. В одной руке у него пистолет, в другой – сабля. Ну те, конечно, – что будешь делать? – так в исподнем и пошли.

– У Адама и Евы хоть вид был! – вставил охмелевший дед Николай. – А это же люди в теле. Срамота!

И этот рассказ Бумбарашу понравился, однако он опять-таки не понял, куда этот Долгунец гнет и что ему надо.

Мимо окон рысцой проскакали пятеро всадников. Одежда вольная, сабель нет, но за плечами винтовки.

– Это красавинские... – объяснил Бумбарашу священник. – Самоохрана называется. Молодцы парни! И у нас

тоже есть. Гаврила Полувалов за главного. К нему, должно, и поехали.

– Руки и ноги им поотрывать надо! – неожиданно выкрикнул охмелевший дед Николай. – Ишь что сукины дети затеяли...

– Молчал бы, старый пес!.. – огрызнулся кто-то.

– А что молчать? – поддержал деда щуплый, кривой на один глаз дьячок. – Да и вы-то, батюшка: говорить говорите, а к чему это – неизвестно. Наше дело – раздувай кадило и звони к обедне. Помилуй, мол, нас, господи. А вы вон что!

Надвигалась ссора. В избе переглянулись. Василий поспешно взялся за бутылку. Звякнули стаканы. Кругом зачихали, закашляли. Разговор оборвался.

– Яшка Курнаков идет, – пробормотала Серафима. – Принесло черта...

Быстро в избу вошел высокий парень в заплатанной голубой рубашке. На нем были потертые галифе, заправленные в сапоги. Смуглое, как у цыгана, лицо его было выбрито. Кепка сдвинута на затылок. Левая рука наспех завязана тряпичей.

– Семка! – засмеялся он и крепко обнял Бумбараша. – Ах, ты черт бессмертный! А я сижу наверху, крышу перебираю. Идет Варька. Я смотрю на нее. «Семен, говорит, вернулся». Я ей: «Что ты, дура!..» Она – креститься. Я рванулся. А крыша, дрянь, гниль, как подо мной хрустнет, так я на чердак пролетел.

Мать из избы выскочила.

– Что ты, – кричит, – дьявол! Потолок проломишь...

Я схватил тряпку, замотал руку да сюда...

– Эк тебя задергало! – сердито сказала Серафима. – Батюшке локтем в ухо заехал. Да не тряси стол-то! Еще самовар опрокинешь...

Священник, и без этого обиженный грубыми словами кривого дьячка, поднялся, перекрестился, и за ним один по одному поднялись и остальные.

Когда изба опустела, Яшка Курнаков схватил Бумбараша за руку и потащил во двор. Мимо огорода прошли они к обрыву над рекой. Там, в копне на лужайке, где еще мальчишками прятались, поедая ворованный горох, огурцы и морковку, остановились они и сели.

Бумбараш рассказывал про свои беды, а Яшка его утешал:

– Придет пора – будет жена, будет изба! Дворец построим с балконом, с фонтанами! А Варьке голову ты не путай – раз отрублено, значит, отрезано. За тебя она теперь не пойдет. А чуть что Гаврилка узнает, он ее живо скрутит. Он теперь в силе. Видал, верховые к нему поскакали?

– Охрана?

– Банду собирают. Я всё вижу. Это только одна комедия, что охрана. На прошлой неделе под мостом в овраге упродкомиссара нашли: лежит – пуля в спину. Недавно у мельницы Ваську Куликова, матроса, из воды мертвого вытащили, мне и то ночью через окно кто-то из винтовки как саданет! Пуля мимо башки жикнула! Посуду на полке – вдрызг, и через стену – навывлет. Скоро хлебную разверстку сдавать. Ну вот и заворочались.

– А красные что? Они где заняты?

– А у красных своя беда. На Дону – Корнилов. Под Казанью – чехи.

Яшка зажмурился. Точно подыскивая трудные слова, он облизал губы, пощелкал пальцем и вдруг напрямик предложил:

– Знаешь, Семен! Давай, друг, двинем в тобой в Красную Армию.

– Еще что! – с недоумением взглянул на Яшку озадаченный Бумбараш. – Да ты, парень, в уме ли?

– А чего дожидаться? – быстро заговорил Яшка. – Ну, ладно, не сейчас. Ты отдохни дней пяток-неделю. А потом возьмем да и двинем. Нас тут еще трое-четверо наберется: Кудрявцев Володька, Шурка Плюснин, Башмаковы братья. Я уже все надумал. У Шурки берданка есть. У меня бомба спрятана – тут на станции братишка у одного солдата за бутылку молока выменял. Ему рыбу глушить, а я забрал... Ночью подберемся, охрану разоружим, да и айда с винтовками.

От таких сумасшедших слов у Бумбараша даже хмель из головы вылетел. Он поглядел на Яшку – не смеется ли? Но Яшка теперь не смеялся. Смуглое лицо его горело и нахмуренный лоб был влажен.

– Так... так... – растерянно пробормотал Бумбараш. – Это, значит, из квашни да в печь, из горшка да в миску. Жарили меня, парили, а теперь – кушайте на здоровье! Да за каким чертом мне все это сдалось?

– Как – за чертом? Чехи прут! Белые лезут! Значит, сидеть и дожидаться? – И Яшка недоуменно дернул плечами.

– Мне ничего этого не надо, – упрямо ответил Бумбараш. – Я жить хочу...

– Он жить хочет! – хлопнув руками о свои колени,

воскликнул Яшка. – Видали умника! Он жить хочет! Ему жена, изба, курятина, поросятина. А нам, видите ли, помирать охота. Прямо хоть сейчас копай могилы – сами с песнями прыгать будем... Жить всем охота. Гаврилке Полувалову тоже! Да еще как жить! Чтобы нам вершки, а ему корешки. А ты давай, чтобы жить было всем весело!

– Не будет этого никогда, – хмуро ответил Бумбараш. – Как это – чтобы всем? Не было этого и не будет.

– Да будет, будет! – почти крикнул Яшка и рассмеялся. – Я тебе говорю – дворец построим, с фонтанами. На балконе чай с лимоном пить будешь. Жену тебе сосватаем... Красавицу! Надоест по-русски – по-немецки с ней говорить будешь. Ты, поди, в плену наловчился. Подойдешь и скажешь... как это там по-ихнему? Тлям... Блям. Флям. «Дай-ка я тебя, Машенька, поцелую»... Как – не будет? погоди, дай срок, все будет.

Яшка умолк. Цыганское лицо его вдруг покривилось, как будто бы в рот ему попало что-то горькое. Он тронул Бумбараша за рукав и сказал:

– Позавчера на кордоне сторожа Андрея Алексеевича убить хотели. Не успели. В окно выпрыгнул. Ты мимо сторожки проходил, не заглянул ли?

– Заглянул, – ответил Бумбараш. – Изба брошена. Пусто!

Он хотел было рассказать о ночном случае, но запнулся и почему-то не сказал.

– Значит, скрылся... – задумчиво проговорил Яшка. – А оставаться ему там нельзя было. Он партийный...

Яшка хотел что-то добавить, но тоже запнулся. И смолчал. Разговор после этого не вязался.

– Ты подумай все-таки! – посоветовал Яшка. – Сам увидишь: как ни вихляй, а выбирать надо. А к Варьке смотри не ходи, как друг советую. Да! – Яшка виновато замялся. – Ты смотри, конечно, не того... помалкивай...

– Мое дело – сторона, – ответил огорченный Бумбараш. – Я разве против? Я только говорю – сторона, мол, мое дело.

– «Сторона ль моя сторонushка! Э-эх, широко-окая, раздо-ольная...» – укоризненно покачивая головой, потихоньку пропел Яшка. – Ну вставай, пролетарий! – опять рассмеявшись, скомандовал он самому себе и одним толчком вскочил с травы на ноги.

Однако Бумбараш Яшкиного совета не послушался и в тот же вечер попер к Вареньке.

Вернувшись домой, чтобы отряхнуться от невеселых мыслей, он допил оставшиеся полбутылки самогона. После этого он сразу повеселел, подобрел, роздал ребятишкам еще по куску сахара, которые, впрочем, Серафима тотчас же у всех поотнимала, и подумал, что вовсе ничего плохого в том, что он зайдет к Вареньке, не будет. Он даже может зайти и не к ней, а к Гаврилке Полувалову. Дружбы у них меж собой, правда, не было, однако же были они почти соседи да и в солдаты призывались вместе. Только Бумбараш скоро попал в маршевую, а Гаврилке повезло, и он зацепился младшим писарем при воинском начальнике.

Бумбараш побрился, оцарапал щеку, потер палец о печку, замазал мелом синяк под глазом и, почистив веником сапоги, вышел на улицу.

У ворот полуваловского дома хрустели овсом осед-

ланные кони. Бумбараш заколебался: не подождать ли, пока эта кавалерия уедет восвояси? Но, услышав через дверь знакомый Варенькин голос, он привычным жестом провел рукой по ремню, одернул гимнастерку и вошел на крыльцо.

В избе за столом сидели шестеро. В углу под образами стояли винтовки, на стене висела ободранная полицейская шашка – должно быть, Гаврилкина.

«Эк его разнесло! – подумал Бумбараш. – А усы-то отпустил, как у казака».

Увидав Бумбараша, Варенька, которая раздувала Гаврилкиным сапогом ведерный самовар, не сдержавшись, вскрикнула и быстро закрыла глаза ладонью, притворившись, что искра попала ей в лицо.

Гаврила Полувалов посмотрел на нее искоса. Обмануть его было трудно. Однако он не моргнул и глазом.

– Заходи, коли вошел! – предложил он. – Что же стоишь? Садись. Пей чай – вино выпили.

Варенька вытерла сапог тряпкой, подала его мужу. С Бумбарашем поздоровалась, но в лицо ему не посмотрела.

«Похудела! Похорошела! Эх, золото!» – не чувствуя к Вареньке никакой злобы, подумал Бумбараш.

Но молчать и глядеть на нее было неудобно. И он нехотя стал отвечать на вопросы, где был, как жил, что видел и как вернулся.

– Лучше было тебе и вовсе не ворочаться, – сказал Полувалов. – Такой вокруг развал, разгром, что и глядеть тошно. – И, пытливо уставившись на Бумбараша, он спросил! – С Яшкой Курнаковым видался? Он, собачья душа, поди-ка, тебе все уже расписал?

– Что Яшка! – уклончиво ответил Бумбараш. – Я и сам всё вижу.

– А что ты видишь? – насторожившись, спросил Полувалов. – Варвара, глянь-ка там за шкафом, не осталось ли чего в бутылке? Дай-ка, мы с ним за встречу выпьем.

Пить Бумбараш уже не хотел, но, чтобы задержаться в избе подольше, он выпил.

Красавинские охранники, не разгадав еще, что Бумбараш за человек и как при нем держаться, сидели молча.

– Дак что же ты видишь? – продолжал Полувалов. – Говори, послушаем. Мы-то тут ходим, тычемся носом, как слепые. А тебе со стороны, может, и виднее...

– Что Яшка! – опять уклонился от вопроса осторожный Бумбараш. – У Яшки – свое, а у тебя – свое.

– Что же это у меня за «свое»? – враждебно спросил Полувалов, отыскав в словах Бумбараша вовсе не тот смысл, что Бумбараш вкладывал. – Что мне «свое»? Своего мне и так хватит. Я за всех вас, подлецы, стараюсь... У-у, погань! – скрипнув зубами, пробормотал он и смачно сплюнул, вероятно, опять вспомнив ненавистного Яшку.

«Нет, ты не слепой тычешься! – глянув на перекосившееся Гаврилкино лицо и вспомнив рассказ Яшки о пуле, пробившей окошко, подумал Бумбараш. – Таким слепцам на пустой дороге не попадайся!»

– Гаврила Петрович! – закричал снаружи бабий голос. – Беги-ка скорей в волсовет, там какая-то бумага пришла. Тебя ищут.

– Пропasti на них нет! То-то Гаврила Петрович да Гаврила Петрович! А чуть что – все в кусты! А в ответе опять один Гаврила Петрович... Идем! – поднимаясь с

лавки, сказал он Бумбарашу. – Теперь не дожدهшься... я долго... – И, пропустив Бумбараша в сени, он, обернувшись к охранникам, сказал вполголоса: – А вы подождите. Что там за бумага? Я – скоро.

Только что Полувалов скрылся за углом, как Бумбараш быстро шмыгнул через калитку во двор, а оттуда – через коровник в сад, что раскинулся над оврагом.

Ждать ему пришлось недолго. Варенька стояла рядом и с испугом глядела ему в лицо.

– Ты что, Семен? – вздрагивающим шепотом спросила она. – Ты уходи.

– Сейчас уйду, – сжимая ее похолодевшую руку, ответил Бумбараш. – Как живешь, Варенька?

– Как видишь! Так тебя не убили?..

– Бог миловал. Да, смотрю, напрасно... Горько мне, Варенька! Что же ты поторопилась?

– Я не торопилась. А что было делать? Изба сгорела. Мать на пожаре бревном зашибло... Тебя убили... Господи, да кто же это такое придумал, что тебя убили! Уходи, Семен! В избе гости, мне идти надо...

– Сейчас уйду. Ты его любишь, Варенька?

– Не знаю. Страшный он. Беда будет... – бессвязно ответила Варенька. – Беги, Семен, он сейчас вернется!

– Он не вернется. Он сказал, что долго.

– Нет, скоро! Я сама слышала! Он хитрый... господи! – с мукой в голосе повторила Варенька. – Да кто же это такое придумал, что тебя убили!

Теплая слеза упала в темноте Бумбарашу на ладонь. Бумбараш покачнулся и почувствовал, что голова его бы-

стро пьянеет. Луна слепила ему глаза, и мимо ушей свистел горячий ветер.

– Варенька! – сказал он, плохо соображая, что говорит. – Ты брось его... Уйдем вместе.

– Полоумный! – отшатнулась Варенька. – Что ты мелешь? Как уйдем? Куда?.. Под пулю?..

«И точно, куда уйдем? – подумал Бумбараш. – Уходить некуда...»

Варенька вырвалась и насторожилась.

– Беги, Семен! Кто-то идет! Сюда не приходи. Не надо!

Она отпрыгнула и скрылась за калиткой. Слышно было, как в коровнике звякнули ведра, и Варенька поспешно вбежала на крыльцо.

Бумбараш стоял, опустив голову, и ничего не соображал.

На крыльце опять послышались шаги. Если бы Бумбараш не был пьян, если бы он не был ослеплен луною и оглушен свистом ветра, то по тяжелому топоту он сразу бы угадал, что это идет не Варенька – и не один, а двое.

Он шагнул к калитке и нарвался на Гаврилку Полувалова и старшего из красавинской охраны, которые, чтобы их разговора никто не слышал, шли в сад.

– Стой! – крикнул Гаврилка и схватил Бумбараша за рукав.

Бумбараш двинул Гаврилку коленом в живот, отскочил в кусты и тотчас же получил сам тяжелый удар по голове – должно быть, железным кастетом.

Он зашатался... выровнялся, шагнул к оврагу... опять зашатался... хватаясь за ветви, выпрямился, остутился и, цепляясь за колючки, покатился под откос в овраг.

...Очнулся он не сразу. Голова ныла. Лоб был мокрый – очевидно, в крови. Где-то рядом журчал ручей, Но луна скрылась, и пробраться через колючки к воде он не сумел. Кое-как выбрался он наверх и задами пошел к дому.

Через огород он вышел к себе во двор. Дома еще не спали. Он торкнулся – дверь была заперта. Он подошел к окошку: в избе сидели Василий, Серафима и ее отец – старик Николай. Говорили, очевидно, о нем – Бумбараше, – об избе, о костюме и о лошади...

– Добрые люди! – говорила Серафима. – Да разве же мы виноваты? У нас бумага.

– Печку растопить этой бумагой! А он скажет: «Вынь деньги да положи!» А где их возьмешь, деньги? Продали, прожили...

– Господи, вот принесла нелегкая! Ему что – он один. Куда хочешь пошел да нанялся. Хоть бы ты чего-нибудь, папанька, сказал, а то сидит бороду чешет! Вино для людей поставили – ан, старый сын, и навалился, и навалился!

Бумбараш постучал в окно. Разговор разом оборвался. Вскочила Серафима.

– Дай-ка мне воды умыться, – не выходя на свет, попросил Бумбараш.

– Ты заходи в избу, там умоешься.

– Дай, говорю, сюда! И захвати полотенце, – настойчиво повторил Бумбараш.

– Давай полью! – сердито сказала Серафима, вынося полотенце и ковшик. – Да куда ты прячешься? Подайся к свету... Батюшки! – тихо вскрикнула она, рассмотрев на лбу Бумбараша струйку запекшейся крови. – Семен, кто это тебя? – И, вдруг догадавшись, она спросила: – Ты у нее был? Гаврилка?..

– Серафима, – сказал Бумбараш, – я под окном все слышал... Вы с братом будете ко мне хороши, и я к вам хорош... буду. Смотрите, чтоб никому ни слова!.. Кинь мне что-нибудь на сеновале. Я там лягу.

– Да зайди хоть в избу!

– Не надо, – заматывая голову полотенцем, отказался Бумбараш. – А отцу скажи – захмелел, мол, Семен и на сеновал спать пошел. А больше смотри ничего...

На следующий день Бумбараш с сеновала не слазил. Если бы Гаврилка Полуvalов увидел его голову, то сразу догадался бы, кто это был вчера в саду, и тогда, Вареньке пришлось бы плохо.

Бумбараш решил отлежаться, а наутро чуть свет уйти в Россошанск и там переждать с недельку у дяди, который был жестянщиком.

Несколько раз с новостями прибегала на сеновал Серафима.

– Полуvalов к окошку подходил, – сообщила она. – Тебя спрашивал. «Он, говорю, на хутор к крестной пошел». – «Домой вчор от меня он не пьяный воротился?» – «Да нет, говорю, как будто бы в себе. Поиграл на Васькиной балалайке да и спать лег».

А на селе, Семен, что-то беспокойно. Охранники шмыгают туда-сюда. Люди болтают, будто приказ вышел – охраны больше не нужно и винтовки сдать на станцию. А Гаврилка будто бумагу эту скрывает. Кто их знает? Может быть, и враки? Разве теперь разберешь...

После обеда Серафима появилась опять:

– Варьку у колодца встретила. Вдвоем мы были.

Больше никого. Вытянула она ведро да будто невзначай опрокинула. «Набирай, говорит, я передохну». А сама стоит и смотрит и, видать, мучается, а спросить боится... Я ей говорю: «Ты, Варвара, от меня не прячься... Семен дома. На сеновале лежит». У ней, видать, дух захватило. «А что так?» — «Да голова у него малость побита и на лбу ссадина. Тебя выдать боится». — «Серафима! — шепчет она, а сама чуть не в слезы. — Христом богом тебя молю: скажи ты ему, чтобы схоронился он отсюда подальше. Вижу я, что к худому идет дело».

Тут она замолчала, ведро из колодца тянет. Руки, вижу, дрожат, а сама бормочет: «Пусть Семен Яшке Курнакову скажет: беги, мол, и ты, а то беда будет...»

А что за беда, я так и недослышала. Схватила Варька ведра да домой, чуть не бегом.

К вечеру Серафима рассказывала:

— Яшка Курнаков приходил. Тебя ищет. Я ему говорю: «Дома нету, кажись, в рощу, на пасеку к крестному, пошел. Не знаю — вернется, не знаю — там заночует... Яшка, — говорю ему, — ты берегись. Люди думают, как бы тебе от Гаврилки плохо не было».

Как плюнет он на землю, сам озирается, а руку из кармана не вынимает. «Ой, думаю, в кармане у тебя не семечки...»

— Яшке сказаться надо было, — подосадовал Бумбараш. — Если еще придет, ты его сюда пошли.

— А кто тебя знает! Говорил — молчи, я всех и отваживаю. Оставь ты, Семен, не путайся с ними!.. Я вот ему, паршивцу, я вот ему, негоднику! — зашипела вдруг Серафима, увидав через щель крыши, что пузатый Мишка

поймал серого утенка и ловчится засунуть его в мыльное корыто. – И этот тебя весь день тоже ищет, – тихонько рассмеялась Серафима. – «Где дядька? Дядька, говорит, богатый, с сахаром». Ты будешь уходить, Семен, оставь сахару сколько ни то. Сладкого-то у них давно и в помине нету.

– Ладно, ладно! – поморщился Бумбараш. – Вы только глядите помалкивайте...

– Господи, что мы – чужие, что ли? Я уж, кажись, и так – как могила.

Перед тем как лечь спать, он захотел пить, но нечаянно опрокинул чашку с квасом на сено. Спуститься вниз он не решился. В углу крыши зияла широкая дыра, над которой раскинулись ветви густой яблони. Бумбараш встал, сорвал на ощупь яблоко, сунул его в рот и раздвинул влажные листья.

Перед ним раскинулось звездное небо, – и среди бесчисленного множества он теперь сразу нашел те три звезды, из-за которых он попал в плен, болел тифом, цингой, потерял избу, костюм, коня и Вареньку...

Это случилось при отступлении от Ломбежа на Большую Мшанку.

Бумбараш заскочил в хату батальонного штаба, чтобы спросить вестовых, куда, к черту, провалилась восьмая рота. Бородатый офицер, кажется прапорщик, сидя на корточках, кидал в печку остатки бумаг и, чтобы быстрее горели, ворошил их почерневшим клинком шашки.

Он всучил оторопевшему Бумбарашу перевязанный телефонным проводом сверток, вывел на крыльцо и острием шашки показал на горизонт.

– Подними морду и смотри левее, – приказал он. – Иди до околицы, там свернешь вон на эти три звезды: две рядом, одна ниже. Дальше идти прямо, пока не наткнешься на саперный взвод у переправы. Там найдешь адъютанта третьего батальона. Передашь сверток, возьмешь расписку и отдашь ее командиру своей роты.

Бумбараш повторил приказ и, проклиная свою несчастную долю, которая подтолкнула его заскочить в хату, попер полем, время от времени задирая голову к небу.

Он был голоден, потому что шрапнельный снаряд разбил ротную кухню как раз в ту минуту, когда кашевар отвинчивал крышку котла с горячими щами.

Но всего только час назад ему посчастливилось стянуть из чужой каптерской повозки банку с консервами. Банка была без этикетки, и вместе с голодом его одолевало любопытство – рыбные это консервы или мясные?

Выбравшись в поле, он опустился на траву, достал кусок кукурузного хлеба, снял штык и пробил в жестяной крышке дырку. Чтобы не потерять ни капли, он быстро опрокинул банку ко рту.

Липкая, едкая, пахнувшая бензином краска залила ему губы, ударила в нос и обожгла язык. Отплевываясь и чертыхаясь, он вскочил и понесся отыскивать воду.

Долго полоскал он рот, скреб язык ногтем, вытирал рукавом губы и жевал траву.

Наконец, убедившись, что дочиста все равно не отмоешь, еще более голодный и усталый, чем раньше, он зашагал по полю. Надо было торопиться.

Он поднял голову, разыскивая свои путеводные звезды, однако там, куда он смотрел, их не было.

Он вертел голову направо-налево. Ему попадались созвездия, раскинувшиеся и крючками, и хвостами, и ковшами, и крестом, и дыркой... Но тех трех звезд – две рядом, одна пониже – он не мог разыскать никак. Тогда он пошел наугад и через час наварлся в упор на головную заставу австрийской колонны.

Бумбараш съел яблоко и взялся поправлять свое измятое логово. Глухой взрыв ударил по ночной тишине.

Бумбараш вскочил на ноги.

«Бомба! – сразу же догадался он. – Для снаряда слабо, для винтовки крепко. Кто бросает?..»

Почти следом раздались три-четыре выстрела. Потом стихло. Потом уже не переставая, то приближаясь, то удаляясь, редкие выстрелы защелкали с разных сторон.

«Чтоб вам и на том свете не было покою! – обозлился Бумбараш. – И когда это все кончится!»

Он кинулся на сено, укрылся шинелью и решил назло спать, хотя бы на улицах дрались в штыковую.

– Хватит! – бормотал он. – Я к вам не лезу. Отвоевался...

Однако для спанья время он выбрал плохое. Кто-то забежал во двор и тихонько постучал в форточку. Вскоре на сеновал взобралась запыхавшаяся Серафима.

– Семен! – позвала она. – Вставай, Семен! Скорее!

– Что надо? – огрызнулся Бумбараш. – Убирайтесь вы к черту! Я спать хочу!

– Вставай, очумелая башка! – ахнула Серафима. – Слезай! Бери сумку. Внизу Варька.

Одним махом Бумбараш слетел на кучу навоза, и тотчас же из темноты к нему подскочила Варенька.

– Беги! – зашептала она. – Тебя ищут! Яшка Курнаков бросил бомбу. Забрали три винтовки... Шурку Плюснина убили... Гаврилка думает, что ты с ними заодно. Найдут – убьют!

– погоди! – вскидывая сумку за плечи, пробормотал разгневанный Бумбараш. – Я еще вернусь! Я ему убью! Дай только разобраться...

Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Но стреляли, очевидно, наугад, без толку.

– Ну, бог с тобой, уходи, уходи! – заторопила Серафима. – Мимо воробьевской бани ступай, прямо через речку, вброд – там мелко.

– Через мельницу не ходи, – прошептала Варенька, – там наши... банда. Пусти, Семен, теперь уже нечего!

Она вырвалась и убежала.

В избе захныкали потревоженные ребятишки.

Бумбараш выломал из плетня жердь и, не сказав ни слова, зашагал через огородные грядки к спуску на речку.

Серафима перекрестилась и юркнула в избу.

Через минуту в окошко застучали. Серафима молчала. Тогда забарабанили громче и загрохали прикладом в ка-литку.

Серафима с яростью распахнула окно и плюнула прямо кому-то в морду.

– Ах ты, бесстыжая рожа! – взвизгнула она на всю улицу. – Ты, Пашка, чего безобразишь? С постели соскочить не дают! Мужик больной, детей до смерти перепугали! Ты бы еще оглоблей в стену!.. Ну, чего надо? Нету, говорю, Семена! Так вам с утра еще было и сказано. Идите ищите! Нам он и самим как прошлогодний снег на голо-

ву... Да что ты мне своим ружьем в грудь тычешь? Так я твоей пули и испугалась!

Проснулся Бумбараш под стогом сена верстах в десяти от Михеева и в тридцати – от Россошанска.

Утро было теплое, солнечное. На речке гоготали гуси. Под горою, на лугу, ворочалось коровье стадо.

По дороге тархатели телеги, и с котомками за плечами шли мирные путники.

И чудно было даже вспомнить и подумать, что по всей этой широкой, спокойной земле, куда ни глянь, куда ни кинь, упрямо разгоралась тяжелая война.

Бумбараш подошел к ручью, умылся, напился, а позавтракать решил в деревне Катрёмушки, до которой оставалось уже недалеко.

И странное дело... Шагая по мягкой проселочной дороге, пропуская обгонявшие его подводы, здороваясь с встречными незнакомыми пешеходами, под лучами еще не жаркого солнца, под свист, треньканье и бренчанье лесных пичужек, впервые ощутил Бумбараш совсем неведомое ему чувство – безразличного покоя.

Впервые за долгие годы он ничего не ждал и сам знал точно, что и его нигде не ждут тоже. Впервые он никуда не рвался, не торопился: ни с винтовкой в атаку, ни с лопатой в окопы, ни с котелком к кухне, ни с рапортом к взводному, ни с перевязкой в лазарет, ни с поезда на подводу, ни с подводы на поезд. Все, на что он так надеялся и чего хотел, – не случилось. А что должно было случиться впереди – этого он не знал. Потому что не был он ни ясновидцем, ни пророком. Потому что из плена вернулся он недавно и то, что вокруг него происходило, понимал еще плохо.

Вот почему, подбитый, небритый, одинокий, Бумбараш шагал ровно, глядел если не весело, то спокойно и даже насвистывал, скривив губы, австрийскую песенку о прекрасной герцогине, которая полюбила простого солдата.

На перекрестке, там, где дорога расходилась влево – на Семикрутово, прямо – на Россошанск, вправо – к станции, – не доходя с версту до деревни Катремушки, стояла на холме прямая, как мачта, спаленная молнией береза.

Береза была тонкая, гладкая, почти без сучьев, и было совсем непонятно, как и зачем у самой обломанной вершины ее кто-то сидел.

– Эх куда тебя занесло! – останавливаясь возле дерева и задирая голову, подивился Бумбараш. – Глядите, какой ворон-птица!..

То ли ветер качнул в это время надломленную вершину, то ли «ворон-птица» не так повернулся, но только он по-человечьи вскрикнул, и неподалеку от Бумбараша упал на траву железный молоток.

«Плохо твое дело! – подумал Бумбараш. – Эх тебя занесло! Теперь возьми-ка, спускайся...»

– Дядька, здравствуй! – раздался сверху пронзительный голос. – Дядька, подай мне молоток!

– Дура! – рассмеялся Бумбараш. – Что я тебе, обезьяна?

– Я бечевку спущу, а ты привяжи...

– Если бечевку, тогда дело другое, – согласился Бумбараш и, скинув сумку, стал дожидаться.

Прошло несколько минут, пока бечевка с сучком на конце опустилась и остановилась сажени за две до протянутой руки Бумбараша.

– Не хватает! – крикнул Бумбараш. – Спускай ниже.

– Сейчас, погоди. Надвяжу пояс.

Сучок опустил еще немного, но и этого было мало.

– Не хватает! – опять закричал Бумбараш. – Спускай ниже, а то уйду...

– Сейчас! – донесся встревоженный голос.

Видно было, как мальчуган, осторожно перехватываясь за корешки сучьев, снял рубашку и надвязал пояс к рукаву.

– Все равно не хватает. Давай, что еще есть!

– Что же мне – штаны скидывать, что ли? – послышался сердитый ответ.

– Да ты давай сам подлезь маленько.

– Еще не было нужды!

Однако и на самом деле обидно было не достать конец бечевки, до которой оставалось не больше чем два аршина.

Бумбараш скинул шинель и, вспомнив солдатскую гимнастику, полез вверх.

Сунув молоток в петлю, обдирая гимнастерку и руки, он соскользнул на землю.

– Дядька, спасибо! – поблагодарили его сверху. – Куда уходишь? До свиданья!..

Но Бумбараш не уходил еще никуда. Просто опасаясь, как бы сорвавшийся молоток не брякнулся ему на голову, он отошел к опушке и сел на пенек, собираясь посмотреть, чем же теперь все это дело кончится.

Видно было, как мальчишка прижимает телом вдоль ствола какой-то темный жгут и как, раскачиваясь на ветру, он ловко орудует молотком.

Вот он забил последний гвоздь, торжествующе вскрикнув, опустил жгут, и большое полотнище красного флага с треском взметнулось по ветру.

Зачем на перекрестке лесных дорог должен был торчать флаг – этого Бумбараш не понял никак. Так же как не поняла, по-видимому, и проезжавшая на возу баба, которая всплеснула руками и поспешно ударила вожжой по коняшке, очевидно рассуждая, что раз тут затевается что-то непонятное, то лучше убратся – от греха подальше.

Не дожидаясь, пока мальчишка слезет, Бумбараш двинул дальше и скоро очутился в деревне Катремушки, которая, как он увидел, была занята отрядом красноармейцев.

Красным Бумбараш ничего плохого не сделал, и потому он смело зашел в дом, где жила знакомая старуха.

Но старуха эта, оказывается, давно померла, и дома была только рябая баба – жена ее сына, которая занималась сейчас стиркой. Бумбараша она не знала.

Он спросил у нее, можно ли остановиться и отдохнуть.

– Чай, хлеб, баба, твой, – сказал Бумбараш, – сахар мой, а пить будем вместе.

Услыхав про сахар, баба вытерла о фартук мыльные руки и в нерешительности остановилась.

– Уж не знаю как, – замялась она. – В горнице у меня какой-то начальник стоит. Да и углей нет. Разве что лучиной?

– Эка беда – начальник! – возразил Бумбараш. – Что мне горница, я попью и на кухне. А лучину наколоть долго ли? Это я и сам мигом.

– Уж не знаю как, – оглядывая с ног до головы грязного Бумбараша, все еще колебалась баба. – Да ты, поди, и про сахар не врешь ли?

– Я вру? – доставая из сумки пригоршню и потряхивая ею на ладони, возмутился Бумбараш. – Да мы, дорогая моя королева, внакладку пить будем!

Рябая баба рассмеялась и пошла за самоваром.

Вскоре нашлись и теплая вареная картошка, и хлеб, и молоко... Бумбараш позавтракал, напился чаю и почувствовал, что его клонит ко сну.

В самом деле, всю ночь, мокрый и грязный, он был на ногах, заснул у стога сена только под утро и спал мало.

«Торопиться некуда. Дай-ка я посплю, – решил он. – А пока сплю, пусть баба выстирает гимнастерку и брюки. Хоть к дядьке приду человек человеком. Да пускай заодно и воротник у шинели иглой прихватит, а то болтается, как у богатого».

Он пообещал бабе десять кусков сахара, и она показала ему во дворе плетеную клетушку с сеном.

– Тут и спи, – сказала она. – А в чем же ты спать тут будешь? Нагишом, что ли?

– Давай поищи что-нибудь из старья мужниного. Спать – не на свадьбу.

Баба покачала головой. Долго рылась она в чулане. Наконец достала такую рванину, что, разглядев ее на свету, и сама остановилась в раздумье.

– Уж не знаю, чего тебе. Разве вот это?

– Не нашла лучше! Пожадничала... – пробурчал Бумбараш, напяливая на себя штаны и пиджак, до того изодранные, излохмаченные, что годились бы разве только огородному пугалу.

– Экий ты стал красавец! – забирая одежду, рассмеялась баба. – Ложись скорей, а то вон начальник идет. Глянет да испугается.

Спал Бумбараш долго. Когда он проснулся, то во дворе

рябой бабы уже не было. Рядом с клетушкой, у скамьи под яблоней, разговаривали двое – командир и мальчишка.

– Дурак ты был, дураком и остался, – со сдержанной досадой говорил командир. – Ну скажи: зачем тебя понесло на дерево и зачем ты приколотил флаг? Вот прикажу сейчас красноармейцам, чтобы достали и сняли.

– Разве же кто долезет? – усмехнулся мальчишка. – Да им в жизнь никому не долезть! Там наверху сучья хрупкие. Как брякнется, так и не встанет.

– Это уж не твоя забота. Раз я прикажу, значит, достанут... Ну что ты тут вертишься? Добро бы, какой сирота был. Иди домой! Ты думаешь, у нас всё гулянки? Вот пойдут бои, на что ты тогда нам сдался?

– Вот еще! Дали бы мне винтовку, и я бы с вами. Я смелый! Спросите у Пашки из третьего взвода. Он говорит: «Дай-ка я над твоей головой раза три из винтовки бахну – сразу штаны станут мокрые». А я говорю: «Хоть все пять, пожалуй!» Стал я у стенки. Он раз – бабах! Два, три! А я стоял и даже не моргнул глазом.

– Я вот ему покажу, сукину сыну! – рассердился командир. – Я ему дам штук пять не в очередь! Тоже, балда, нашел дело!

– Наврал я про Пашку, – помолчав немного, ответил мальчуган. – Это я вас хотел раззадорить. Думаю: может, разойдется. «Ах, скажет, была не была, давай приму».

– Куда приму?

– Известно куда. К вам в отряд.

– Опять на колу мочала, начинай сначала. Меня твоя мать о чем просила? «Гоните, говорит, его прочь, пусть лучше делом займется, а не шатается, как безродный».

– Так ведь она же глупая, товарищ командир! Разве же ее переслушаешь?

– Это ты на родную мать-то... глупая? Хорош гусь! Пошел с моих глаз долой! Слушать тебя и то противно.

– Конечно, глупая, – упрямо повторил мальчуган. – Недавно зашел к нам на квартиру какой-то комиссар, что ли, а с ним девка с бумагами. «Сколько, – спрашивает он, – детей? Да кто был муж? Да сколько денег получаешь?» А она стоит и трясется. Я ей говорю: «Мама, ты чего трясешься? Это же советский». Все равно трясется. А чего бояться! Вот вы, например, начальник, однако же я стою и не боюсь.

– Послушай, ты, – помолчав немного, спросил командир, – как тебя зовут?

– Иртыш, – подсказал мальчик.

– Постой, почему же это Иртыш? Тебя как будто бы Иваном звали... Ванькой...

– То поп назвал, – усмехнулся мальчишка. – А теперь не надо. Ванька! И название-то какое-то соплиносое. Иртыш лучше!

– Ну ладно, пусть Иртыш. Так вот что, Иртыш – смелая голова, в отряд я тебя все равно не возьму. А вот, если хочешь сослужить нам службу, я тебе дам пакет. Беги ты назад в Россошанск и передай его там военному комиссару.

– Да вы, поди, там напишете какую-нибудь ерунду. Так только, чтобы от меня отделаться, – усомнился Иртыш. – А я и понесусь как дурак, язык высунувши.

– Вот провалиться мне на этом месте, что не ерунду, – побожился командир. – Так, значит, сделаешь?

– Ладно, – согласился Иртыш. – Только, если обманете, я вас все равно найду. Стыдить буду.

Когда они ушли, заспанный Бумбараш вылез из своей берлоги, Надо думать, что вид его был очень страшен, потому что, увидев его, бежавшие по двору ребятишки с воем бросились врассыпную.

– Отоспался? – высовываясь из окна, спросила его рябая баба. – Заходи в избу, щей налью. Мы отобедали.

Бумбараш сел за стол и вытащил свою ложку.

– Ушел командир? – спросил он, прислушиваясь к тиканью часов в горнице. – Командир, я смотрю, у вас добрый.

– Добрый, – согласилась баба. И, зевнув, она добавила: – На кого как. Вчера вечером у нас тут под оврагом шпиёна одного расстреляли. Хлюпкий такой шпиён, а в мешке три бомбы...

На кухню вошел красноармеец, но судя по нагану у пояса, тоже какой-нибудь старшой.

– Командир здесь?

– Нету. Сказал, что скоро придет.

Красноармеец сел на лавку и внимательно посмотрел на хлебавшего щи Бумбараша.

– Это что же, здешний? – не вытерпев, наконец спросил он.

– Нет. Прохожий, – ответила баба.

– А...

Опять посидели молча.

– А это чья? – спросил красноармеец, показывая на висевшую в углу шинель.

– Моя шинель, – ответил Бумбараш. – А что надо?

– Ничего. Так спрашиваю.

Баба выдернула из стены иголку и сняла шинель, собираясь зашить порванный воротник.

– Экая у тебя шинель поганая! – укоризненно сказала она, – выворачивая грязные карманы и обшлага. – Такую шинель только перед порогом постлать на подтирку... Это что у тебя за рукавом, бумага? Нужная?

Бумбараша передернуло. Это был тот самый пакет, который бог знает зачем взял он от мужика ночью в кордонной избушке. А кому был этот пакет и что еще в нем было написано – этого он так и не знал.

– Нет, – грубо ответил он. – Брось на растопку.

Красноармеец быстро поднял с шестка пакет и распечатал.

Лицо его сразу же покрылось потом, он читал про себя, по складам, не переставая наблюдать за движениями Бумбараша и не спуская руки с расстегнутой кобуры нагана.

– Поднимайся! – сказал он таким хриплым голосом, как будто бы его душили за горло.

Баба взвизгнула и уронила шинель. Бумбараш хотел было объяснить, кто он и откуда, но красноармеец глядел на него глазами, горевшими такой дикой ненавистью, что Бумбараш смолчал и решил, что лучше будет держать ответ перед самим командиром.

Он взял сумку и, в чем был, так и пошел впереди вынужденного своего наган конвоира, возбуждая всеобщий страх и любопытство.

У крыльца штаба была привязана верховая лошадь. На ступеньках, облокотившись о винтовку, сидел молодой красноармеец.

– Проходи! – скомандовал конвоир Бумбарашу. – Встань, Совков, дай дорогу!

– К командиру нельзя! – не поднимаясь, ответил крас-

ноармеец. — Командир заперся с каким-то партийным. Видишь, лошадь...

— Сам ты лошадь! Видишь, дело важное!

— Ну иди, коли важное. Он тебе шею намылит.

Конвоир замялся.

— Совков, — сказал он, — покарауль-ка этого человека. А я зайду сам, доложу. Да смотри, чтобы не убег.

— Пуля догонит, — самоуверенно ответил Совков. — Давай проходи. Да глянь на часы — много ли время.

Не поворачивая головы, Бумбараш зорко осматривался. Ворота во двор штаба были приоткрыты. Забора на той стороне не было, недалеко за баней начинался кустарник, потом овражек, потом опять кустарники — уже до самого леса.

«А кто его знает, — как еще рассудит командир? — с тревогой подумал Бумбараш, вспомнив рассказ хозяйки о расстрелянном шпионе. — Да и пойдик-ка докажи ему, что пакет не твой. Доказать трудно... А пуля не догонит, — решил он, приглядываясь к лицу красноармейца. — Не та у тебя, парень, ухватка!»

Он наклонил голову, поднес ладонь к глазам, как будто бы протирает веки, и, вдруг выпрямившись, ударил красноармейца ногой в живот.

Научили Бумбараша австрийские пули и прыгать зайцем, и падать камнем, и катиться под гору коlobком, и, втискивая голову меж кочек, ползти ящерицей.

И оказался он под стеклом командирского бинокля уже возле самой опушки. Видно было, как он остановился, поправил сумку и, пошатываясь, ушел в лес.

Опасаясь погони, он не пошел по Россошанской дороге и долго плутал по лесу, пока не вышел на ту, что вела в Семикрутово.

Уже совсем стемнело. Через дыры его лохмотьев проникал сырой ветер. На траву пала роса. Нужно было думать о ночлеге, о костре, а тут еще, как нарочно, оказалось, что оставил он не только шинель, но и в кармане ее – спички.

Он шел, зорко оглядываясь по сторонам – не попадетсЯ ли хотя бы стожок сена, и вот заметил далеко, в стороне от дороги, мигающий огонек костра.

«Раз костер – значит, и люди», – раздумывал Бумбараш.

Однако, вспомнив, что за все последнее время, начиная от лесной сторожки, каждая встреча приносила не одну, так другую беду, он решил подобраться незаметно, чтобы узнать сначала, что там у костра за люди и чего от них можно ожидать плохого.

Добравшись до мелкой дубовой поросли, он опустился на четвереньки и вскоре подполз вплотную к костру, возле которого – как он разглядел теперь – сидели два монаха.

«Семикрутовские! – решил Бумбараш. – От Долгунца бегают».

И он затих, прислушиваясь к их неторопливому разговору.

– Ты еще этого не помнишь, – говорил черный монах рыжему. – Был у нас некогда пекарь – брат Симон. Человек, надо сказать, характера тихого, к работе исправный, но пил.

– Помню я, – отозвался рыжебородый. – Он из просфорной два куля муки стянул да осколок медного колокола цыганам продал.

– Эх, куда хватил! То был Симон-послушник, вор, бродяга! Его после, говорят, в казанской тюрьме за разбой повесили... А этот Симон был уже в летах, характера тихого, но, говорю, пил. Бывало, игумен, тогда еще отец Макарий, ему скажет: «Симон, Симон! Почто пьешь? Терплю, терплю, а выгоню».

А брат Симон кроткий был. Как сейчас вот помню: стоит он пьяненький, руки на животе вот так сложит, а в глазах мерцание... этакое сияние. «Прости, говорит, отец игумен, к подвигу готовлюсь». А отец Макарий характера был крутого. «Если, говорит, сукин сын, все у меня к подвигу через пьянство будут готовиться, а не через пост и молитву, то мне возле трапезной кабак открывать придется».

Рыжебородый монах ухмыльнулся, подвинул свои короткие ноги в лаптях к огню и покачал плешивой, круглой, как тыква, головой.

– А ты не осуждай! – строго оборвал его рассказчик. – Ты раньше послушай, что дальше было. Вот стоим мы единожды у малой вечерни с канонем. Служба уже за середку перевалила: уже из часослова «Буди, господи, милость твоя, яко же на тя уповаем» проскочили. Вдруг заходит брат Симон, видать – выпивши, и становится тихо у правого крылоса.

А надо сказать, что крепко-накрепко было игуменом наказано, что если брат Симон не в себе – не допускать в храм спервоначалу увещанием, а ежели не поможет, то гнать прямо под зад коленкой.

И как он смело через дверь прошел – уму непостижимо. А от крылоса гнать его уже неудобно. Шум будет. Стою я и думаю: «Ну, господи, только бы еще не облевал!»

А служба идет своим чередом. Только возгласили ирмос: «Ты же, Христос, господь, ты же и сила моя», как наверху треснет, как крикнет! Стекла, как дождь, на голову посыпались. А у нас снаружи на лесах каменщики работали. Возьми леса да и рухни! Одно бревно, что под купол подводили, как грохнуло через окно и повисло ни туда ни сюда. Висит, качается... Как раз над правым приделом. А сорвется – а под ним икона – все сокрушит вдрызг. Мы, братья, конечно, кто куда, в стороны. Смалодушествовали...

Вдруг видим, брат Симон – к алтарю, да по царским вратам, с навеса на карниз, да от того места, где нынче расписан сожской великомученицы Дарьи лик, – и пошел, и пошел...

Карниз узкий – только разве кошке пробраться, а он лицом к стене оборотился, руки расставил – в движениях легкость такая, как бы воспарение. Сам поет: «Тебя, бога, славим». И пошел, и пошел... Господи! Смотрим – чудо в яви: добрался он до окна, чуть бревно подтолкнул, оно и вывалилось наружу. Постоял он, обернулся, видим – качается. Вдруг как взревет он не своим голосом да как брякнется оттуда об пол! Тут он и богу душу отдал. Так потом сколько верующих на леса к тому карнизу лазили! Один купец попытался. «Дай, говорит, я ступлю». Ступил раз-два да на попятную... «Нет, говорит, бог меня за плечи не держит... Аз есмь человек, но не обезьяна, а в цирке я не обучался». Дал на свечи красненькую и пошел восвояси.

Рыжебородый опять покачал головой и усмехнулся.

– Чего же ты ухмыляешься? – сердито спросил черный.

– Да так... сияние... воспарение... Вот, думаю, заста-

вил бы Долгунец всех нас подряд с колокольни прыгать – поглядел бы я тогда, какое оно бывает, воспарение... Господи, помилуй! Кто там?

Тут оба монаха враз обернулись, потому что из-за кустов выполз лохматый, рваный, похожий на черта Бумбараш.

– Мир вам, – подвигаясь к костру, поздоровался Бумбараш. Слышал я нечаянно ваш рассказ. У нас на деревне в старину с цыганом тоже вроде этого случилось.

– И тебе тоже, – ответил рыжебородый. – Говори, чего надо? Если ничего, то проваливай дальше.

– Земля широка, – подхватил другой. – Места много... а мы тебя к себе не звали.

На коленях у рыжебородого лежал тяжелый посох, а рука черного очутилась возле горящей с одного конца головешки.

– Мне ничего не надо, – злобно ответил Бумбараш. – Глядим мы с товарищами – горит огонь. Говорят мне товарищи: «Пойди узнай, что там за люди и что им здесь на нашей земле надо».

Монахи в замешательстве переглянулись.

– Садись, – поспешно освобождая место у костра, предложил чернородый. – А кто же твои товарищи и на чью землю мы попали?

Бумбараш усмехнулся. Он развязал сумку, достал оттуда позолоченную пачку табаку – такого, какого давно в этих краях и в глаза не видали. Свернул сигарку и только тогда неторопливо ответил:

– А земля эта вся на пять дорог – Россошанскую, Семикрутовскую, Михеевскую, на Катремушки и до Манту-

ровских хуторов – дана во владение нашему разбойничьему атаману, храброму Ивану Иванюку, над которым нет другого начальника, кроме самого преславнейшего Долгунца.

Монахи еще в большем замешательстве переглянулись. Рыжебородый опрокинул вскипевший чайник, черный быстро глянул на свои пожитки, тоже собираясь сейчас же вскочить и задать тягу.

И только похожий на черта Бумбараш важно сидел, поджав ноги, выпуская из носа и рта клубы пахучего дыма, и был теперь очень доволен, что он так ловко поджал хвосты негостеприимным монахам.

– Ты скажи им, – медленно подбирая слова, заговорил чернобородый, – что мы с братом Панфилием двое странствующие. Добра у нас никакого нет – вот две котомки да это – он показал на черный сверток –... монашья ряса – от брата нашего Филимона, который скончался вчера, свалившись в каменоломную яму, и был сегодня погребен. А через это задержались мы и не дошли, где бы постучаться на ночлег. И скажи, что тут бы пробыть нам только до рассвета. А чуть свет пойдут, мол, они с божьей помощью дальше.

– Ладно, – вытягивая из костра печеную картошку, согласился Бумбараш. – Так и скажу.

Но пока он, обжигая пальцы, счищал обуглившуюся кожуру, рыжебородый, который все время сидел и вертел головой, вдруг подмигнул черному и незаметно помахал толстым пальцем над своей плешивой головой. Очевидно, им овладело подозрение. И хотя курил Бумбараш табак из золоченой пачки, но был он для разбойника слишком уж

худо одет, оружия при нем не было. Кроме того, для владетельного разбойника с пяти дорог с очень уж он большой жадностью поедал картошку за картошкой.

– А где же твои товарищи? – осторожно спросил рыжебородый.

И Бумбараш увидел, что толстый посох опять очутился у рыжего на коленях, а рука черного снова оказалась возле обуглившейся головешки.

– Да, – подхватил черный, – а где же твои товарищи? Ночь темная, прохладная, а ни костра, ни шуму...

– Вон там, – неопределенно махнул рукою Бумбараш и уже подтянул сумку, собираясь вскочить и дать ходу.

Но на этот раз счастье неожиданно улыбнулось Бумбарашу. Далеко, в той стороне, куда наугад показал он рукой, мелькнул вдруг огонек – один, другой... Шел ли это запоздалый пешеход и чиркал спичкой, закуривая на ветру сигарку или трубку. Ехали ли телеги, шел ли отряд, но только огонек, блеснув два раза яркой сигнальной искрой, потух.

И снова монахи в страхе глянули один на другого.

– Вот что, святые отцы, – грубо сказал тогда Бумбараш, забирая лежавший рядом с ним широкий подрясник покойного отца Филимона, – я ваши ухватки все вижу! Но уже сказано в священном писании: как аукнется, так и откликнется.

Он заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Озорное эхо откликнулось ему со всех концов леса, и не успели еще ошеломленные монахи опомниться, как он скрылся в кустах.

Но этого ему было мало. Отойдя не очень далеко, он

загогокал протяжно и глухо... Потом засвистел уже на другой лад... потом, перебравшись далеко в сторону, приложил руки ко рту и загудел, подражая сигналу военной трубы, затем поднял чурбак и принялся колотить им о ствол дуплистой сосны.

Наконец он утомился. Переждал немного и крадучись вернулся к костру. Монахов возле него не было и в помине. Он набросал около костра травы, положил в изголовье сумку, укрылся просторным подрясником и, утомленный странными событиями минувшего дня, крепко уснул.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С пакетом за пазухой, с ременной нагайкой, которую он нашел близ дороги, Иртыш – веселая голова смело держал путь на Россошанск.

В кармане его широких штанов бренчали три винтовочных патрона, предохранительное кольцо от бомбы и пустая обойма от большого браунинга. Но самого оружия у Иртыша – увы! – не было.

Даже по ночам снились ему боевые надежные трехлинейки, вороненые японские «арисаки», широкоствольные, как пушки, итальянские «гра», неуклюжие, но дальнобойные американские «винчестеры», бесшумно скользящие затвором австрийские карабины и даже скромные однозарядные берданы. Все они стояли перед ним грозным, но покорным ему строем и нетерпеливо ожидали, на какой из них он остановит свой выбор.

Но, мимо всех остальных, он уверенно подходил к русской драгунке. Она не так тяжела, как винтовки пехоты, но и не так слаба, как кавалерийский карабин. Раз, два!.. К бою... готовься!

Иртыш перескочил канаву и напрямик через картофельное поле вошел в деревеньку, от которой до Россосанска оставалось еще верст пятнадцать. Здесь надо было ночевать.

Он постучался в первую попавшуюся избу. Ему отворила красивая черноволосая, чуть постарше его, девчонка с опухшими от слез глазами.

— Хозяева дома? — спросил Иртыш таким тоном, как будто у него было очень важное дело.

— Я хозяйка, — сердито ответила девчонка. — Куда же ты лезешь?

— Здравствуй, коли ты хозяйка! Переночевать можно?

— Кого бог принес? — раздался дребезжащий голос, и дряхлая, подслеповатая старушонка высунула с печки голову.

— Да вот какой-то тут... переночевать просится.

— Заходи, батюшка! Заходи, милостивый! — жалобным голосом взывала старуха. — Валька, подай прохожему табуретку. Ох, и беда у нас, батюшка!.. Садись, дорогой, разве места жалко...

— Дак он же еще мальчишка! — огрызнулась на старуху обиженная Валька. — Ты глаза сначала протри, а то... батюшка да батюшка! Вон табуретка — сам сядет!

Но старуха, очевидно, была не только подслеповата, но и глуховата, потому что она не обратила никакого внимания на Валькину поправку и продолжала рассказывать про свое горе.

А горе было такое. Ее сын – Валькин отец – поехал еще позавчера в Россошанск на базар купить соли и мыла и по сию пору домой не вернулся. На базаре односельчане его видели. Видели и в чайной уже незадолго до вечера. Однако куда он потом провалился – этого никто не знал. А время было кругом беспокойное. Дороги опасные. Вот почему бабка на печи охала, а у Вальки были заплаканы глаза.

– Вернется! – громко успокоил Иртыш. – Он, должно быть, поехал в Мантурово, покупать телку. Или в Кожухово, сменить у телеги колеса. Ведь телега-то у вас, поди, старая?

– Старая, батюшка! Это верно, что старая! – радостно завопила обнадеженная бабка и от волнения даже свесила ноги с печки. – Достань, Валька, из печки горшок... миску поставь. Ужинать будем.

Валька подернула плечами, бросила на Иртыша удивленный, но уже не сердитый взгляд и, забирая кочергу, недоверчиво спросила:

– Что же это он колеса менять бы вздумал? Он когда уезжал, про колеса ничего не говорил.

– А это уже характер у него такой, – важно объяснил Иртыш. – Станет он обо всем с вами разговаривать!

– Не станет, батюшка, – слезая с печи, охотно согласилась старуха. – Это верно, что характер у него такой крутой, натурный. Валька, слазь в подпол, достань крынку молока. Ах ты боже мой! Вот послал господь утешителя!

Утешитель Иртыш самодовольно улыбнулся. Он помог Вальке открыть тяжелую крышку подпола, наточил тупой нож о печку и вежливо попросил Вальку, чтобы она подала ему воды умыться.

Валька улыбнулась и подала.

После ужина они были уже почти друзьями.

Бабка опять залезла на печку. Валька насухо вытерла стол и сняла со стены жестяную лампу. Иртыш взял с подоконника Валькину тетрадь и огрызок карандаша.

– Хочешь, я тебя нарисую? – предложил он. – Ты сиди смирно, а я раз-раз – и портрет будет.

– Бумагу-то портить! – недоверчиво ответила Валька. А сама быстро поправила волосы и вытерла рукавом губы. – Ну, рисуй, если хочешь!

– Зачем же портить? – самоуверенно возразил Иртыш. И, окинув прищуренным глазом девчонку, он зачертил карандашом по бумаге. – Так... Ты сиди, не ворочайся!.. Вот и нос готов... сюда брови... Вот один глаз, вот другой... Глаза-то у тебя опухли, заплаканные...

– А ты не опухлые рисуй! – забеспокоилась Валька. – Ты рисуй, чтобы было красиво.

– Я и так, чтобы красиво... Ты кончик языка убери. А то так с языком и нарисую! Ну вот волосы – раз... раз, и готово! Смотри, пожалуйста, разве не похожа? – И он протянул ей портрет красавицы с тонкими губами, с длинными ресницами и гибкими бровями.

– Похоже, – прошептала Валька. – Эх, как ты здорово! Только вот нос... Он как-то немного кривой... Разве же у меня кривой? Ты посмотри поближе... Подвинь лампу.

– Что нос? Нос – дело пустяковое. Дай-ка резинку... Нос я тебе какой хочешь нарисую. Хочешь – прямой, хочешь – как у цыганки с горбинкой... Вот такой нравится?

– Такой лучше, – согласилась Валька. – Ой, да ты же мне и сережки в ушах нарисовал!

– Золотые! – важно подтвердил Иртыш. – Постой, я в них сейчас бриллианты вставлю! Один бриллиант – раз... другой – два... Эх, ты! Засверкали! Ты в городе бываешь, Валька?

– Бываю, – не отрываясь от портрета, тихо ответила Валька. – С отцом на базаре.

– Тогда найду!.. А вон и ворота скрипят. Беги, встречай батьку!

– Ты колдун, что ли? Ой! А ведь правда, кто-то подъехал.

В избу вошел отец. Он был зол.

Вчера в лесу его встретили четверо из долгунцовской банды, вскочили на телегу и заставили свернуть на Семи-крутово...

Против двухсот пехотинцев, полусотни казаков и двух орудий у города Россошанска было только восемьдесят два человека и три пулемета.

Однако отбивался Россошанск пока не унывая. Стоял он на крутых зеленых холмах. С трех сторон его охватывали поросшие камышом речки Синявка и Ульва. А с четвертой – от поля – на самой окраине торчала каменная тюрьма с четырьмя облупленными башенками.

День и ночь тут дежурила сторожевая застава. Пули за каменными бойницами были ей не страшны, а тургачевские орудия по тюрьме не били, потому что сидели в ней заложниками жена Тургачева и ее сын Степка.

Было еще совсем рано, когда Иртыш подбежал к ограде и застучал в окованные рваным железом ворота.

– Что гремишь? – спросил его через окошечко надзиратель. – Кого надо?

– Трубников Павел в карауле? Отворите, Семен Петрович. Беда как повидать надо!

– Эх, какой ты, молодец, быстрый! А пропуск? Это тебе, милый, тюрьма, а не церква.

– Так мне же нужно по самому спешному и важному! Вы там откиньте слева крючок, а засов ногою отпихните. Я быстренько. Мне только к Пашке Трубникову... к брату...

– К брату? – высовывая бородатое лицо, удивился надзиратель. – А я тебя, молодец, спросонок и не признал. Так это, говорят, ваша компания у меня в саду две яблони-скороспелки наголо подчистила?

– Бог с вами, Семен Петрович! – хлопнув рукой об руку, возмутился Иртыш. – С какой компанией? Какие яблоки? Ах, вот что! Это вы, наверно, приходили недавно в сад. Где яблоки? Нет яблок. А все очень просто! Когда в прошлую пятницу стреляли белые из орудий, он – снаряд – как рванет... В воздухе гром, сотрясение!.. У Каблуковых все стекла полопались, трубу набок свернуло. Где же тут яблоку удержаться? Яблоки у вас сочные, спелые, их как тряханет – они, поди, и посыпались...

– То-то, посыпались! А куда же они с земли пропали? Сгорели?

– Зачем сгорели? Иные червь сточил, иные ёж закатал. А там, глядишь, малые ребятишки растащили. «Дай, думают, подберем, все равно на земле сопреет». А чтобы мы... чтобы я?.. Господи, добро бы хоть яблоко какое – анисовка или ранет, а то... фють, скороспелка!

– Мне яблок не жалко, – отпирая тяжелую калитку, пробурчал старик. – А я в нынешнее время жуликов не уважаю. Люди за добрую жизнь головы наземь ложут, а вы

вон что, шелапутники!.. Ты лесом бежал, белых не встретил?

– У Донцова лога трех казаков видел, – проскальзывая за ограду и не глядя на старика, скороговоркой ответил Иртыш. – Ничего, Семен Петрович... мы отобьемся!

– Вы-то отобьетесь! – закидывая тяжелый крюк, передразнил Иртыша старик. – Ваше дело ясное... Направо иди, мимо караулки. Там возле бани, где солома, спит Пашка.

В проходе меж двумя заплесневелыми корпусами дымила походная кухня. Тут же, среди дров, валялись изрубленные на растопку золоченые рамы от царских портретов, мотки колючей проволоки и пустые цинки из-под патронов. На заднем дворике сушились возле церковной решетки холщовые мешки и поповская ряса.

В стороне, возле уборной, разметав железные крылья, лежал кверху лапами двуглавый орел.

Кто-то из окошка, должно быть нарочно, выкинул Иртышу на голову горсть шелухи от вареной картошки. Иртыш погрозил кулаком и повернул к бане.

Раскидавшись на соломенных снопах, ночная смена еще спала. Иртыш разыскал брата и бесцеремонно дернул его за полу шинели.

Брат лягнул Иртыша сапогом и выругался.

– Давай потише, – посоветовал отскочивший Иртыш. – Ты человек, а не лошадь!

– Откуда? – уставив на Иртыша сонные глаза, строго спросил брат. – Дома был? Где тебя трое суток носило?

– Всё дела, – вздохнул Иртыш. – Был в Катремушках. Ты начальнику скажи – совсем близко, у Донцова лога, трех я казаков видел.

– Эка невидаль! Трех! Кабы триста...

– Трехсот не видал, а ты скажи все же. Дома что? Мать, поди, ругается?

– Бить будет! Вчера перед иконой божилась. «Возьму, сказала, рогаль и буду паршивца колотить по чем попало!»

– Ой ли? – поежился Иртыш. – Это при советской-то?

– Вот она тебе покажет «при советской»! Ты зачем у Саблуковых на парадном зайца нарисовал? Всё шарлатанишь?

Иртыш рассмеялся:

– А что же он, Саблуков, как на митинге: «Мы да мы!» – а когда в пятницу стрельба началась, смотрю – скачет он через плетень да через огород, через грядки, метнулся в сарай из сарая – в погреб. Ну чисто заяц! А еще винтовку получил! Лучше бы мне дали...

– Про то и без тебя разберут, а тебе нет дела.

– Есть, – ответил Иртыш.

– А я говорю – нет!

– Есть, – упрямо повторил Иртыш. – А ты побежишь, я и тебя нарисую.

– И кто тебя, такого дурака, сюда пропустил? – рассердился брат. – В другой раз накажу, чтобы гнали в шею. Постой! Матери скажи, пусть табаку пришлет. За шкапом, на полке. Да вот котелок захвати. Скажи, чтобы еды не носила. Вчера мужики воз картошки да барана прислали – пока хватит.

Иртыш забрал котелок и пошел. По пути он толкнул ногой железного орла, заглянул в пустую бочку, поднял пустую обойму, и вдруг из того же самого окна, откуда на голову ему свалилась картофельная шкурка, с треском

вылетела консервная жестянка и ударила по ноге, забрызгав какую-то жидкой дрянью.

Сквозь решетку Иртыш увидел вытиравшего о тряпку руки рыжего горбоносого мальчишку лет пятнадцати.

– Барчук! Тургачев Степка! – злобно крикнул Иртыш, хватая с земли обломок кирпича. – Где твое ружье? Где собака? Сидишь, филин!

Камень ударился о решетку и рассыпался.

– Стой! Проходи мимо! – закричал Иртышу, выбегая из-под навеса, часовой. – Не тронь камень, а то двину прикладом... Уйди прочь от решетки, белая гвардия! – погрозил он кулаком на окошко. – Ты смотри, дождешься!

Из глубины камеры выскочила такая же рыжая горбоносая женщина и рванула мальчишку за руку.

– Врет, он не выстрелит, – отдергивая руку, огрызнулся мальчишка. – Нет ему стрелять приказа!

Он плюнул через решетку, показал Иртышу фигу и нехотя отошел.

– Ишь, белая порода! Ломается! – выругался часовой. – То-то, что нет приказа. А то бы ты у меня сунулся!.. Беги, малый, – сердито сказал он Иртышу. – Видел господ? Мы вчера всухомятку кашу ели. А он, пес, фунт мяса да полдесятка яиц слопал. Не хватает только пирожного да какава!

– За что почет? – спросил Иртыш. – Жрали бы хлеба.

– Боится комиссар – не сдохли бы с горя. Разобьет тогда Тургачев тюрьму пушками. Она, тюрьма, только с виду грозна. А копнуть – одна труха. В церкви на стене писано – еще при Пугачеве строили. Сорви-ка лопух да штанину сзади вытри. Эк он тебя, пес, дрянью избрызгал.

– Я его убью! – пообещался Иртыш. – Мне бы только винтовку достать. У вас тут нет лишней?

Часовой усмехнулся:

– Лишних винтовок нынче на всем свете нет. Все при деле. Беги, герой! Вон разводящий идет, смена караула будет.

Отбежав на бугорок в сторону, Иртыш видел, как сменялись часовые. Старый сказал что-то новому и показал на Иртыша, потом на окошко.

Новый злобно выругался и вскинул винтовку к плечу. Разводящий погрозил новому пальцем и кивнул на караулку – должно быть, обещал пожаловаться начальнику. Новый скривил рот, вероятно показывая, что начальника он не испугался. Однако, когда разводящий поднес к губам свисток, новый сердито ударил прикладом о землю, скинул шинель, повесил ее на гвоздь под деревянный навес, молча стал на пост.

Старого часового Иртыш не знал. Новый, Мотья Звонарев, истопник и кухонный мужик с тургачевской усадьбы, был Иртышу немного знаком. Когда Мотья хоронил дочку Саньку, которая утонула в пруду, испугавшись тургачевских собак, Иртыш был на похоронах и даже нес перед гробом крест.

С пригорка Иртышу был виден подкравшийся к решетке Степка Тургачев. Иртыш постоял, любопытствуя – высунется теперь Степка из окна или нет. Степка постоял, посмотрел, но когда Мотья поднял голову, то он быстро отошел прочь.

Иртыша выпустили за ворота. Он решил выйти на свою улицу напрямик, через луг и огороды, и быстро шагал по мокрой, росистой траве.

«Давно ли? – думал он. – Нет, совсем еще недавно, всего только прошлым летом, его поймали в Тургачевском парке, где он ловил в пруду на удочку карасей. По чистым песчаным дорожкам, меж высоких пахучих цветов, его провели на площадку, и там перед стеклянной террасой, сидя в плетеной качалке, вот эта самая важная горбоносая женщина кормила из рук булкой пушистого козленка. Она объяснила Иртышу, что он потерял веру в бога, честь и совесть и что, конечно, уже недалеко то время, когда он попадет в тюрьму...»

Иртыш обернулся и посмотрел на грозные тюремные башенки.

– А как повернулось дело? – задумчиво пробормотал он. – Трах-та-бабах! Революция!

Ему стало весело. Он глотал пахнувший росой и яблоками воздух и думал: «Столб, хлеб, дом, рожь, больница, базар – слова всё знакомые, а то вдруг – Революция! Бейте, барабаны!» Он поднял щепку и громко забарабанил в закопченное днище солдатского котелка:

*Бейте, барабаны,
Трам-та-та-та!
Смотри, не сдавайся
Никому никогда!*

Получалось складно.

*Бейте, барабаны.
Военный поход!
В тысяча девятьсот
Восемнадцатый год!*

Одинокая пуля жалобно прозвенела высоко над его головой. Иртыш съежился и скатился в канаву.

Высунувшись, он увидел, что это стреляют свои. С тюремной башенки часовой-наблюдатель показывал рукой, чтобы Иртыш не бродил полем, а шел дорогой.

Иртыш запрыгал и замахал шапкой, объясняя, что ему нужно пройти огородами. Часовой посмотрел – увидал, что мальчишка, и махнул рукой. Иртыш свистнул и уже без песен помчался через грядки.

Высоко над землею сияло солнце. Звенели над пустыми полями жаворонки.

Прятались в логах злобные казаки. Приготовились к удару тургачевские пушки. И все на свете веселому Иртышу было ясно и понятно.

Это был июль 1918 года. Сады, заборы, загородки для выпаса скота были оплетены ржавой колючей проволокой. Лучину на растопку утюгов, самоваров щепали военными тесаками. Крупу, пшено, махорку скупно отмеряли на базарах походным котелком. А гремучие капсюли, головки от снарядов, латунные гильзы, обоймы, шомпола, а то и целую бомбу – на страх матерям – упрямо тащили ребятишки домой, возвращаясь с походов по грибы, по ягоду, по орехи.

Спасаясь от собаки и разорвав штанину о проволоку, Иртыш выбрался через чужой огород на улицу и на стене каменной часовенки увидел рыжее, еще сырое от клейстера объявление, возле которого стояло несколько человек. Это был, кажется, уже четвертый по счету приказ ревкома на-

селению – сдать под страхом расстрела в 24 часа все боевое, ручное и охотничье огнестрельное оружие.

Иртыш, не задерживаясь, пробежал мимо. Он уже знал заранее, что все равно никто ничего не сдаст.

Было еще рано, но осажденный городок давно проснулся. Неуклюже ворочая метлами, под присмотром конвоира буржуи подметали мостовую. Неподалеку от пожарной каланчи, наполовину разбитой снарядами, городская рабочая дружина – человек двадцать пять – наспех обучалась военному делу.

По команде они вскидывали винтовки «на плечо», «на руку», «на изготовку», падали на булыжник и, распугивая прохожих, с криком «ура» скакали от забора к забору.

Мимо разрушенных и погоревших домов, сданных к брошенных купцами лавок Иртыш подошел к розовому двухэтажному дому купца Пенькова, где стоял теперь военный комиссариат.

У крыльца уже толкались люди; из окна, выбитого вместе с рамой, торчал пулемет. Пулеметчик, сидя на широком каменном подоконнике, грыз семечки и бросал шелуху в пузатую, как бочка, золоченую урну.

У главного входа, возле каменного льва, в разинутую пасть которого был засунут запасной патронташ, стоял знакомый часовой. И он пропустил Иртыша, когда узнал, что Иртышу надо.

Иртыш прошел по шумным коридорам и наконец очутился в комнате, где уже несколько человек ожидали комиссара. Какой-то бойкий военный молодец, а вероятно всего-навсего вестовой, потянулся к Иртышу за пакетом.

– Нет! – отказался Иртыш. – Отдам только самолично.

– «Отлично самолично»! – передразнил его молодец. – Да что же ты, дурак, прячешь за спину? Дай хоть подержать в руках.

– Вон умный – возьми да подержись, – указывая на дверную медную ручку, ответил Иртыш. – А это тебе не держалка!

Зашуршала и приоткрылась тяжелая резная дверь – кто-то выходил и у порога задержался.

По голосу Иртыш узнал комиссара – товарища Гринвальда. Другой голос, хрипловатый и резкий, тоже был знаком, но чей – Иртыш не вспомнил.

– Как наставлял наш дорогой учитель Карл Маркс, – говорил кто-то, – то знайте, товарищ комиссар, что я готов всегда за его идеи...

– Карл Маркс – это дело особое, а бомбы зря бросать нечего, – говорил комиссар. – То разоружили бы мы Гаврилу Полувалова втихую, а теперь подхватил он свою охрану – да марш в банду. Иди, Бабушкин, зачисляю тебя командиром взвода караульной роты. Постой! Я что-то позабыл: семья у Гаврилы большая?

– Сам да жена. Жена у него, надо думать, товарищ комиссар, его злобному делу не сочувствует.

– Это мы разберем – сочувствует или не сочувствует.

Дверь отворилась, вышел комиссар Гринвальд, а за ним – коренастый, большеголовый человек в старенькой шинели, с винтовкой, у которой вместо ружейного ремня повязывал огрызок собачьей цепи.

Иртыш сразу узнал михеевского мужика Капитона Бабушкина, которого в прошлом году за грубые слова драгуны сбросили вниз головой с моста в Ульву.

— Посадить дуру, конечно, следует, — согласился Капитон Бабушкин. — Как завещал наш дорогой вождь Карл Маркс, трудящийся — он и есть труженик, а капитал — это явление совсем обратное. И раз родилась она бедного происхождения, то и должна, значит, держаться своего класса. Я эти его книги три месяца подряд читал. Цифры и таблицы пропускал, не скрою, но смысл дела понял.

Капитон вышел. Комиссар оглянулся.

— Эти двое не к вам, — объяснил вестовой. — В канцелярии сидят по вызову, а к вам коммерсант с жалобой да вон — мальчишка...

— Что за коммерсант? А-а... — нахмурился комиссар, увидев бородатого старика, который, опираясь на палку, стоял не шелохнувшись. — Садись, купец Ляпунов. Я тебя слушаю.

— Ничего, я постою, — не двигаясь, ответил старик. — Совесть, говорю я, в нашем городе уже давно не ночевала. Контрибуцию мы вам дали. Лошадей дали. Хлеба двести пудов для пекарни дали. Дом мой один под приют забрали — хотя и беззаконие, ну, думаю, ладно — приют дело божье.

А сегодня, смотрю, в другом доме на откосе рамы выставили, в стенах ломом бьют дыры, антоновку яблоню да две липы вырубili. Говорят, якобы для кругозора обороны. «Что же, — кричу им, — или вы слепые? Вон гора рядом. Бери заступы, рой окопы, как честные солдаты, строй фортификацию. А почто же в стенах бить дырья?»

Мы с вами по-хорошему. В других городах народ за ружье хватается, бунт вскипает. Мы же сидим мирно, и как оно будет, того и дожидаемся. Вы же разор чините, злобу. Заложников десять человек почти взяли. У людей от такой

невидали со страху язык отнялся. Семьи сирые плачут. Вдова Петра Тиунова на чердаке удавилась. Это ли есть правое дело?

– Врет он, Яков Семенович! – ляпнул из своего угла Иртыш. – Вдову Тиунову они сами удавили. Она была... как бы оказать... блаженная, ей петлю подсунули, а теперь по всем базарам звонят!

Старик Ляпунов опешил и замахнулся на Иртыша палкой.

Иртыш отпрыгнул.

Комиссар вырвал и бросил палку.

– Ты кто? – строго спросил комиссар у Иртыша.

– Иртыш Трубников. Гонец с пакетом от командира Лужникова.

– Сиди, гонец, пока не спросят... Вот что, папаша, – обернулся комиссар к Ляпунову, – тебя слушали, не били. Теперь ты послушай. Хлеба дали, контрибуцию дали – подумаешь, благодетели!.. Врете! Ничего вы нам не давали. Хлеб мы у вас взяли, контрибуцию взяли, лошадей взяли.

Где нам рыть окопы, где бить бойницы – тут вы нам советчики плохие. Заложников посадили, надо будет – еще посадим. Сорок винтовок офицер Тиунов из ружейных мастерских ограбил. Сам убит, а куда винтовки сгинули – неизвестно! Отчего вдова Тиунова на другой день на чердаке оказалась – неизвестно. Однако догадаться можно...

А чью ночью через Ульву лодку захватили? А кто спустил воду у мельницы, чтобы дать белым брод через Ульву?.. Я?! Он?! (Комиссар ткнул пальцем на Иртыша.) Может быть, ты?.. Нет?.. Николай-угодник!..

Иди сам, сам запомни и другим Расскажи. Да, забыл! Что это у вас в монастыре за святой старец объявился? Пост, как ангел... сияет... проповедует. Я не бандит Долгунец. Монастыри громить не буду. Но старцу посоветуй лучше убраться подальше.

Прочти ему что-нибудь из священного писания, иже, мол, который глаголет *всуе*² разные словесы насчет того, какая власть от бога, а какая от черта, то пусть лучше отыдет подальше, дондеже³ не выгнали его в шею или еще чего похуже. Ступай!.. Там тебе я утром сегодня повестку послал. Сорок пар старых сапог починить надо. Достаньте кожи, набойки, щетины, дратвы.

– Где? Откуда?

– Поищите у себя сначала сами, а если уж не найдете, то я своих пошлю к вам на подмогу.

– Бог! – поднимая палец к небу и останавливаясь у порога, хрипло и скорбно пригрозил Ляпунов. – Он все видит! И он нас рассудит!

– Хорошо, – ответил комиссар, – я согласен. Пусть судит. Буду отвечать. Буду кипеть в смоле и лизать сковородки. Но кожу смотрите не подсуньте мне гнилую! Заверну обратно.

Старик вышел.

Комиссар плюнул и взял у Иртыша пакет и сердито повернулся к дверям своего кабинета.

Иртыш побледнел.

Отворяя дверь, комиссар уже, вероятно, случайно увидел точно окаменевшего, вытянувшегося мальчугана.

² Глаголет *всуе* (*церк.-слав.*) – говорит без надобности.

³ Дондеже (*церк.-слав.*) – доколе, покуда.

– Что же ты стоишь? Иди! – сказал он и вдруг грубовато добавил: – Иди за мной в кабинет.

Иртыш вошел и сел на краешек ободранного мягкого стула. Комиссар прочел донесение.

– Хорошо, – сказал он. – Спасибо! Что по дороге видел?

– Трех казаков видал у Донцова лога. Два – на серых, один – на вороном. Возле Булатовки два телеграфных столба спилены... Да, забыл: из Катремушек шпион убежал. По нем из винтовок – трах-ба-бах, а он, как волк, закрутился, да в лес, да ходу... Дали бы и мне, товарищ комиссар, винтовку, я бы с вами!

– Нет у нас лишних винтовок, мальчик. Самим нехватка. Дело наше серьезное.

– Ну, в отряд запишите. Я пока так... А там как-нибудь раздобуду.

– Так нельзя! Хочешь, я тебя при комиссариате рассильным оставлю? Ты, я вижу, парень проворный.

– Нет! – отказался Иртыш. – Пустое это дело.

– Ну, не хочешь – как хочешь. Ты где учился?

– В ремесленном учился на столяра. Никчемная это затея – комоды делать, разные там барыням этажерки... – Иртыш помолчал. – Я рисовать умею. Хотите, я с вас портрет нарисую, вам хорошую вывеску нарисую? А то у вас какая-то мутная, корявая, и слово «комиссар» через одно «с» написано. Я знаю – это вам маляр Васька Сорокин рисовал. Он только старое писать и умеет: «Трактир», «Лабаз», «Пивная с подачей», «Чайная». А новых-то слов он совсем и не знает. Я вам хорошую напишу! И звезду нарисую. Как огонь будет!

– Хорошо, – согласился комиссар. – Попробуй... У тебя отец есть?

– Отца нет, от вина помер. А мать – прачка, раньше на купцов стирала, теперь у вас, при комиссариате. Ваши га-лифе недавно гладила. Смотрю я, а у вас на подтяжках ни одной пуговицы. Я от своих штанов отпороть велел ей, она и пришила. Мне вас жалко было...

– Постой... почему же это жалко? – смутился и покраснел комиссар. – Ты, парень, что-то не то городишь.

– Так. Когда при Керенском вам драгуны зубы вышибли, другие орут, воют, а вы стоите да только губы языком лижете. Я из-за забора в драгун камнем свистнул да ходу.

– Хорошо, мальчик, иди! Зубы я себе новые вставил. Иным было и хуже. Сделаешь вывеску – мне самому покажешь. Тебя как зовут? Иртыш?

– Иртыш!

– Ну, до свиданья, Иртыш! Бей, не робей, наше дело верное!

– Я и так не робею, – ответил Иртыш. – Кто робеет, тот лезет за печку, а я винтовку спрашиваю.

Иртыш побежал домой в Воробьеву слободку. С высокого берега Синявки пыльные ухабистые улочки круто падали к реке и разбегались кривыми тупиками и проулками.

Все здесь было шиворот-навыворот. Убогая колокольня Спасской церкви торчала внизу почти у самого камыша, и казалось, что из сарая бочара Федотова, что стоял рядом на горке, можно было по колокольне бить палкой.

С крыши домика, где жил Иртыш, легко было пробраться к крыльцу козьей барабанщицы, старухи Говорухи,

и оттуда частенько летела на головы всякая шелуха и дрянь.

Но зато когда Иртыш растоплял самовар еловыми шишками, дым черным столбом валил кверху. Говорухины козы метались по двору, поднимая жалобный вой. Высовывалась Говоруха и разгоняла дым тряпкой, плевалась и ругала Иртыша злодеем и мучителем.

Жил на слободке народ мелкий, ремесленный: бондари, кузнецы, жестянщики, колесники, дугари, корытники. И еще издалека Иртыш слышал знакомые стуки, звоны и скрипы: динь-дон!.. дзик-дзак!.. тиу-тиу!..

Вон бочар Федотов выкатил здоровенную кадку и колотит по ее белому пузу деревянным молотком... Бум!.. Бум!..

А вон косой Павел шаркает фуганком туда-сюда, туда-сюда, и серый котенок балуется и скачет за длинной кудрявой стружкой.

«Эй, люди, – подумал Иртыш, – шли бы лучше в Красную Армию».

Он отворил калитку и столкнулся с матерью.

– А-а! Пришел, бродяга! – злым голосом закричала обрадованная мать и схватила лежавшую под рукой деревянную скалку для белья.

– Мама, – сурово ответил Иртыш. – Вы не деритесь. Вы сначала послушайте.

– Я вот тебе послушаю! Я уже слушала, слушала, все уши прослушала! – завопила мать и кинулась к нему навстречу.

«Плохо дело!» – понял Иртыш и неожиданно сел посреди двора на землю.

Этот неожиданный поступок испугал и озадачил мать Иртыша до крайности. Разинув рот, она остановилась, потрясая скалкой в воздухе, тем более что бить по голове скалкой было нельзя, а по всем прочим местам неудобно.

— Ты что же сел? — со страхом закричала она, уронив скалку, беспокойно оглядывая сына и безуспешно пытаясь ухватить его за короткие и жесткие, как щетина, волосы. — Что ты сел, губитель моего покоя. У тебя что — бомба в ноге? Пуля?

— Мама, — торжественно и печально ответил Иртыш. — Нет у меня в ноге ни бомбы, ни пули. А сел я просто, чтобы вам на старости лет не пришлось за мной по двору гоняться. Бейте своего сына скалкой или кирпичом. Вот и кирпич лежит рядом... вон и железные грабли. Мне жизни не жалко, потому что скоро все равно уже всем нам приблизится смерть и гибель.

— Что ты городишь, Христос с тобой! — жалобно спросила мать. — Откуда гибель? Да встань же, дурак. Говори толком!

— У меня горло пересохло! — поднимаясь с земли и направляясь к столу, что стоял во дворе под деревьями, ответил Иртыш. — Был я в деревне Катремушки. И было там людям видение... Это что у вас в кастрюле, картошка?.. И было там людям видение, подвиньте-ка, мама, соли!.. За соль в Катремушках пшено меняют... Пять фунтов на пуд... Ничего не вру... сам видал. Да, значит, и было там людям видение — вдруг все как бы воссияло...

— Не ври! — сказала мать. — Когда воссияло?

— Вот провалиться — воссияло!.. Воссияло!.. Ну, сверху, конечно. Не из погреба... Вот вы всегда перебиваете... А я

чуть не подавился... Вам Пашка котелок прислал – возьмите. Табаку спрашивает. Как нету?.. Он говорит: «Есть на полке за шкапом. «Без табаку, – говорит, – впору хоть удавиться». Говорили вы ему, мама: «Не кури – брось погань!», а он отца-матери не слушался, вот и страдает. А я вас слушался – вот и не страдаю...

– Постой молоть! – оборвала его мать... – Ну, и что же – видение было?.. Глас, что ли?

– Конечно, – протягивая руку за хлебом, ответил Иртыш. – Раз видение, значит, и глас был. Я, мама, к вам домой бежал, торопился – за проволоку задел, штанина вдрызг... Вон какой кусок... Вы бы мне зашили, а то насквозь сверкает, прямо совестно... Хотел было вам по дороге малины нарвать... да не во что!..

Помните, как мы с отцом вам однажды целое решето малины нарвали. А вы нам тогда чаю с ситным... А жалко, мам, что отец помер. Он хоть и пьяница был, но ведь бывал же и трезвый... А песни он знал какие... «Ты не стой, не стой на горе крутой!» Спасибо, мама, я наелся.

– Постой! – вытирая слезы, остановила его мама. – А что же видение – было?.. Глас был?.. Или все, поди, врешь, паршивец?..

– Зачем врать?.. Был какой-то там... Только что-то неразборчиво... Одни так говорят, другие этак... А иной, поди, сам не слыхал, так только зря брешет. Дайте-ка ведра, я вам из колодца воды принесу, а то у вас речная, как пойло.

И, схватив ведра, Иртыш быстро выскользнул за калитку.

Мать махнула рукой.

– Господи, – пробормотала она. – Отец был чурбан

чурбаном. Сама я как была пень, так и осталась колода. И в кого же это он, негодный, таким умником уродился? Ишь ты... видение... сияние...

Она вытерла слезы, улыбнулась и начала среди барахла искать крепкую ткань своему непутевому сыну...

РАССКАЗЫ



СЕРЕЖКА ЧУБАТОВ

У костра на отдыхе после большого перехода заспорили красноармейцы.

– Помирать никому неохота, – сказал Сережка Чубатов. – Об этом еще в древности философы открытие сделали. Да и так, сам по себе на опыте знаю. Но, конечно, тоже – смерть смерти рознь бывает. Ежели, например, подойдешь ты ко мне и скажешь: «Дай я тебя прикладом по голове дерну», – то, ясное дело, не согласишься, и даже очень. Потому с какой стати? Неужели она, голова, у меня для того и создана, чтобы по ней прикладом либо еще каким посторонним предметом ни за что ни про что стучали?

Другое дело, когда война. Там с этим считаться не приходится. Я, может быть, в гражданскую от одного вида белого офицера в ярость приходил, думаю, что и он тоже, – потому, что враги мы и нет между нами никакой средней линии.

Вот почему на фронте, хотя и не считал я себя окончательным храбрецом – не скрою, и от пули гнул, и от снаряда иногда дрожь брала, а все-таки подавлял я в себе все инстинкты и шел сознательно: когда приказывали вперед – то вперед, когда назад – то назад.

А заметьте еще одну вещь: трус чаще гибнет, чем рискованный человек. Трус, он действует в момент опасности глупо, даже в смысле спасения собственной своей шкуры. Например, кавалерия налет сделала, а он пускается наутек по ровному полю. И нет того соображения, что от коня все равно не убежишь, а сзади по бегущему человеку куда как легче шашкой полоснуть.

Припоминается мне такой случай. Оторвались мы вчетвером однажды от своих, затерялись, запутались и вышли в широкое поле. Стоят на том поле три дуба на бугорочке, а впереди болотце маленькое – пройти по нему можно, но хлюпко. Только сели мы под теми тремя дубами, воды напились и стали совет держать: куда идти, где своих разыскивать, как вдруг видим – скачет в нашу сторону конный разъезд всадников в двадцать. И не то важно, что разъезд, а то, что явно петлюровский.

«Ну, – думаем мы, – пришло время в бессрочный уходить». Кругом – как на ладони, укрыться негде, бежать некуда. Говорит мне Васька Сундуков: «Давайте, ребята, утекать что есть мочи. Может, успеем до лесу добежать». А куда уж тут добежать, когда до лесу добрых две версты! И ответил я ему с горечью: «Беги не беги, Вася, а помирать, видно, все равно придется. Тебя не держу, а сам не побегу». И как есть я коренной пехотинец, то не люблю шашек, особенно ежели, когда они сзади по черепу. Да к тому же от пули и смерть легче.

А день был такой цветистый, греча медом пахла, пичужки какие-то, будь им неладно, душу растрavляют. И окончательно было помирать неохота – но судьба.

Встали мы за тремя дубами в ряд. Гляжу, Васька партбилет из кармана вынимает с целью. И сказал я ему тогда строго: «Оставь, Василий, билет в целости! Все равно плену нам никому не будет». И мотнул он тогда головой с таким выражением, что: «Эх, мама, где наша не пропадала». И, вскинув винтовку к плечу, грохнул в сторону приближающегося разъезда. Так-то...

Спрашиваете, что дальше было? А было дальше вот

что. Пробовали они нас наскоком взять – нет, не идет дело: по болотцу конь шагом двигается, вязнет, а всадники под пулю попадают. Рассыпались в цепь, окружили нас, стали кольцо сжимать. А нам что – сжимай, нам все равно про- падать.

И такая их, видно, досада взяла, неохота им, видно, из-за четырех человек на рожон лезть, так решили измором взять. Ручной пулемет притащили, и пошла такая пальба, что подумаешь – между собой два батальона бой ведут. Ну, через несколько часов патроны у нас стали на исходе, и Васька из строя выбыл, пуля ему плечо прохватила. В общем дела – конец.

Только вдруг слышим мы, что из-за леса затакал пулемет. Повскакали петлюровцы: глядим мы – от опушки люди бегут... Мать честная, богородица лесная, да ведь это же наши! Оказывается, прибежали к им в деревню пастухи и докладывают, что идет у нас настоящий бой. Наши было даже не поверили сначала. Какой бой, с кем бой, когда рядом ни одной красной части нет...

Ну, вот и всё. А говорю я это вот к чему, – закончил Сережка Чубатов. – За это самое дело нам ордена дали. Значит, как бы за храбрость. А верно ли, что за храбрость, – об этом я сам себя часто спрашиваю и так думаю: какая же тут храбрость, если просто помирать неохота и старались мы оттянуть это дело, покуда патрон не хватит! Просто, по-моему, за здравый смысл дали. То есть раз и так и эдак конец выходит, то помри ты лучше за что-нибудь, чем ни за что, – помри толком, чтобы от этого красным польза была, а белым вред. Я только так и понимаю, и, когда мне напоминают теперь: «Сережка, да ты ведь герой», – мне даже как-то неловко становится.

Холера тебя возьми, да какой же я герой, когда просто так надо было, а никак иначе нельзя!

Но ребята, дослушав рассказ, даже головами замотали, а комсомолец Мишка Заплатин сказал нерешительно:

— Так вот, по-моему, Сережа, это героизм и есть... когда человеку плохо приходится, а он еще думает, как бы помереть не задаром. Вот если бы все...

И начались тогда жаркие споры между ребятами. Глаза заблестели, волнуются, горячатся, и каждый хочет доказать свое, и видно, что каждый надеется доказать это не столько словами, сколько делом в огневых решительных схватках славного будущего.

ЛЕВКА ДЕМЧЕНКО

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Был этот Демченко, в сущности, неплохим красноармейцем. И в разведку часто хаживал, и в секреты становиться вызывался.

Только был этот Демченко вроде как с фокусом. Со всеми ничего, а с ним обязательно уж что-нибудь да случится: то от своих отстанет, то заплутается, то вдруг исчезнет на день, на два и, когда ребята по нем и поминки-то справлять кончат, вывернется вдруг опять и, хохоча отчаянно, бросит наземь замок от петлюровского пулемета или еще что-либо, рассказывая при этом невероятные истории о своих похождениях. И поверить было ему трудно, и не поверить никак нельзя.

Другого бы на его месте давно орденом наградили, а

Левку нет. Да и невозможно наградить, потому что все поступки его были какие-то шальные вроде как для озорства. Однажды, будучи в дозоре, наткнулся он на два ящика патронов, брошенных белыми, пробовал их поднять – тяжело. Тогда перетянул их ремнями, навьючил на пасшуюся рядом корову, так и доставил патроны в заставу.

Однако, нечего скрывать, любили его, негодяя, и красноармейцы и командиры, потому что парень он был веселый, бодрый. В дождь ли, в холод ли идет себе насвистывает. А когда на привале танцевать начнет – так из соседних батальонов прибегают смотреть.

Было это дело в Волынской губернии. В 1919, беспокойном году. Бродили тогда банды по Украине неисчислимыми табунами. И столько было банд, что если перечислить все, то и целой тетради не хватит. Был погружен наш отряд в вагоны и отправился через Коростень к Новгород-Волынску.

Едем мы потихоньку – впереди путь разобран. Починим – продвигаемся дальше, а в это время позади разберут. Вернемся, починим – и опять вперед, а там уже опять разобрано. Так и мотались взад и вперед.

Поехали мы как-то до станции Яблоновка. Маленькая станция в лесу – ни живой души. Ну, остановились. Ребята разбрелись, костры разложили, утренний чай кипятят, картошку варят. И никто внимания не обратил, что закинул Левка карабин через плечо и исчез куда-то.

Идет Левка по лесной тропинке и думает: «В прошлый раз, как мы сюда приезжали, неподалеку на мельнице мельника захватили. Был тот мельник наипервейший бандит. Сын же его – здоровенный мужик – убежал тогда. Надо подобраться, не дома ли он сейчас?»

Прошел Левка с полверсты, видит – выглядывает из-за листвы крыша хутора. Ну, ясное дело, спрятался Левка за ветки и наблюдает, нет ли чего подозрительного: не ржут ли бандитские кони? Не звякают ли петлюровские обрезы?

Нет, ничего, только жирные гуси, греясь на солнце, плавают в болотце да кричит пересвистами болотная птица – кулик. Подошел Левка и винтовку наготове держит. Заглянул в окошко – никого. Только вдруг выходит из избы старуха мельничиха. Нос крючком, брови конской гривой. Ажно остолбенел Левка от ее наружности. И говорит ему эта хищная старуха ласковым голосом:

– Заходи в горницу, солдатик, может закусишь чего.

Идет Левка сенцами, а старуха за ним. И видит Левка слева дверцу – в чулан, должно быть. Распахнул он и взглянул на всякий случай – не спрятался ли там кто. Не успел Левка присмотреться как следует, как толкнула его со всей силы в спину старуха и захлопнула за ним с торжествующим смехом дверь.

Поднявшись, прыгнул назад Левка, рванул скобку – поздно. «Ну, – думает он, – пропал!» Кругом никого, один в бандитском гнезде, а старуха уже неприятным голосом какого-то не то Гаврилу, не то Вавилу зовет. Набегут бандиты – конец.

И только было начал настраиваться Левка на панихидный лад, как вдруг рассмеялся весело и подумал про себя: «Ничего у тебя, мамаша, с этим делом не выйдет».

Задвинул он засов со своей стороны. Глядит – кругом мешки навалены, стены толстые, в бревнах вместо окон щели вырублены. Скоро сюда не доберешься. Скрутил он тогда сигарку, закурил. Потом выставил винтовку в щель и

начал спокойно садить выстрел за выстрелом в солнце, в луну, в звезды и прочие небесные планеты.

Слышит он, что бегут уже откуда-то бандиты, и думает, затягиваясь махоркой: «Бегите, пес вас заешь! А наши-то стрельбу сейчас услышат – вмиг заинтересуются».

Так оно и вышло. Сунулся кто-то дверь ломать, Левка через дверь два раза ахнул. Стали через стены в Левку стрелять, а он за мешки с мукой забрался и лежит лучше, чем в окопе. Так не прошло и двадцати минут, как вылетает вихрем из-за кустов взводный Чубатов со своими ребятами. И пошла между ними схватка.

Уже когда окончилась перестрелка и заняли красные хутор, орет из чулана Левка:

– Эй, отоприте!

Подивились ребята:

– Чей это знакомый голос из чулана гукает?

Отперли и глаза вытаращили:

– Ты как здесь очутился?

Рассказал Левка, как его баба одурила, – ребята в хохот.

Но три наряда вне очереди ротный дал – не ходи, куда не надо, без спроса. Засвистел Левка, улыбнулся и полез на крышу наблюдателем.

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ

Однажды, перед тем как выступить в поход к деревне Огнище, сказал Левке станционный милиционер:

– Рядом с Огнищами деревушка есть, Капищами прозывается. Стоит она совсем близко, сажень двести – так что огороды сходятся. Ну, так вот, сам я оттуда, домишка са-

мый крайний. Сейчас в нем никого нет. В подполе, в углу, за барахлом разным, шашку я спрятал, как из дому уходил. Хорошая шашка, казачья, и темляк на ней с серебряной бахромой.

И запала Левке в голову эта шашка, так что впутался из-за нее, дурак, в такое дело, что и сейчас вспоминать жуть берет.

Дошли мы с отрядом до Огнища. А место такое гиблое, за каждой рощицей враг хоронится, в каждой меже бандит прячется. На улицах пусто, как после холеры, а гибелью каждый куст, каждый стог сена дышит.

Пока отряд то да сё, подводы набирал, халупы осматривал, Левка, будь ему неладно, смылся. Прошел мимо огнищенских огородов, попал на горку в Капище. Кругом тишь смертная. Трубы у печей дымят, горшки на загнетках горячие, а в халупах ни души. Кто победней – давно в Красную ушел, кто побогаче – обрез за спину да в лога попрятался.

Идет Левка. Карабин наготове, озирается. Нашел крайнюю избушку, отворотил доски от двери и очутился в горнице. А там пыль, прохлада, видно, что давно хозяевами брошена хатенка. Нашел он кольцо от подпола и дернул его. Внизу темно, гнилко, сырость, смертью пахнет. Поморщился Левка, но полез.

Около часа, должно быть, копался, пока нашел шашку. Глядит и ругается. Наврал безбожно милиционер – ничего в шашке замечательного: ножны с боков пообтерты, а темляк тусклый и бахрома наполовину повыдернута. Выругался Левка, но все же забрал находку и вылез на улицу.

Прошел Левка шагов с десятков – остановился. И хо-

лодно что-то стало Левке, несмотря на то что пекло солнце беспощадной жарою июльского неба. Глядит Левка и видит как на ладони внизу деревушка Огнище, поля несжатые, болотца в осоке, рощи, ручейки. Все это прекрасно видит Левка, одного только не видит Левка – своего отряда не видит. Как провалился отряд.

Вздрогнул Левка и оглянулся. А оттого ему жутко стало, что если ушел отряд, то оживут сейчас кусты, зашелестит листва, заколышется несжатая рожь, и корявые обрезы, высунувшиеся отовсюду, принесут смерть одинокому, оставшему от отряда красноармейцу.

Перебежал улицу, выбрался к соломенным клуням. Нет никого. Никто еще не успел заметить Левку. Смотрит он и видит, что от горизонта ровно как бы блохи скачут. И понял тогда Левка – конница петлюровская прямо сюда идет. Либо батьки Соколовского, либо атамана Струка – и так и этак плохо!

Забежал он в одну клуню, а та чуть не до крыши соломой да сеном набита. Забрался он на самый верх, дополз до угла и стал сено раскапывать. Раскапывает, а сам все ниже опускается. Так докопался до самого низа. Сверху его сеном запорошило, через стены плетеной стенки воздух проходит, и даже видно немного, но только на зады.

И что бы вы подумали? Другого на его месте удар бы хватил: один-одинешенек, в деревне топот – банда понаехала. А Левка сел, кусок сала из сумки вытащил и жрет, а сам думает: «Здесь меня не найдут, а ночью, если умно действовать, – выберусь». Приладил под голову вещевого мешок и заснул благо перед этим три ночи покоя не было.

Просыпается – ночь. В щелку звезды видны и луна.

Звезды еще так-сяк, а луна уже вовсе некстати. Выбрался он наверх и пополз на четвереньках. Вдруг слышит рядом разговор. Насторожился – пост в десяти шагах. Лег тогда Левка плашмя – в одной руке карабинка, в другой шашка – и пополз, как ящер. Сожмет левую ногу, выдвинет правую руку с карабином, потом бесшумно выпрямится. Так почти рядом прополз мимо поста. Все бы хорошо, только вдруг чувствует, что под животом хлябь пошла. И так заполз он в болото. Кругом тина – грязь, вода под горло подходит, лягушки глотку раздирают. И вперед ползти никак лежа невозможно, и стоя идти нельзя – сразу с поста заметят и срежут. Луна светит, как для праздника, петлюровцы всего в пятнадцати шагах, и никуда никак не сунешься. Что делать?

Подумал тогда Левка, высунулся осторожно из воды, снял с пояса бомбу, нацелился и что было силы метнул ее вверх, через головы петлюровского караула. Упала бомба далеко с другой стороны, так ахнуло по кустам, что только ключья в небо полетели. Петлюровцы повскакали, бросились на взрыв, стрельбу открыли в другую сторону, а Левка поднялся и по болоту – ходу. Добрался до суха, пополз по ржи на четвереньках, потом в кусты и завихлял, закружился – только его и видели.

К рассвету до станции добрел. Ребята ажно рты поразинули – опять жив, черт! Ротный выслушал его рассказ, опять наряды дал: не шатайся, куда не надо, без толку; но все же потом, когда ушел Левка, сказал ротный ребятам:

– Дури у него в башке много, а находчивость есть. Если его на курсы отдать да вышколить хорошенько, хороший из него боец получиться может, с инициативой.

А шашку Левка кашевару отдал, нехай в обозе таскается. И то правда. Ну, на что пехотинцу шашка? Своей ноши мало, что ли?

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ

Было это уже под Киевом. Шли тогда горячие бои, и отбивались отчаянно наши части зараз и от петлюровцев и от деникинцев. Стояла наша рота в прикрытии артиллерии, в неглубоком тылу. А рядом к грузовику на веревке наблюдательный воздушный шар был подвешен. То ли газ через оболочку стал проходить, то ли щель какая в шаре образовалась, а только стал он потихоньку спускаться, и как раз в самую нужную минуту.

Говорит тогда командир:

– А ну-ка, ребята, кто ростом поменьше? Хотя бы ты, Демченко, залезай в корзину. Да винтовку-то брось, может, он тебя подымет. Еще бы хоть пять минут продержаться – понаблюдать, что там за холмами делается.

Левка раз-раз – и уже в корзине. Поднялся опять шар. Но едва успел Левка сверху по телефону несколько фраз сказать, как вдруг загудел, захрипел воздух, и разорвался близко снаряд. Потом другой, еще ближе. Видят снизу, что дело плохо. Стали на вал веревку наматывать и шар снижать, как бабахнет вдруг совсем рядом! Грузовик ажно в сторону отодвинуло, двух коней осколками убило, а Левка как сидел наверху, так и почувствовал, что рвануло шар кверху и понесло по воздуху – перебило веревку взрывом.

Летит Левка, качается, ухватился руками за края корзинки и смотрит вниз. А внизу бой отчаянный начинается.

С непривычки у Левки голова кружится, а когда увидел он, что несет его ветром прямо в сторону неприятельского тыла, то совсем ему печально как-то на душе стало и даже домой, в деревню, захотелось.

Слышит он, что прожужжала рядом пчелой пуля. Потом сразу точно осиный рой загудел. Шар обстреливают, понял он.

«Прямо белым на штыки сяду», – подумал Левка.

Но ветер, к счастью, рванул сильнее и потащил Левку дальше, за лес, за речку, черт его знает куда.

Потом окончательно начал издыхать шар и опустился с Левкой прямо на деревья. Заскакал он, как белка, по веткам, выбрался вниз и почесал голову. Чеши не чеши, а делать что-нибудь надо.

Стал он пробираться лесом, выбрался на какую-то дорогу, к маленькому лесному хутору. Подполз к плетню, видит – в хате петлюровцы сидят, не меньше десятка, должно быть. Только собрался он утекать подальше, как заметил, что на плетне мокрая солдатская рубаха сушится, а на ней погоны. Подкрался Левка, стащил потихоньку и рубаху и штаны, а сам ходу в лес.

Напялил обмундировку и думает: «Ну, теперь и за белого бы сойти можно, да пропуска их не знаю». Пополз обратно, слышит – неподалеку у дороги пост стоит. Левка – рядом и слушает. Пролежал, должно быть, с час, вдруг топот кавалерист скачет.

– Стой! – кричат ему с поста. – Кто едет? Пропуск?

– Бомба, – отвечает тот. – А отзыв?

– Белгород.

«Хорошо, – подумал Левка, – погоны-то у меня есть,

пропуск знаю, а винтовки нет. Какой же я солдат без винтовки?»

Выбрался он подальше и пошел краем леса, близ дороги. Так прошел версты четыре, видит – навстречу двое солдат идут. Заметили они Левку и окликнули, спросили пропуск – ответил он.

– А почему, – спрашивает один, – винтовки у тебя нет?

И рассказал им Левка, что впереди красные партизаны на ихний отряд налет сделали, чуть не всех перебили, а он как через речку спасался, так и винтовку утопил. Посмотрели на него солдаты, видят – правда: гимнастерка форменная и вся мокрая, штаны тоже, поверили.

А Левка и спрашивает их:

– А вы куда идете?

– На Семеновский хутор с донесением.

– На Семеновский? Так вот что, братцы, недавно тут зарево было видно. Я думаю, уже не сожгли ли партизаны этот Семеновский хутор? Смотрите, не нарвитесь.

Задумались белые, стали меж собой совещаться, а Левка добавляет им:

– А может, это не Семеновский горел, а какой другой? Разве отсюда поймешь? Залезай кто-нибудь на дерево, оттуда все как на ладони видно. Я бы сам полез, да нога зашиблена, еле иду.

Полез один и винтовку Левке подержать дал. А покуда тот лез, Левка и говорит другому:

– Жужжит что-то. Не иначе, как ероплан по небу летит.

Задрал тот затылок, стал глазами по тучам шарить, а Левка прикладом по башке как ахнет, так тот и свалился. Сшиб Левка выстрелом с дерева другого, забрал донесение, забросил лишнюю винтовку в болото и пошел дальше.

Попадается ему навстречу какая-то рота. Подошел Левка к ротному и отрапортовал, что впереди красные засаду сделали и белых поразогнали, а двое убитых и сейчас там у самой дороги валяются. Остановился ротный и послал двух конных Левкино донесение проверить. Вернулись конные и сообщают, что действительно убитые возле самой дороги лежат.

Написал тогда ротный об этом донесение батальонному и отправил с кавалеристом. А Левка идет дальше и радуется – пускай все ваши планы перепутаются!

Так прошло еще часа два. По дороге заодно штыком провод полевого телефона перерубил. Затем ведро с дегтем нашел и в придорожный колодец его опрокинул – хай лопают, песьи дети!

Так выбрался он на передовую линию, а там идет отчаянный бой, схватка, и никому нет до Левки дела. Видит Левка, что не выдержат белые. Залег он тогда в овражек, заметал себя сеном из соседнего стога и ожидает. Только-только мимо ураганом пролетела красная конница, как выполз Левка, содрал погоны и пошел своих разыскивать. На этот раз, когда увидели его ребята, даже не удивились.

– Разве, – говорят, – тебя, черта, возьмет что-нибудь? Разве на тебя погибель придет?

И ротный на этот раз нарядов не дал, потому что не за что было. Наоборот, даже пожал руку, крепко-крепко.

А Левка ушел к лекпому Поддубному, попросил у него гармонь, сидит и наигрывает песни, да песни-то все какие-то протяжные, грустные. Дядя Нефедыч, земляк, покачал головой и сказал в шутку:

– Смотри, Левка, смерть накличешь.

Улыбнулся Левка и того не знал, что смерть ходит уже близко-близко бесшумным дозором.

КОНЕЦ ЛЕВКИ ДЕМЧЕНКО

Наш взвод занимал небольшое кладбище у самого края деревни. Петлюровцы крепко засели на опушке противоположной рощи. За каменной стеной решетчатой ограды мы были мало уязвимы для пулеметов противника. До полудня мы перестреливались довольно жарко, но после обеда стрельба утихла.

Тогда-то Левка и заявил:

– Ребята! Кто со мной на бахчу за кавунами?

Взводный выругался:

– Я тебе такую задам бахчу, что и своих не узнаешь!

Но Левка хитрый был и своевольный.

«Я, – думает он, – только на десять минут, а заодно разведую, отчего петлюровцы замолчали, – не иначе, как готовят что-нибудь, а оттуда как на ладони видно».

Подождал Левка немного, скинул скатку, а сам незаметно мешок под рубаху запрятал и пополз на четвереньках промеж бугорков. Добрался до небольшого овражка и сел.

Кругом трава – сочная, душистая, мятой пахнет, шмели от цветка к цветку летают, и такая кругом тишина, что слышно, как понизу маленький светлый ручеек журчит. Напился Левка и пополз дальше. Вот впереди и садочек, несколько густых вишен, две-три яблони, а рядом бахча, кавуны лежат спелые, сочные – чуть не трескаются от налива.

Стал Левка подрезать кавуны, потом набрал с полмешка, хотел еще наложить, да чувствует, что тяжело будет. Решил было уже назад ворочаться, да вспомнил, что хотел про петлюровцев разведать. Положил мешок наземь, а сам пополз вбок оттуда в излучину оврага. Потом выбрался наверх и стал присматриваться; видит – в лощинке слева кони стоят.

«Э, – подумал он, – вот оно что! Значит, у них и кавалерия в запасе есть...»

Вдруг обернулся Левка в сторону и видит такую картину. Идет, пригнувшись, со стороны бахчи петлюровец и что-то тащит.

Пригляделся Левка и ахнул: «Ах, ешь тебя пес! Да ведь это же мой мешок с кавунами! Для тебя я гнал, старался – все коленки пообтер ползавши? А тут на-ко... да и мешок-то еще не мой, мешок под честное слово насилу у пулеметчика выпросил».

И такая обида Левку взяла, что просто сил нету... Петлюровец прямо в его сторону пробирается.

Спрятался Левка за бугор и ждет. Едва только тот поравнялся с ним выскочил Левка, навел винтовку и кричит: «Стой!»

Но петлюровец тоже не из трусливых оказался. Бросил он мешок и схватился за свою винтовку...

Никак не ожидал от того такой прыти Левка. Теперь оставалось только одно – стрелять, а стрелять не собирался он потому, что конные были в овраге и совсем рядом.

Грохнул он в упор и свалил петлюровца.

И сейчас же заметили Левку. Понесся на него целый десяток всадников.

«Эх... ввязался – за кавуны!» – качнул головою Левка.

Прыгнул он кошкою на крутой скат, чтобы не сразу кони достичь его могли. Рванул затвор...

Сколько времени отстреливался Левка, сказать трудно: может быть, минуту, может быть, пять. Почти бессознательно вскидывал он приклад винтовки к плечу, как автомат, лязгал затвором и в упор стрелял в скачущих всадников...

Двое подлетели почти вплотную. Смыл Левка пулей одного, вскинул винтовку на другого – но впустую щелкнул не встретивший капсюля боек.

«Эх, перезарядить бы!» – мелькнула последняя мысль. Но перезаряжать не пришлось, потому что уже в следующую секунду падал с надрубленной головой Левка и, падая, точно лучшего друга, крепко сжимал свой неизменный карабин.

Так ни за что ни про что погиб наш Левка. Немножко шальной, чудаковатый, но в то же время славный боец и горячо любимый всеми товарищ.

Тело его достали мы к вечеру и похоронили с честью. И прощальным салютом над его могилою всю ночь гудели на фланге глухие взрывы тяжелого боя. Всю ночь вспыхивали и угасали в небе сигнальные ракеты, такие же причудливые и яркие, как Левкина жизнь.

НОЧЬ В КАРАУЛЕ

В караульном помещении тихо. Красноармейцы очередной смены, рассевшись вокруг стола, разговаривают так, чтобы не мешать отдыху только что сменившихся то-

варищей. Но разговор не клеится, ибо мерное тиканье маятника нагоняет сон, и глаза против воли слипаются.

Хлопнула дверь, вошел окутанный ветром разводящий и сказал, отряхиваясь от капель дождя:

– Ну и погода! Темень, буря, тут к тебе на три шага подходи, и то не учуешь. Сейчас часовому собачий слух да кошачьи глаза нужны. Сейчас только берегись.

– А чего беречься-то! – лениво спросил Петька Сумин, протирая кулаком посоловелые глаза. – Чай, теперь не война. Возьмем, к примеру, наш склад. Отряд на него никакой не нападет, потому что неоткуда, а одному либо двоим за сутки замки не сломать. По-моему, так часовой там не нужен. Наняли бы сторожа, и нехай дует для устрашения в колотушку.

– Ну, этого ты не скажи, – ответил, усаживаясь на лавку, разводящий.

– А знаешь ты случай про часового Мекешина?.. Нет, не слышал про этого часового? Ну, тогда и помалкивай. Рассказать, говоришь? Ладно, расскажу. Да гляди веселей, ребята, небось, на селе ночь прокрутиться вам нипочем, а в карауле слабо, что ли? Чего носами-то засопели? Ну, слушай, да не мешай...

Было это в прошлом году. Назначили наш взвод в караул при химическом заводе, а завод на самом краю города, возле Шаболовских оврагов. Ну ладно. Сменили мы старый караул в семь часов. Мекешину заступать было в третью смену с одиннадцати. Пошел. А посты далеко находились, как раз у края оврага.

Принял он посты честь по чести: печать целая, подозрительного ничего замечено не было. Ушел разводящий,

ушел прежний часовой, и остался Мекешин один. А ночь тогда хуже сегодняшней была – темная, беспокойная. В такую ночь человек – как слепой котенок.

Стоит Мекешин час. Промок, потому дождь косой, так под гриб и захлестывает. Замерз... Курить охота – ну, конечно, не такой Мекешин человек был, чтобы на посту закурить, терпит. Мало того, что терпит, то руку к уху приложит, то голову наклонит – слушает. А казалось, чего тут услышишь? Кусты ветками хрустят, капли по лужам булькают. Только вдруг почудилось Мекешину, будто кашлянул кто-то неподалеку.

Насторожился он, вышел из-под гриба и прошелся вдоль стены – ничего. Постоял, опять послушал. Что за черт! Скребет кто-то, как крот, а где – не видно. Хотел окликнуть да думает, чего кричать без толку, когда никого не видно! Только спугнешь, если и есть кто. Пойти самому посмотреть к оврагу – опять же, пост нельзя оставить. Вернулся он обратно под гриб и дернул рукоятку звонка, чтобы вызвать на всякий случай разводящего. Ожидает минуту, другую – не идет никто.

Встревожился Мекешин не на шутку, дергает звонок что есть силы и того не знает, что перерезала чья-то черная рука проволоку и не слышать в карауле его вызова. Выскочил он, только хотел тревогу поднять, как из темноты кто-то кирпичом ему в голову сзади хватил. Упал Мекешин и думает: «Успеть бы только тревогу поднять!»

Рванул предохранитель и бахнул из винтовки. Но тотчас же откуда-то сбоку огонь сверкнул, и почувствовал Мекешин, что обожгло ему плечо. Уронил он голову на-земь и, собравшись с последними силами, грохнул еще раз.

Слышит – топот сзади, крики. «Ну, – думает, – ничего, свои подоспели». Приник он тогда головой к луже, в которой крови было больше, чем воды, и только успел прохрипеть подбежавшему карначу: «Смену давайте... смену...» И замолчал.

На другой день умер. Хоронили его, как героя, погибшего на посту. Дознались, что под склад завода из оврага подкоп делали, и прогляди Мекешин – взорвали бы все на воздух.

А когда гроб его опускали в могилу, то все знамена опустились низко, до самой травы, и в небо ударил такой огневой залп, что от этакого залпа холодно кому-то, должно быть, стало.

Над могилой его теперь камень... Будет воскресный день – сходите по увольнительной. Там, в самом углу ограды, камень большой, серый, и на нем красный орден высечен. Только орден и его имя, а больше ничего. Да и зачем? Кто ни подойдет, кто ни посмотрит, каждый и так поймет...

Да, ребята, так-то... Ну, слышали теперь? Намотайте себе на ухо, а теперь, ну-ка, быстрее подымайся. Эй, очередные, вставай! Время ребят сменять.

РАСПУЩЕННОСТЬ

Кажется, у Немировича-Данченко есть такая картинка: приводят пленного японца. Пока то да сё, попросил он у солдата умыться. Ополоснул голову из котелка и стал ее намыливать. Долго намыливал, фырчал, растирая лицо,

смыл мыло, зачерпнул еще котелок воды, начал зубы полоскать и грудь холодной водой окатывать.

А все это проделывал с таким азартом, что стоявший рядом чумазый дядя Иван, солдат, долго глядел, раскрыв рот от удивления, потом схватил свой котелок и вскричал задорно:

– Братцы, да что же это такое, да давайте я хоть раз попробую этак умыться!

Привел я этот случай вот к чему. Почти в каждой роте есть такие типы, для которых в обыденной жизни мыло хуже касторки, а умывание – вроде операции. Смотришь, кругом все опрятно, чистые ребята: ногти подстрижены, зубы блестят, а один какой-нибудь растютой ходит, носом сопит, руки как у землекопа, на шее пыли больше, чем на асфальтовом тротуаре в жаркий день.

Спросишь его:

«Ванька, а ты умывался?»

«Умывался».

«Когда?»

«Вчера».

«А ты бы, Ваня, сегодня умылся. А то похоже, ровно как тебя из мусорного ящика вытащили».

«Ну и что же? Чай, сегодня у нас не воскресенье».

Наши ребята одного такого все собирались на стенку вместо календаря повесить. Проснешься утром – увидишь, что рожа умыта, – значит, праздник.

Мало того, аккуратный красноармеец идет по улице – прохожему смотреть приятно. Гимнастерка заправлена, сапоги вычищены, идет прямо, не толкается, не хлябается. А вот недавно гуляли мы по Александровскому саду,

смотрим – идет к нам навстречу некий тип: пояс на брюхе, как у мясника, пряжка на боку, фуражка на затылок съехала. Жрет ломоть арбуза, а семечки на чистую дорожку выплевывает и огрызки наземь бросает. А на дорожках всевозможные пролетарские дети бегают.

Одна женщина прямо так вслух и сказала своему ребятенку:

– Уйди, деточка! погоди, дай мимо солдатик пройдет.

Обидно нам от такого суждения стало и чувствуем, что крыть нечем. Права тетка. Подошли мы к нему и говорим:

– Какой части, товарищ? Чего идешь расплевываешься?

А он обозлился на наше замечание, посмотрел, что у нас на петлицах кубиков нет, и отвечает нахально:

– Вам какое дело? Вы что, командиры, что ли? Вы надо мной не начальники, а теперь не прежнее время – где хочу, там и гуляю.

Я ему отвечаю:

– При чем тут прежнее время? Свинью и в прежнее время в сад не пускали и в теперешнее метлой гнать должны. Мы хоть и не командиры, а замечание тебе будем делать, потому что наводишь ты тень на всю Красную Армию, а кроме того, шкура ты после этого, когда только из страха перед командирами ведешь себя как надо, а на нас огрызаешься. Мы хоть и не командиры, а ежели будешь еще расплевываться, то сбегает до комендантского, благо оно рядом. Тогда тебя враз выметут отсюда.

Изругался он. Но все же огрызки стал бросать в урну, ремень поправил и пошел прочь.

А мы идем и промеж себя рассуждаем:

– Ну вот, кажется, все в одной казарме живем, на оди-

наковой койке спим, одному и тому же обучаемся, а почему же нет-нет, да один-другой такой попадется, что как козел среди коней? Поневоле подумаешь, отослать бы такого козла на скотный двор, и нехай среди грязи копается, а на других своим видом смущения не наводит.

ПРОВОДЫ

Собрался Борька Назаровский в военную школу поступать. Провожали его домашние честь по чести. И каждому была охота напоследок своё слово вставить. Говорил Борьке отец:

— Ну, парень, трогай! Желаю тебе в учении удачи. Твоё дело молодое: не будешь лодырничать — от других не отстанешь. Я как отпуск получу, в городе буду, нарочно к вашему начальнику зайду спросить, как учишься. Там в школе у вас должен быть ротный, как его... Фёдор Чукаев. Ну так вот, передашь ему от меня поклон и скажешь ему, что ты сын мой. Так и скажи: слесаря Назаровского старший сын... Откуда я знаю его?... Сказал тоже!

И отец Борьки улыбнулся, точно спросил его сын совсем что-то несуразное.

— Встречались... Скажи, что батька до сих пор его помнит. И тайгу помнит, и землянки, и наших ребят-партизан. Да передай, ежели не забудешь, что Петька Сомов помер только ещё недавно. Он знает Петьку Сомова. Да ещё бы, кто у нас не знал в отряде Петьку Сомова! Ну так вот, передай Чукаеву, что сам, мол, я на заводе работаю, всё, мол, такой же. Постарел только.

Трудновато мне теперь уже на коня сесть, так в смену

сына, мол, посылаю. Что же, Бориска, думаю, что смена будет неплохая. А? Ну, да что там говорить, голова у тебя на плечах есть – сам понимаешь.

Говорила Борьке на прощанье старуха мать:

– Эх, Боренька... а давно ли... давно ли, говорю, совсем мальчонком был, а теперь, гляди-ка, вот к на службу пошёл и пойдёшь теперь жить без материнского глаза. Говорят, вот скоро война будет. И неужели, Боренька, нельзя никак, чтобы без войны? Неужели же против неё никакого средства не придумают? Ведь сидят же люди у власти – что, у них ума, что ли, не хватает придумать, или ещё почему... Ну ладно, ладно, не хмурься. Я ведь только так... К слову пришлось. Господи ты, боже мой! Да разве я думала, когда родился ты, что сын у меня офицером будет? Ну, думала, слесарем, как отец, или токарем, в деда, ну, от силы мастером, а чтобы офицером, да ещё не каким-нибудь, а красным, этого уж никак не думала. Ты, Боренька, всё же не больно напрягайся, смотри, ещё надорвёшься. Да... чтобы не забыть, в сумку я тебе пышки завернула и кусок пирога с кашей. А затем ещё полотенце новое положила, только, ох, Боренька, подрубить не успела! Ты зайди в городе к крёстной, она тебе сделает.

А напоследок вмешался в разговор и братишка Васька – смелый пионер девяти лет и двух месяцев от роду.

– Борька! А со скольких лет в эту военную школу принимают? А меня туда примут?.. Ну что же, что маленький! Я сильный. Мы вчера в партизаны играли, я как налетел на Сёмку Рогожина да деревянной саблей рубанул так, что он завыл даже и домой жаловаться побёг. А тебе винтовку либо револьвер дадут? Ты пришли мне гильзы.

Как стрелять будете, так собирай гильзы и мне присылай. Ребятам завидно будет. А то у Сёмки есть две гильзы, у Пашки одна гильза, да обойка пустая, да две пули, а у меня ничего. А если война будет, я к тебе приеду... Ну, вот за-ладил, маленький да маленький! Маленькому ещё лучше, вон большие парни к Сычихе в сад за яблоками полезли, а сторож их враз заметил да по шеям наклал, а нам никогда даже, потому что мы незаметно в щель лазаем. Возьмёшь, Борька?

И отвечал всем троим по порядку Борис Назаровский:

– Ты, папаша, дельное слово сказал насчёт смены. Вам, старикам, на отдых пора. Ротному я поклон передам, ежели он там только. Голова у меня на плечах есть, а учиться мне никогда лени не было. А ты, мать, не охай да не ахай насчёт войны. Хорошее средство против неё давно изобретено: крепить нашу Армию, чтобы враг побоялся сунуться на неё. Недаром говорит пословица, что «Красная поднимется – белая отодвинется». Войну мы начинать не собираемся, но если нападут на нас, то отбиваться будем отчаянно. Да и нельзя не отбиваться. Пришли бы белые, нашего же отца первым бы за прежнее на первом столбе повесили бы. И многих так... А ты, Васька, не горячись, бегай себе в школу, учись, играй, авось и без тебя как-нибудь обойдёмся. Твоё время ещё не пришло, а когда придёт... то, кто его знает, может, тогда и вообще-то воевать не с кем будет.

Приладил мешок Борька за спину, попрощался с домашними и ушёл бодрый, весёлый и гордый от сознания долга, честно выполняемого перед Армией и революцией.

УДАРНИК

Сыну моему сейчас двадцать один год. На днях ушёл в армию. Мать пошла провожать его до казарм. Мне же было некогда: завод, работа – своя горячка.

Вернувшись домой, матери я не застал. Через час пришла и она.

– Ну что, проводила?

– Проводила, до самого поезда. Музыки-то было, народу!..

– Ну, а он как?

– Он-то?.. Да как и все. Глаза блестят, смеётся. Да... записку он мне какую-то сунул: «Передай, – говорит, – батьке. В бумагах у себя нашёл. Так чтобы не затерялась, пусть останется на память».

Я развернул аккуратно сложенную пожелтевшую бумажку, прочёл её и улыбнулся.

Я узнал свой почерк. Карандаш местами выцвел, поистерся, но слова разобрать было можно:

«Ванюша, дай этому человеку инструментальный ящик, что под кроватью. Там где-то завалился пулемётный ударник – нужно до зарезу». Я прочёл, закурил и, скинув со счёта десяток годов, подумал: «Сейчас ему двадцать один – значит, тогда было одиннадцать».

* * *

Юнкера были пока ещё хозяевами нашего города. Рабочие дружины, разбросанные по окраинам, были слабо вооружены. Патронов нахватили много, целыми ящиками,

достали даже один пулемёт; зато винтовок было вовсе мало. И всё-таки восстание решено было начать незамедлительно, не дожидаясь, пока придёт на помощь со станции Комлино взбольшевиченный батальон сибирского полка.

В эту чёрную октябрьскую ночь мокрый, хляблый снег без перерыва стучал в окна. Я вытащил с чердака винтовку, протёр её маслом и вдавил под затвор четыре блестящих, жёлтых, как ненависть, патрона. Пятый очередной послал ожидать момента – в канал ствола – и поставил винтовку на предохранитель.

Сын Ванюшка стоял рядом и надоедал:

– Батька, я с тобой пойду!

– Отстань!

– А я пойду!

– Не дури!

– Ты хоть что хочешь мне говори, а я за тобой увяжусь!

– Я вот тебе увяжусь!

Оставалось до назначенного срока выступления ещё около двух часов. С минуты на минуту я ожидал нескольких товарищей, которые должны были зайти за мной.

Вдруг совершенно неожиданно электрическая лампочка поблекла и медленно, как раскалённый уголёк, покрывающийся пеплом, угасла. Потом вспыхнула опять и опять угасла.

«Сигнал», – подумал я.

– Ванюшка, – крикнул я сыну, – сиди на месте и, если кто придёт из наших, скажи, что я побежал к сборному пункту! Постой... Да, если придёт кто-нибудь, кого ты не знаешь в лицо, ничего не говори.

Я выскочил на улицу. Возле угла Керосинной и По-

лицмейстерской, наткнувшись на заставу юнкеров, прыгнул в первый попавшийся двор, оттуда через забор на пустырь и дальше напрямик к Стрешеневке.

Минут через пять я встретил Ваську Глыбова с его боевым десятком, Петьку Баталина с пулемётчиками и ещё нескольких.

Подбежал выбранный нами в начальники дружины мадьяр Карши и ломаным прерывающимся голосом рявкнул:

– Стреляют по Стрешеневке! Юнкера предупредили восстание. Сигнал фальшивый. Все неситесь туда и задерживайте белых насколько можно... Твой десяток, – он ткнул пальцем на Ваську, вместе с пулемётом в монастырь. Обеспечьте место для отступления. Пулемёт на колокольню... В случае чего, будем за стенами отсиживаться.

И исчез мадьяр, ринувшись в темноту навстречу выстрелам и навстречу тревоге и измене осенней ночи.

* * *

Уже светало, когда остатки разбитых дружинников торопливо вливались в распахнутые ворота Преображенского монастыря. Юнкера были уже неподалёку. Первою строчкой резанул по ним с колокольни пулемёт. Юнкера рассыпались и вросли в землю. Место было ровное, и переть на рожон было нельзя.

– Мы отобьёмся! – крикнул мокрый и потный мадьяр.

Я послал надёжных ребят верхами в Комлино с просьбой о помощи. Позади монастыря был пруд, а прямо перед воротами – широкая площадь со сквером. Ворваться сюда

было не так легко. Сдерживая пыл наступающих, пулемёт прострочил ещё ленту и вдруг смолк.

– Боёк сломан, боёк ударника! – крикнул, подбегая, Петька Баталин – А запасного нет.

И, как бы почувствовав, что у нас что-то неладно, юнкера открыли бешеную стрельбу по нашему убежищу.

Тут я вспомнил, что дома у меня среди инструментов валяется случайно подобранный где-то ударник.

– Пиши записку, – сказал мне мадьяр. – Кто хорошо плавает?

Вызвался двадцатилетний паренёк Микошин. Он взобрался на стену, оттуда бухнулся в воду, вынырнул уже посередине пруда и быстро, саженками достиг противоположного берега. Потом скрылся из наших глаз за поворотом улицы.

* * *

Прошёл час – час напряжённой, горячей перестрелки, час ожиданий и надежд. Микошин не возвращался. Очевидно, он был схвачен одним из белогвардейских патрулей. Винтовок у нас было мало. Мы отстреливались непрерывно, по очереди, до тех пор пока стволы не разогревались до того, что обжигали руки. Пулемётчики на колоконе злились, нервничали. Юнкера обнаглели окончательно и перебежками подвигались всё ближе и ближе.

– Скверно дело! – сказал мадьяр. – Совсем плохо. Батальон будет не раньше, как через три часа, а до тех пор не продержимся.

И вот в тот момент, когда уже отчаяние начало овладевать многими, когда казалось, что победа юнкеров почти

неизбежна, с колокольной что-то закричало. И мы увидели у края пруда небольшую фигурку, разуваящую сапоги. Но это был, очевидно, не Микошин, потому что ниже ростом и в чёрной рубахе.

Человек с того берега бросился в воду и поплыл. Теперь окончательно можно уже было определить, что это не Микошин, потому что человек барахтался в воде слабо и беспомощно.

— Потонет, — раздались вокруг голоса. — И кто это взялся?

Однако человек не тонул. Очевидно напрягая последние остатки сил, он медленно приближался к берегу, по минутно захлёбываясь и отплёвываясь.

— Пёс вас возьми, да ведь это же Ванька! — крикнул я.

Сбросили со стены верёвку. Ванька обмотал себя вокруг пояса, и его втащили наверх.

— Ты чего? — крикнул я рассерженно, думая, что, очевидно, Микошин потому и не возвращался, что не застал Ваньку. — Ты зачем сюда припёрся? Я ж тебе говорил, чтобы ты сидел дома!

— Я ударник принёс, — сказал он, пошатываясь и засовывая руку в карман штанов. — А Микошин раненый лежит.

Я кончил курить, так же тщательно свернул пожелтевшую бумажку и прибавил к семнадцатому году десяток скинутых лет. Это и получилось — сегодняшнее число: ноябрь — пятое — двадцать седьмого года.

ОРУДИЙНЫЙ КЛЮЧ

Возле деревеньки Новосёловки, что в одной версте от тракта, по которому раньше гнали каторжников в Сибирь, есть ключ. Называется он теперь Орудийным, а раньше просто без всякого названия был.

Вода в этом ключе холодная, и даже кони наши и те воду эту с передышкой пили.

Пока возница возился с ведром возле лошадей, я соскочил с повозки размять ноги. Сделав несколько шагов по сухой, покрытой утренним инеем траве, я остановился перед большим серым камнем, на котором лежал тяжёлый стальной осколок, в котором нетрудно было отгадать остаток разорванного ствола трёхдюймовки.

На мой вопрос, что это означает, возница ответил мне:

— А это и есть кусок пушки, от ней и пошло название этому ключу... Село наше, — сказал он мне, — как ты сам увидишь, богатое село. Хлеба у нас раньше вовсе мало сеяли, а скупали у татар кожи и конский хвост, отвозили в город партиями и на том хвосте зарабатывали здорово. И вот, когда пришёл 1918 год и поприжали у нас скупщиков, стали кулаки замышлять, чтобы советскую власть по шапке, а вернуть всё как было, то есть по-прежнему, без всяких изменений. Прослышав про это, прислали нам из уезда команду в сорок человек и одно орудие, как бы для наблюдения. Но кулаки у нас хитрые были: день проходит, неделя — всё ничего. Ни шуму, ни гаму. И вот, когда стали красноармейцы понемногу от настороженности поостывать, раздался вдруг ночью набатный звон.

Пехотинцы все порознь по хатам стояли, ребята всё

больше молодые, неопытные... Прежде чем успели они порты поодевать, переловили их, как галчат неокрепших. Ну, а артиллеристы, которые при пушке, те хитрее были – кучей ночевали. И, как началась стрельба, у них сразу орудие в боевой готовности. Вынесли лошади орудие за ворота, глядь, а кругом-то своих никого, и целые толпы кулачья с обрезами от всех сторон сбегаются. Что ты с ними будешь делать?

Стеганули они тогда коней и пустились напролом вскачь. Вот возле этой-то самой горки, у ключа, были срезаны пулями трое красноармейцев да две лошади. Осталось при пушке ещё три солдата, выкатили они её, матушку, и давай по наступающим картечью садить.

Не ожидали те такого отпора и шарахнулись, залегли цепью. Так, поверите, весь следующий день грохотало орудие от ключа то картечью, то на удар, и всего только возле него три человека.

И вот уже под вечер реже выстрелы пошли – снаряды вышли. Потом совсем смолкла пушка. Как поднялось наше кулачье, попёрло вперёд... Подбегают и видят: стоят три красноармейца, плотно прижавшись к пушке, а один за пусковой ремень держится.

– А-а... – заорали бандиты, – вот они где! Даёшь орудие!

А сами от ствола разомкнулись и с боков кучами подбегают. Только подбежали передние, ка-ак дёрнет красноармеец за ремень!

И, право, не знаю уже, чем пушку под конец набили они – динамитом ли или ещё чем, а только как грохнет взрыв, ажно земля дрогнула. Много тогда осколками кулачья погубило. Ну, а сами... О самих, конечно, и речи нет, даже и признаков не осталось.

С той поры и зовётся этот ключ у нас Орудийным ключом. А камень этот? Камень уже потом наша беднота навалила и осколок от пушки на него пристроила. Пусть останется ребятишкам на память, всё-таки как-никак, а эдак не всякий погибнуть сможет. Всё-таки наши были ребята и герои.

БАНДИТСКОЕ ГНЕЗДО

Переходили мы в то время речку Гайчура. Сама по себе речка эта – не особенная, так себе, только-только двум лодкам разъехаться. А знаменита эта речка была потому, что протекала она через махновскую республику, то есть, поверите, куда возле нее ни сунься – либо костры горят, а под кострами котлы со всякой гусятиной-поросятиной, либо атаман какой заседает, либо просто висит на дубу человек, а что за человек, за что его порешили – за провинность какую-либо, просто ли для чужого устрашения, это неизвестно.

Переходил наш отряд эту негодную речку вброд, то есть вода кому до пупа, а мне, как стоял я завсегда на левом фланге сорок шестым неполным, прямо чуть не под горло подкатила.

Поднял я над башкою винтовку и патронташ, иду осторожно, ногой дно выщупываю. А дно у той Гайчуры поганое, склизкое. Зацепилась у меня нога за какую-то корягу – как бухнул я в воду, так и с головой.

Поднялся, отфыркиваюсь, гляжу – винтовки в руке нет: упустил.

Взяла меня досада, а тут еще товарищи на смех под-
няли:

– Эх ты, растютюй!

– Рак у него клешней винтовку вырвал.

«Ах, – думаю, – дорогие товарищи, рады над чужой бедой пособачиться!» Добрался я до берега, сымаю с себя обмундировку и говорю:

– Я свою винтовку не то что раку, а самому черту не оставлю. Идите своей дорогой, а я вас догоню.

Пока обмотки размотал, пока ботинки разул, а тут еще ремешки от воды заело – от ребят и стука не слышно.

Полез я в воду, нырнул раз – не вижу винтовки, нырнул второй – опять ничего. И долго это я возился, пока наконец ногой на самый затвор наступил. «Ну, – думаю, – сейчас достану тебя, проклятую».

Только стал воздуху в грудь набирать – поднял глаза на берег, да так и обомлел. Гляжу – сидит на лугу здоровенный дядя, грива из-под папахи чубом, за спиной обрез, в зубах трубка, а сам, снявши порты, мои новые суконные на себя примеряет.

Возмутился я эдаким нахальным поступком до отказа и кричу ему, чтобы оставил он свое подлое занятие. А человек в ответ на это обматюгал меня басом. Вскинул обрез и давай меня на мушку не торопясь брать.

Вижу я, дело – табак, нырнул в воду. Ну, ясное дело, через минуту опять наверх. Он опять целится, я опять в воду, только наверх – а он снова за обрез. Рассердился я и кричу ему, что человек не рыба и под водою вечно сидеть не может и пусть он или оставит свою игру, или стреляет, когда на то пошло.

Тогда он загыгыкал, как жеребец, забрал всю мою одежду и, сделав в мою сторону оскорбительный выверт, повернулся и исчез за деревьями.

Достал я винтовку, выбрался на берег и думаю, что же теперь дальше будет. Все, как есть, забрал проклятый махновец. А надо вам сказать, что с махновцами у нас хоть открытой войны еще не было, но терпели их, бандитов, красные только по случаю неимения свободных частей, чтобы изничтожить.

Ну, думаю, своих надо догонять. Подхватил винтовку и пошел краем дороги. Иду вроде как бы Адам – кругом птички насвистывают, на лугах цветы, ну форменно как рай, только на душе тошно.

Смотрю вдруг – дорога надвое пошла. Стал я раздумывать, по которой наши прошли. Дай, думаю, поищу на земле какого-нибудь признака.

Нашел на одной дороге коробок из-под спичек, на другой – пустую обойму. И не могу никак решить, какой же признак правильный. Плюнул и пошел по той, на которой обойма.

Шел этак часа полтора – смеркаться стало. Гляжу, хутор, на завалинке бабка сидит старая.

Неловко мне в моем виде стало с вопросом подходить, к тому же и испугаться может, крик поднимет – а кто его знает, что за люди на этом хуторе.

Спрятался я за кусты, винтовку в листья сунул, сижу и ожидаю, пока затемнится. Только вдруг выбегает из ворот собачонка, прямо ко мне – как загавкает, такая сука ехидная, так и норовит за голую ногу хапнуть. Я двинул ее суком, она еще пуще. Выходит из-за ворот дядя и прямо в

мою сторону – раздвинул кусты, увидел меня и аж рот разинул.

Потом спрашивает:

– А что ты есть за человек, от кого ховаешься и який у тебе документ...

А какой у голого человека может быть документ! Отвечаю ему печальным голосом, что документа у меня нет, потому что есть я мирный житель, ограбленный неизвестными людьми.

Тогда он спрашивает:

– А какими людьми, красными или махновцами?

Я же понял всю хитрость этого вопроса, то есть что хочет человек узнать мое политическое направление. Смотрю, хата богатая, амбары крепкие – «ну, думаю, кулак, значит», и отвечаю ему:

– Красными, вот что тут недавно проходили, чтобы они сказались.

– Ну, – говорит он, – заходи вон в ту клуню, я тебе какие-нибудь шмоты вынесу. Надо же помочь своему человеку...

Сижу я в клуне, дожидаясь. Входит опять старик и сует мне какую-то одежду. Одел я порты из дерюжины, глянул на рубаху и обмер: «Мать честная, богородица лесная, да это же моя гимнастерка!» Тот же рукав разорван, на подоле дыра – махоркой прожег, и чернильным карандашом на вороте метка обозначена. «И как, – думаю, – она сюда попала?» Хорошего ожидать от всего этого не приходится.

Хозяин в избу зовет. Иду за ним. Поставила бабка крынку молока, шматок сала отрезала и хлеба ковригу:

– Ешь!

Я ем, а сам вижу, что на окошке три винтовочных патрона валяются. В том, что валяются, конечно, ничего удивительного – в те годы земля этим добром густо пересыпана была, и ребятишки ими вместо бабкок играли, и бабы из них подвески делали, и мужики по хозяйству приспособляли, а оттого у меня сердце забилося, что винтовка у меня рядом в кустах запрятана, а патронов к ней нет.

Взял я да и незаметно сунул все три штуки в карман.

– Ложись спать, – говорит хозяин. – Утром дальше пойдешь. Сын Опанас придет, он тебя утром на дорогу выведет.

Положили меня в сени, на солому, и обращаю я внимание на тот факт, что дверь изнутри на висячий замок заперли, так что не пойму я, то ли я в гостях, то ли в ловушке.

Лежу... Час проходит, а не спится мне. Потом слышу в окошке стук. Вышел тихонько хозяин, отпер дверь, и прошли мимо меня в избу теперь уже двое.

Не стерпел я – подошел к двери и слушаю...

Старик говорит:

– Слушай, сынку! Объявился у нас в кустах человек, сидит и чего-то выглядывает. Говорит, что красные его раздели, – я заманил его в хату. Хай, думаю, поспит у нас до твоего прихода.

И отвечает ему вдруг знакомым басом этот отъявленный махновец Опанас:

– А врет же он, гадюка! Это не иначе, как тот, чью одежду я сегодня забрал. И напрасно я его сразу не кончил, чтобы он не высиживал... Где он у тебя? В сенях?.. Оружия у него нету?

Как услышал я эти слова да шаги в мою сторону – так сразу по лестнице на чердак...

Те шум учуяли; один, значит, отпирать бросился и другой с ним. А сам старик лестницу с дубиной караулит.

Я прямо с чердака махнул на землю. Как грохнет возле меня выстрел мимо. Бросился я к кустам – за винтовкой... Никак не могу впопыхах найти сразу, а за мною бегут, с трех сторон окружают. Нащупал приклад, заложил патроны.

– Сюда! – кричит возле меня махновец. – Да не бойтесь, у него ничего нет.

Только он ко мне просунулся – так на землю и грохнулся. А второй, думая, что это махновец стрелял, подбегает тоже и спрашивает:

– Ну что, кончил?

– Кончаю, – говорю ему, и так же в упор.

Подобрал патроны – и в хату. А папаша стоит и результатов дожидается. Однако увидел меня при луне, закричал да ходу... Зашел я тогда в горницу. Вижу, моя шинелька висит и ботинки.

«Вашего, – думаю я, – мне не надо, а свое я дочиста заберу».

Вышел; вдруг блеснул огонь из-за кустов, и несколько дробинок мне под кожу въехали.

«А, – думаю, – вот как?» Схватил с подоконника серняка, чиркнул – и в крышу... Взметнулось пламя, как птица, на волю выпущенная.

А я бросился бежать. Долго бежал. А потом остановился дух перевести.

Смотрю, а зарево все ярче и ярче. Потом грохот на-

чался, точно перестрелка в бою... Это рвались от огня за-
прятанные в доме патроны...

Махнул я рукой и подумал:

«Пропади ты, пропадом, бандитское гнездо!» Повер-
нулся и пошел дальше в опасный путь, на дорогу выби-
ваться, своих разыскивать.

ПЕРЕБЕЖЧИКИ

Я только что сел за поданный доброй хозяйкой ломоть
горячего хлеба с молоком, как в дверь с шумом ворвался
подчасок и крикнул:

— Товарищ командир! Подбираются белые, прямо так
по дороге и прут человек двадцать.

Я выскочил. Пост был шагах в сорока, у стены клад-
бища. Первый взвод уже рассыпался вдоль каменной ог-
рады, и пулеметчик, вдернув ленту, сказал:

— Эк прут! От луны светло, всех дураков тремя очере-
дями снять можно. Разреши, товарищ командир, пропус-
тить пол-ленты...

— Погоди, — ответил я, — тут что-то дело не то. Уж не
перебежчики ли это? Смотри, вон все остановились, а двое
вперед вышли.

Два человека, отделившись, шли прямо на нас; на
полпути они снимали шапки и подняли их на штыки
винтовок.

«Парламентеры от перебежчиков», — решил я оконча-
тельно и крикнул:

— Ребята, осторожней с винтовками, не то отпугнете
выстрелом!

Парламентеры были рядом, их окликнули.

— Товарищи, — раздался в ответ крик, — товарищи, не стреляйте! Мы свои, мы перебежчики, мы к вам.

Их окружили, расспрашивали быстро, коротко.

— Сколько?

— Восемнадцать! Один раненый.

— Откуда?

— Из четырнадцатого крестьянского.

— Пускай остальные подходят. Винтовки возле той березы побросайте живо...

Оба во весь дух понеслись обратно. Красноармейцы, столпившись кучею, топтались по снегу и с любопытством смотрели, что будет дальше.

— Смотри-ка, тащат что-то!

— Говорили, что раненый.

— Как бы не «максимку», а то как полыснут, вот тебе и будет раненый.

— Не полыснут. Видите, винтовки бросать начинают.

Теперь видно было, как перебежчики, поравнявшись с березой, остановились, разом — подчеркнуто, четко — подняли винтовки и пошвыряли далеко в стороны.

— Эх, вот дурачье-то! Сложили бы на дороге, а то кто за ними подбирать будет?

Подошли. Началась суета.

— Где раненый?

— Давай сюда...

— Стой, занеси в избу, да осторожней, не бревно, чай.

— Давай под голову шинель... или нет, тащи от хозяйки полушубок.

Пришел лекпом и гаркнул басом:

— А ну, выметайтесь, лишние... Что-о?! Посмотреть?!
Когда сам пулю получишь, тогда и посмотришь.

Раненый был без сознания.

— Как? — спросил я лекпома.

— Плох, — покачал головой тот. — Пробито легкое...

Я вышел на улицу. По дороге встретил комиссара полка.

— Зайдем, — сказал он мне, — сейчас с перебежчиками разговаривать буду.

Зашли. Все разом поднялись.

— Сидите, — сказал комиссар добродушно и удивленно.

— Что я вам, генерал, что ли?

Разговор сначала не завязывался, перебежчики отвечали коротко и односложно, как будто бы боялись лишним необдуманным словом навлечь на себя гнев.

— Так зачем же вы, братцы, перебежали? — хитро сощурившись, спросил комиссар. — Служба, что ли, там хуже или хлеба меньше дают? Так и у нас ведь не больно разьешься.

По-видимому, последнее замечание задело кое-кого за живое, потому что несколько голосов ответили горячо, оправдываясь:

— Тут дело не в пайку.

— Нам с ними нет интереса.

— Они за свое, а мы за свое.

— У их офицеры лютые, хуже, чем при режиме.

Завязалась оживленная беседа. Перебежчики расспрашивали и рассказывали сами.

— У них Буденного дюже боятся, говорят, что будто беглый каторжник посадил на коней арестантов и носится.

– Так что же они от каторжника утекают?

– Они говорят, что это только для видимости, как бы заманивают его на Кубань, а там казаки им покажут...

– А кто это раненый у вас? – спросил я. – Где его?..

Отвечало сразу несколько голосов:

– Так это же отделенный наш!

– Самый главный во всем этом. Из-за него, можно сказать, перебегли мы. Сам он казак, однако всегда сговаривал нас, чтобы перебежать. Мы всё не решались, наконец сегодня говорит прямо: «Если вы не хотите, перебегу один». Ну, мы согласились, когда уж такое дело, – собрались и пошли под видом разведки. Только-только заставу перешли, откуда ни возьмись, ротный на коне, посты проверял. Взяло его подозрение, какая такая разведка. «А ну, марш по домам!» Мы было заколебались, а отделенный наш возьми вскинь винтовку да как грохнет по офицеру, тот так и тюкнулся.

Ну, мы видим – ворочаться поздно. Давай ходу. Застава по нам огонь открыла, мы по ней. Совсем было за бугор забежали, да вздумалось ему еще раз по белым стрельнуть. Только остановился, как его пулей и прихватило. Подхватили мы его и понесли. Дорогой память ему отшибать стало, и все просился: «Братцы, донесите до товарищей! Не могу на белой земле помирать, хочу к своим».

Крови много вышло, помрет, должно быть... Так хотел с красными заодно, а не пришлось, видно.

И глухо поддакнула с горечью вся изба:

– Так хотел, а не пришлось...

Я вышел на улицу. Было морозно и тихо. Зашел в избу к раненому.

– Плох, – сказал мне стоявший возле него полковой доктор, – совсем плох...

Лампа бросала тусклый, помертвевший свет. Раненый лежал, раскинувшись и полузакрыв глаза.

– Товарищи, – прошептал вдруг он запекшимися губами. – Товарищи!

– Да, да, товарищи, – успокаивая, ответил я.

Нечто вроде слабой, больной улыбки разлилось по его лицу, и он прошептал опять:

– Я тоже ваш...

Потом замолчал, откинулся назад, гневно забормотал что-то несвязное, непонятное, какую-то невысказанную угрозу невидимому врагу, и розоватой, окрашенной кровью пеною окрасились уголки его запекшихся губ.

Я вышел и пошел потихоньку к окраине деревушки.

«Да, ты тоже красный, ты тоже наш, – подумал я. – Кровью и жизнью заплативший за право быть в рядах лучших из нас. А это дорогая, очень дорогая цена, которую сможет дать далеко не всякий».

Возле крайнего домика я остановился и оглянулся.

Бледный круг, спутник сильного мороза, широко охватывал небо возле яркой зимней луны. Молчали скованные снежным покоем поля, застывшие в безветрии. И дорога, по которой лежал наш завтрашний путь, убегала вдаль, изгибаясь, и терялась у смутного горизонта, там, где черный лес окаменел тайною и красные звезды спускались над сугробами низко.

ГИБЕЛЬ 4-Й РОТЫ

На днях я прочитал в газете извещение о смерти Якова Берсенева. Я давно уже потерял его из виду, и, просмотрев газету, я был удивлен не столько тем, что он умер, сколько тем, как еще он смог прожить до сих пор, имея не менее шести ран – сломанные ребра и совершенно отбитые прикладами легкие.

Теперь, когда он умер, можно написать всю правду о гибели 4-й роты. И не потому, чтобы не хотелось раньше это сделать из-за боязни или других каких соображений, а только потому, что не хотелось лишний раз причинять ничемную боль главному виновнику разгрома, но в то же время хорошему парню, в числе многих других жестоко поплатившемуся за свое самоволие и недисциплинированность.

Было это дело у Черной долины, в Таврии, на маленьком полустанке, имя которого затерялось у меня в памяти. Нашей 4-й роте поручено было охранять участок железной дороги возле бандитского гнезда Бакалеевки, из центра которого постоянно выделялись отряды, разрушившие возле полустанка железнодорожное полотно.

За неделю у нас было несколько мелких стычек и перестрелок.

Рота наша была крепкая, дружная, но немного своевольная и недисциплинированная.

И одним из самых отчаянных и в то же время неорганизованных бойцов был Яков Берсенов – прежний махновец, однако окончательно перешедший на сторону красных.

Он никак не мог освоиться с мыслью, что рота – это не сборище отчаянных бойцов-одиночек, а боевая единица, врученная в командование нашему начальнику.

Он всегда говорил:

– Что мне Сырцов? У меня своя винтовка, свои глаза, я и сам вижу, что можно, что нельзя, что важно и что неважно.

Или говорил:

– В бою командир мне не нужен – в наступление я иду без погонялки, а отступать мне хоть двадцать командиров приказывай, я все равно не буду, пока сам не увижу, что больше нет никакой возможности держаться...

И так вышло.

Прибежал после обеда парень из Бакалеи – растрепанный, руки плетью висят, тело пуль прохвачено, и говорит:

– Беда, товарищи, – в ночь сегодня окружают вас. Прибыл в Бакалею отряд под командой самого Корша – человек триста... Окружат они сегодня полустанок и перебьют вас всех.

– Ну, это мы еще посмотрим, – сказал начальник и подошел к телефону, повернул рукоятку, а звонка и нет – перерезан провод.

Дал он тогда пакет ординарцу и велел ему скакать в штаб за шесть верст.

И приказывает он одному отделению остаться на полустанке – окопаться с пулеметом и открыть бешеную стрельбу, едва только начнет наступать банда, а сам собрал остальных людей и вывел за полверсты в рощу, что стояла на бугорке, с тем, что, когда сомкнется банда возле полустанка, ударить ей неожиданно всеми силами в тыл.

Прискакал ординарец и передал, что выделить в помощь пехоты нисколько нельзя, но зато в трех верстах – в Раменском – выставляется батарея, которая откроет ураганный огонь, едва только Корш ворвется на полустанок, а потому отделению, завязав перестрелку, тотчас же отойти в рощу, а оттуда уже после артиллерийской подготовки вместе со всеми ударить в раскрытого обстрелом врага.

Ночь наступила тревожная... Лежали мы, не смыкая глаз и руки от затвора не отпуская.

И вдруг совершенно неожиданно прибегают с северного секрета ребята и сообщают, что банды не берут в полукольцо с юга полустанок, а густыми цепями движутся с севера – очевидно, с тем, чтобы отрезать нам путь к отступлению, разъединить с полком и отогнать в сторону бандитских Бакалей.

Обстановка совершенно изменилась. Начальник, чтобы не поднимать паники, не объяснял всем причины – срочно выдвинул всех людей опять на полустанок, густо рассыпал по полотну цепь и сказал:

– Берсенов, ты надежный парень, лети стрелой с этим пакетом и передай его на батарею в Раменское.

– Я с товарищами в бой хочу, – сказал Берсенов. – Отдай пакет кому-нибудь из обозников, а я когда все в бою, то не хочу от других отставать...

– Берсенов! – крикнул командир. – Не рассуждать, живо, чтобы пакет был доставлен.

Берсенов взял, молча сунул пакет за пазуху и исчез.

Я был при этом разговоре и знал содержание пакета со слов начальника – в нем командир батареи предупреждался, что мы на станции, а банда наступает со стороны рощи.

Полчаса спустя командир второго взвода донес, что трех человек в его взводе не хватает.

Еще десять минут спустя явился сам Берсенов с ребятами. Он вел с собою двух связанных бандитов.

— По дороге захватили, — горделиво сказал Берсенов.

— По дороге? Туда или обратно? — крикнул взволнованно командир роты.

— Конечно, туда... Мы целые полчаса за ними крались, чтобы втихую захватить.

— Берсенов! — крикнул командир роты, побледнев. — Значит, пакет еще у тебя?

— В целости. Не упускать же было бандитов, их для допроса может...

И он горделиво посмотрел, ожидая всеобщего одобрения.

Тов. Сырцов выхватил тогда наган и крикнул:

— Негодяй! Ты понимаешь, что ты наделал своим своевољством?

И, вероятно, застрелил бы остолбеневшего Берсенева, как в это мгновение загрохотали выстрелы.

Наша цепь ответила дружным огнем из винтовок и трех пулеметов. Бандиты залегли, началась перестрелка.

Мы были крепко защищены валом насыпи, до нас было нелегко добраться, и вдруг случилось то, что должно было случиться. Наша батарея, не получив уведомления об изменившейся обстановке, убийственными залпами шести орудий забила по полустанку.

Расстреливаемая с фронта бандитами, с фланга — своею же артиллерией, наша цепь не имела никаких сил держаться. В течение двадцати минут половина была уже вы-

ведена из строя. Остальные начали беспорядочно отступать на Бакалею. Как раз рассвело. Командир батареи, наблюдая в бинокль, был твердо уверен, что это бандиты отступают к своему гнезду, и открыл заградительный огонь.

Последнее, что я помню, это то, что Берсенов, оказавшийся у меня под боком, вдруг упал.

– Нога прохвачена, – сказал он, стиснув зубы, и потом добавил: – Что я наделал, за что я ребят погубил? – и упал на землю, закрыв лицо руками.

Дальше я и сам ничего не помню.

БОМБА

Серёжа Чумаков рассказывал:

– Ведь вот, ежели так спросишь: «Что у тебя в бою самое главное, то есть чем ты врага побеждаешь и наносишь ему урон?» – подумает человек и ответит: «Винтовкою... Ну, или пулемётом, орудием... Вообще смотря по роду оружия».

А я так с этим не совсем согласен. Конечно, от оружия никто его качеств не отнимает, но всё-таки всякое оружие есть мёртвая вещь. Само оно действия не имеет, и вся главная сила в человеке заключается, как человек себя поставит и насколько он владеть собой может.

А иному дурню дай хоть танк, он и танк бросит по трусости, и машину погубит, и сам ни за что пропадет, хотя мог бы ещё отбиться чем попало.

Я это к тому говорю, что ежели ты, например, отбилсЯ от своих, или патроны расстрелял, или даже без винтовки

остался – это ещё не есть тебе причина повесить голову, пасть духом и решить на милость врага отдаться.

Нет! Смотри кругом, изобрази что-нибудь, вывернись, только не теряй головы.

Винтовку потерял – плохо. Голову – ещё хуже.

Помню, я очнулся после взрыва. Снарядом в каменный дом угодило. Повернулся осторожно – ну, думаю, наверняка либо ноги, либо ещё какой части тела не хватает, нет, всё на своём месте. Всё на своём месте, значит, дело ещё моё не пропащее. Смотрю, винтовка моя рядом лежит, вся искорежена, то есть в полной негодности: приклад расщеплен, коробка сорвана, а затвор хоть кирпичом колоти – не откроешь.

«Ну, думаю я, плохо мне без оружия!» Стал осматривать, вижу, на полу бомба лежит – русская, бутылочная. Поднял я её, покачал головой и хотел было уже выбросить, но сунул на всякий случай в карман.

Только я хотел выходить из дома, как слышу – внизу по лестнице шум. Высунул я сверху голову и вижу, что поднимаются ко мне наверх трое белых.

А пропадать страсть как была неохота, и скакать из окошка третьего этажа вниз тоже неохота. И решил я: а, была не была! Вынул бомбу из кармана и гаркнул сверху:

– Бросай винтовки, а то всю лестницу бомбами забросаю!

А они внизу, проход узкий, деваться некуда. Однако стали как столбы и винтовки не бросают и пошевелиться боятся, потому что рука моя с бомбой прямо над ихними головами болтается.

– Бросай, – кричу я им, – или же я кидаю бомбу!

Ну, побросали. Тогда велел я им отойти в сторону, взял одну винтовку, а у двух остальных затворы повынул, да и вниз. Внизу ещё с одним столкнулся, ну, да того просто прикладом по башке с разлёту оглушил, а сам в кусты, только меня и видели.

Вот видите, выходит, что ежели без оружия даже, а и то, когда не растеряешься, вывернуться можно.

– Так как же, Серёжа, без оружия? – спросил у Чумакова кто-то. – А бомба – разве же это не оружие?

– Бомба-то? – И Чумаков насмешливо присвистнул. – Так у бомбы, брат, вовсе капсуля не было, и я её вместо кирпича в руке держал. Этакой бомбой кошку с одного раза не убьёшь, а не то что враз троих человек... Нет уж, брат, ты мне не говори, бомба тут ни при чём была, а всё дело было в решительности и находчивости.

НИКЧЕМНАЯ СМЕРТЬ

Здравствуй, дорогая, пишу тебе из действующей армии, всё из того же из славного 113-го полка. А местность, откуда пишу, не указываю, потому что опасаясь, как бы не перехватила это письмо вражья сила и не использовала моё указание во вред пролетариату.

Чем тебя порадовать, не знаю. Двигаемся мы вперёд, как плуг по целине. То есть с таким напряжением пласты белогвардейщины переворачиваем – сказать трудно. Но зато когда уже перевернём, то баста – лягут и не встают. Этак, знаешь, одну десятину обработать – вспотеешь, а мы на такой манер уже третью сотню вёрст перемахиваем.

Есть у меня новость, но такая, что лучше бы ей и не быть вовсе. Погиб навеки Алёшка Пастухов, и передай ты об этом его матери, а самому мне написать ей – рука не подымается. Погиб он, надо сказать, без толку, из-за собственной глупости.

Много у нас храбрых и неустрашимых бойцов в полку, которые в тяжёлый час в лицо могиле смотрят не сощуриваясь да ещё с издевкой. Но одно дело храбрость, когда есть её на чем с пользой проявить, другое – когда без толку рискует человек и хвалится, например, перед товарищами, что нарочно встанет во весь рост в цепи и будет стоять под пулями, когда и стоять-то вовсе не к чему – только врагу лишний прицел да своему бахвальству раздолье.

Нечего греха таить, есть ещё у нас много таких бес-толковых ребят на фронте. Один начнёт из боевого патрона мундштук вытачивать, другой из алюминиевой головки шрапнельного снаряда ложку в песке отливает, третий хвалится на пироксилиновой шашке котелок с водой вскипятить, а четвёртый ещё какую-нибудь блажь выдумывает.

И сколько раз было по полку и по роте строгое приказание: оставить эти фокусы, особенно не совать нос внутрь неизвестных веществ и незнакомых снарядов. Только не все слушались. Вот тебе и пример...

Сидели мы в хате вчетвером. Пришёл Алешка и притащил с собой этакий маленький снарядик, вроде как бы игрушечный, как нам потом сказали, от бронебойной пушки «Маклена». А таких снарядиков мы никогда еще до сих пор не видели. Поставил его на стол Алёшка, взял отвёртку и начал что-то орудовать.

Я ему говорю: «Что ты орудуешь? Брось это занятие... Зачем берёшься разбирать вещь, систему которой не знаешь?»

А он смеётся: – Тут, – говорит, – и знать нечего. А вы что, испугались, что ли?

Увидали ребята, что человека словом не проймёшь. Один тихонько поднялся – якобы из избы в штаб ему сходить надо, двое – будто бы оправиться. А я так прямо и сказал:

– Может, оно ничего от снарядика не будет, а всё-таки не хочу я даже на один процент из-за глупости рисковать.

Взял плюнул и предупредил, что пойду к взводному доложу.

А он в ответ на это обругал меня трусом и шкурой.

Не успел я дойти до взводного, как грохнет вдруг позади. Гляжу – у избы все стёкла повылетели и дым из окон валит. Тут со всех сторон ребята повыскочили: думали, белые обстрел начали. Разобрали, в чём дело, и попёрли в избу.

Смотрим мы – был Алёшка, и нет Алёшки. Так ничего даже в избе на месте не осталось – всё переверотило.

Вот и всё о его смерти. Парень, нечего говорить, смелый был, боец хороший. Но какой же смысл от его смелости получился? Никакого. Так вроде как бы прыгнул нарочно в воду с моста человек и потонул. Ни товарищей этим не выручил, ни врагу урона не нанёс, а так – доказал только свою удаль никчемную.

1928 г.